ИНСТИТУТ К. МАРКСА и Ф. ЭНГЕЛЬСА

Пролетарии всех стран, соединяйтесь

БИБЛИОТЕКА НАУЧНОГО СОЦИАЛИЗМА

ПОД ОБЩЕЙ РЕДАКЦИЕЙ Д. РЯЗАНОВА

Г. В. ПЛЕХАНОВ

СОЧИНЕНИЯ

ТОМ XXI

ПОД РЕДАКЦИЕЙ

Д. РЯЗАНОВА

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

МОСКВА 1925 ЛЕНИНГРАД

Гиз № 8768. Главлит № 34902. Москва. Напеч. 15.000 экз.

1-я Образцовая тип. Госиздата. Москва, Пятницкая, 71.

Содержание

ИСТОРИЯ РУССКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ (КНИГА ВТОРАЯ)

Часть III. Движение русской общественной мысли после Петровской реформы

Стр.

Гл. I. Непосредственное влияние реформы на ход развития русской общественной мысли 5

Гл. II. „Ученая дружина" и самодержавие 41

1. Ф. Прокопович 46

2. В. Н. Татищев 56

3. А. Д. Кантемир 78

Гл. III. Непосредственное влияние Петровской реформы на ход развития общественной мысли 10.3

1. И Т. Посошков ..... -

2. М. В. Ломоносов 137

3 Жалобы крестьянства.- Крестьянские и казацкие волнения 161

Гл. IV. Политическое настроение дворянства при ближайших преемниках Петра. — Замысел верховников. — Оппозиция против него со стороны рядового дворянства.— Отношение к нему „ученой дружины" ... 182

Гл. V. Общественная мысль в изящной литературе 208

Гл. VI. Взаимная борьба общественных сил в эпоху Екатерины II 245

ИСТОРИЯ РУССКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ

КНИГА ВТОРАЯ
ИСТОРИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ В РОССИИ

ЧАСТЬ III

ДВИЖЕНИЕ РУССКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ ПОСЛЕ ПЕТРОВСКОЙ РЕФОРМЫ

ГЛАВА I

Непосредственное влияние реформы на ход развития русской общественной мысли

Реформа Петра сильно участила сношения московских людей с жителями Западной Европы.

Это обстоятельство непременно должно было внести новые элементы в образ мыслей, по крайней мере, тех россиян, которым волей или неволей пришлось принять участие в деле преобразования.

Внесение новых элементов в образ мыслей наших предков я и называю непосредственным влиянием реформы на ход развития русской общественной мысли.

Разумеется, *таким* влиянием не ограничился процесс европеизации России.

Участившиеся сношения с Западом мало-помалу вызвали ряд более или менее глубоких изменений в общественном строе России, что, в свою очередь, причинило известные перемены в области общественного сознания. Эти *перемены* в области *сознания,* вызванные предварительными изменениями в области *бытия,* рассматриваются мною как плод *посредственного* влияния той же реформы.

Мы увидим, что ее посредственное влияние сказалось довольно скоро. Но вполне понятно, что оно обнаружилось не так рано, как непосредственное.

Мы убедимся также, что непосредственное влияние было и могло быть прочным лишь в той мере, в какой оно подкреплялось более поздним, но зато несравненно более глубоким *посредственным* влиянием.

I

Когда в доброе, старое, — *допетровское,* — время московским людям случалось попадать в передовые страны Запада, они простодушно удивлялись чудесам тамошней, сравнительно очень богатой, культуры.

Епископ Авраамий, ездивший с митрополитом Исидором на флорен-

тийский церковный собор, так закончил свой рассказ о представлении мистерии Благовещения:

«Се же чюдное то видение и хитрое делание видехом во граде, зовомом Флорензе: елико можахом своим малоумием вместити, написахом противу тому видению, якоже видехом; иного же немощно и списати, зане пречюдно есть и отнюдь несказанно» [1]).

Условия умственного развития в Московском государстве были таковы, что его жителям, в самом деле, крайне трудно было «вместить» то, что приходилось им видеть во время своих редких путешествий на Запад. Вследствие своей неподготовленности к серьезному наблюдению жизни более передовых стран, эти брадатые и долгополые путешественники останавливали свое внимание на ничтожных мелочах, равнодушно проходя мимо важных явлений. О них с полным правом можно сказать, что из-за деревьев они не видели леса. Так было, впрочем, не только тогда, когда судьба заносила их на Запад. Кому «малоумие» не позволяет возвыситься до *общею,* тот поневоле теряется в *частностях.* Вот, для примера, несколько выписок из «Хождения страннического смиренного инока Варсонофия ко святому граду Иерусалиму», относящегося к 1456 г.

«Святая же церковь велика, Христово Воскресение, поставлена. Якоже бысть пред враты, пред дверьми церковными сотворен придел велик и кругол, стены камены. И на тех стенах поставлены брусие древяное встань, вверх покато и покрыто досками древяными, и поверху тоя кровли побито свинцем, и сотворен свод кругло, аки корчажное устие».

Или: «Святое ж место Снятие со креста — 10 пядей в длину и вкруг 17 пядей, кладено разными мраморы: черлеными, и черными, и белыми».

А вот еще: «Идучи ко кресту Господню есть две лестницы камены, идеже обрете святая царица Елена 3 кресты: 2 разбойнича креста, един же живодавець; а в первой лестницы 30 ступеней, а ширина лестницы 3 сажени» [2]).

Инок Варсонофий до такой степени обстоятелен в описании всяких частностей осмотренных им зданий, что его путевые заметки получили в глазах нынешних археологов значение довольно ценного источ-

[1]) Цитировано у *Н. С. Тихонравова,* Сочинения, т. I, Древняя русская литература, стр. 276.

2) Там же, стр. 284, 285 и 286.

ника [1]). Но этот обстоятельный человек, очень точно измеряющий длину лестниц и высоту стен, ничего не говорит нам об общем архитектурном характере виденных им храмов. Правда, он неравнодушен к их внешнему виду. О колокольне церкви Воскресенья в Иерусалиме он говорит: «вельми велика и хороша», но это и все. Не распространяясь о стиле колокольни, он спешит прибавить указания на материал, из которого она построена, и на ее положение: «каменна, от полуденныя страны» [2]).

Запас общих понятий, сопровождавший инока Варсонофия в его путешествии к святым местам, был крайне скуден. Так же скуден был и тот умственный багаж, с которым московские служилые люди отправились по приказу Петра за границу учиться «навигацкой» и другим наукам. Было бы ошибочно думать, что решительно никто из них не поднимался выше умственного уровня инока Варсонофия. Исключения были. В течение XVII века западноевропейские понятия

стали проникать в головы некоторых московских людей. Мы видели это выше. Но отдельные исключения не опровергают общего правила. А общим правилом была полная неподготовленность служилых людей Петра I к серьезному суждению о развертывавшейся перед ними картине западноевропейской общественной и духовной жизни. П. Пекарский говорит о дневнике П. А. Толстого:

«В дневнике его, как и во всех заметках русских того времени о Европе, первое место отведено то подробным, то кратким описаниям внешности встречавшихся на пути городов, селений, монастырей, церквей, различных построек, украшений и т. д. Тотчас можно заметить, что путешественника занимали всего более предметы, относящиеся до разных церковных обрядов, чудес, одежд и проч.: он описывал охотно и с большими подробностями все виденное в костелах, даже как были одеты церковнослужители, из какой материи сшито было их платье, цвет ее; сколько раз стреляли из пушек на пасху, количество чтецов евангелия за обедней, мещан, участвовавших в процессии, наконец, свеч, горевших пред иконами».

По словам П. Пекарского, Толстой и на памятники, встречавшиеся ему на пути, смотрел с особой точки зрения: «Его более интересовала внешность памятника, но не событие, которое подало повод к его сооружению» [3]).

[1]) Там же, стр. 283—281.
[2]) Там же, стр. 289.
[3]) *П. Пекарский,* Наука и литература в России при Петре Великом, т. I, стр. 146.

Все это очень похоже на инока Варсонофия. А между тем Толстой, отправляясь за границу, уже не чужд был кой-каких знаний и обладал более широким кругозором, нежели большинство его служилых современников.

Другой московский путешественник того времени, неизвестный автор «Журнала, како шествие было его величества, Государя Петра Великого», далеко уступает Толстому. Он буквально не идет дальше внешности описываемых им явлений. Удивляться этому, разумеется, невозможно. Чтобы получить способность проникать своею мыслию дальше внешности вещей и событий, московские люди должны были предварительно пройти через ту школу, которой именно недоставало им на их родине. Приехав в Роттердам, автор только что названного «Журнала» отметил, что видел «славного человека ученого персону, из меди вылита; подобно человеку, и книга медная в руках, и как двенадцать ударит, то перекинет лист; а имя ему — Эразмус».

Как вы думаете, что знал этот московский служилый человек об авторе «Похвалы глупости»? До приезда в Роттердам, наверное, ровно ничего. А приехав туда и увидав его памятник, он услыхал только то, что Эразмус был славен своей ученостью. Это очень немного! Вполне естественно, поэтому, что, говоря об «Эразмусе», он ограничился описанием «внешности его памятника». И точно так же неудивительно, что, побывавши в Кельне, он написал такие строки: «В Кулене на ярмарке видел младенца о двух головах; в Кулене ж видел в аптеке крокодила двух сажень. Из Кулена поехали водою вверх лошадьми» [1]) и т. п. Это менее благочестиво, нежели заметка инока Варсонофия, но так же мелочно и так же чуждо каких-нибудь общих соображений:

Неповоротливое московское мышление всегда очень неохотно пускалось в такие соображения; к этому надо прибавить, что в эпоху реформы Петра, Московской Руси нужны были не *общие идеи,* — в

которых ощущала такую настоятельную нужду, например, Франция XVIII века, — а *технические знания.* Этого рода знания и должны были приобретать русские люди, в силу исторической необходимости и по царскому приказу ехавшие за границу. Вот чего требует наказ, данный, в начале 1697 года, стольникам, ехавшим в чужие страны.

«1) Знать чертежи или карты, компасы и прочие признаки мор-

[1]) «Отечественные Записки», 1846 г., кн. 8, отдел «Наука и Художество», стр. 136-137.

ские. 2) Владеть судном, как в бою, так и в простом шествии, и знать все снасти и инструменты, к тому принадлежащие: паруса, веревки, а на каторгах и «а иных судах весла, и пр. 3) Сколь возможно искать тою, чтоб быть на море во время боа, а кому и не случится, и то с прилежанием того искать, как в то время поступать; однакож видевшим и не видевшим бои от начальников морских взять на то свидетельствованные листы за руками их и за печатьми, что они в том деле достойны службы своея. 4) Ежели кто похощет впредь получить милость большую, по возвращении своем, то к сим вышеописанным повелениям и учению, научился бы знать, как делать те суды, на которых они искушение свое примут» [1]).

Главное дело было в том, чтобы приобрести известные технические сведения. Как же делали это главное тогда дело московские служилые люди? Довольно плохо.

Смягчающим обстоятельством должно быть признано здесь то, что их «учеба» в чужих краях нередко являлась для них тяжелым испытанием. Вот что один из них, — заметьте, человек весьма *«родословный»,*—писал на родину в 1711 году: «О житие моем возвещаю, житие мне пришло самое бедственное и трудное. Первое, что нищета, паче же разлучение. Наука определена самая премудрая: хотя мне все дни живота своего на той науке себя трудить, а не принять будет, для того — не знамо учитца языка, «е знамо науки».

Петр всегда был очень расчетлив. Отправляя своих служилых людей за границу, он не обременял их кошельков деньгами. А его ближайшие помощники ухитрялись уменьшить и то немногое, что назначал на путешествие Петр. Известен отзыв одного из самых близких помощников Петра, Феофана Прокоповича, об архиерейских слугах. Он говорил, что они «обычне бывают лакомые скотины» и, где имеют возможность, «бесстудием, как татаре, на похищение устремляются». Подобными лакомыми скотинами были, как известно, не только архиерейские слуги. Помощники Петра сохранили во всей неприкосновенности старую московскую привычку обкрадывать казну при всяком удобном случае. От этого русским служилым людям, обучавшимся за границей, в самом деле приходилось порой доходить до полного нищенства. Конон Зотов доносил однажды кабинет-секретарю Макарову, что, помирая с голоду, многие Русские гардемарины намеревались «итти в холопи». Истинно-московское средство выхода из нищеты! Зотов тоже совсем по-московски бо-

[1]) *П. Пекарский,* Наука и литература, т. I, стр. 146.

ролся с преступным намерением голодных гардемаринов. «Я стращаю их жестоким наказанием», — писал он.

Москва умела жестоко наказывать, а Петр довел это ее умение до совершенства. Но... кому же в ум пойдет на желудок петь голодный?

Была и еще одна причина, немало затруднявшая московским людям дело усвоения ими технических знаний. В 1717 г. тот же Зотов

писал самому царю: «Господин маршал д'Этре призывал меня к себе и выговаривал мне о срамотных поступках наших гардемаринов в Тулоне: дерутся часто между собою и бранятся такою бранью, что последний человек здесь того не сделает. Того ради обобрали у них шпаги». Месяц спустя Зотов слал Петру новую жалобу: «Гардемарин Глебов поколол шпагою гардемарина Барятинского, и за то за арестом обретается. Господин вице-адмирал не знает, как их приказать содержать, ибо у них (французов) таких случаев никогда не бывает, хотя и колются, только честно на поединках лицем к лицу. Они же ныне все по миру скитаются». В 1718 году русский резидент в Лондоне, Ф. Веселовский, извещал: «Ремесленные ученики последней присылки приняли такое самовольство, что не хотят ни у мастеров быть, ни у контрактов или записей рук прикладывать, но требуют возвратиться в Россию без всякой причины» [1]).

При всех этих условиях крайне трудно было московским людям усваивать себе хотя бы чисто технические знания. Еще Фокеродт говорил, что их заграничные поездки не принесли никакой пользы. Как утверждал он, сам Петр скоро убедился, что москвитян« возвращались домой почти с таким же запасом сведений, с каким уезжали за границу [2]). Ключевский склонен был принять это мнение Фокеродта. Он говорит: «Петр хотел сделать дворянство рассадником европейской военной и морской техники. Скоро оказалось, что технические науки плохо прививались к сословию, что русскому дворянину редко и с великим трудом удавалось стать инженером или капитаном корабля, да и приобретенные познания не всегда находили приложение дома: Меншиков в Саардаме вместе с Петром лазил по реям, учился делать мачты, а в отечестве был самым сухопутным генерал-губернатором [3]).

[1]) *Соловьев,* История России, кн. 4, стр. 230.

[2]) «Russland unter Peter dem Grossen nach den handschriftlichen Berichten Johann Gottlieb Vockerodt's und Otto Pleyer's». Herausgegeben von Dr. Ernst Herrmann, Leipzig 1872, p. 102.

[3]) «Курс», ч. IV, стр. 314.

Тут, без всякого сомнения, очень много справедливого. Предшествовавшее состояние Московского государства давало себя знать. Еще Крижанич жаловался: «разумы наши тупы, а руки неуметельны». Обладателям «тупых», — т. е. неразвитых, — «разумов» и «неуметельных» рук крайне трудно давалось то, что сравнительно легко давалось так сильно опередившим их обитателям западноевропейских стран. Горячо оспаривая пренебрежительные отзывы иностранных путешественников о жителях Московского государства, Крижанич признавал, однако, что только принуждением можно подвинуть их на что-нибудь хорошее. Он совершенно правильно объяснял это свойственным Москве «крутым владанием». Но раз «крутое владение» довело москвитян до такого нравственного упадка, они оказывались несравненно лучше подготовленными к тому, чтобы пассивно препятствовать реформе, нежели деятельно способствовать ей. Они были подневольными работниками прогресса, а известно, что подневольные работники всегда обходятся очень дорого. Московские люди служили прогрессу в общем так плохо, что страна должна была заплатить невероятно дорогую цену за их работу [1]). Во всяком общественно-политическом положении есть своя логика.

С другой стороны, не надо и преувеличивать отрицательного значения вынесенного Ключевским приговора. Во всяком случае, надо помнить, что сам Ключевский нашел нужным обставить свой приговор известными оговорками. Он прибавлял, что поездки

московских людей за границу все-таки оставляли известный след. «Обязательное обучение не давало значительного запаса научных познаний, — говорил он, — но все-таки приучало дворянина к процессу выучки и возбуждало некоторый аппетит к знанию: дворянин все же обучался чему-нибудь, хотя бы и не тому, за чем его посылали» [2]).

Читателю уже известно, что при тогдашних исторических условиях речь могла идти не о приобретении *научных* познаний» в собственном смысле этого слова, а лишь об усвоении *технических* сведений. Что же касается этих сведений, то как ни мал был их запас, но он дал возможность прийти от Нарвы к Полтаве. Критикуя внешнюю политику императрицы Анны, Ключевский называет *превосходным* войско, оставшееся после Петра. И оно в самом деле было превосходным в сравнении с не-

[1]) Какой дорогой ценой заплатила Московская Русь вообще за преобразование, лучше всего показывает известное исследование *П. Н. Милюкова,* Государственное хозяйство России в первой четверти XVII столетие и реформа Петра Великого. С.-Петербург 1892.

[2]) «Курс», ч. IV, стр. 314.

А. А. Матвеев уже в детстве получил хорошее образование. Поэтому весьма естественно, что он подмечал даже такие явления, которые ускользали от внимания менее культурных его современников. Но и П. А. Толстой, приехав в Польшу, сделал подобное же замечание о женских нравах. Он писал: «По городу и в маетности ездят сенаторы, u жены их и дочери-девицы в богатых уборах и в зазор себе того не ставят» [1]).

Влияние женского общества, может быть, сильнее всех других влияний способствовало смягчению, если не нравов, то манер тех русских людей, которым, в большей или меньшей степени, пришлось принимать участие в деле Петровской реформы. Вообще усвоение приличных манер начинало считаться необходимым. Известно, что с 1708 г. книги недуховного содержания печатались у нас, по приказанию Петра, новым, так называемым гражданским шрифтом. Первой книгой, напечатанной этим шрифтом, была *«Геометриа, славенски землемерие».* Это вполне соответствует характеру тех знаний, которые особенно нужны были России в эпоху преобразования [2]). Но, как на это указал еще Ключевский, второй книгой, изданной «новотипографским тиснением», было не какое-нибудь техническое руководство, а сочинение, носившее многообещающее название: *«Приклады, како пишутся комплементы разные на немецком языке, то-есть, писания от потентатов к потентатом, поздравителные и сожалетелные, и иные, такожде между сродников и приятелей. Переведены с немецкого на российски язык»* и т. д. *Факт* появления этого письмовника показывает, как спешил Петр сообщить своим «рабам» европейские обычаи и приличия. Приводя один из содержащихся в письмовнике «прикладов» и сравнивая его язык с языком московско-русских писем допетровской эпохи, Пекарский замечает:

«В этом, письме язык тяжел до смешного, каждая фраза почти германизм; но здесь уже нет помина о челобитье до земли, нет гиперболических уподоблений и превознесения до небес лица, к которому написано послание, и жалкого самоунижения подписывающего письмо, — все это стало исчезать». Пекарский обращает внимание читателя еще

[1]) «Путевой дневник П. А. Толстого» — «Русский Архив», 1888, кн. I, стр. 193.

[2]) Во втором заглавии точно определялось практическое назначение этой книги:

«Приемы циркуля и линейке или избраннейшое начало в математических искуствах, имже возможно легким и новым способом вскоре доступити землемериа и иных из оного происходящих искуств». *(Пекарский,* Наука и литература, т. II, стр. 178). В прежнее время занятие геометрией считалось грехом: «Богомерзостен перед Господом Богом, — утверждали благочестивые люди, — всяк любяй геометрию»..

на то, что в личных обращениях «приклады» ставят «вы», а не старое московское «ты». Однако к этому требованию вежливости привыкнуть было нелегко, и потому смесь множественного числа с единственным является, по замечанию того же исследователя, обычной как в переписке, так и в разговорной речи россиян вплоть до конца XVIII века [1]). «Приклады» — это значит примеры — требуемого приличиями письменного языка переведены были у нас с немецкого. В свою очередь, немцы учились приличиям у французов, а французы у итальянцев. В XVI веке Италия в этом отношении, как и в очень многих других, давала тон всей остальной Западной Европе [2]). Иначе и быть не могло, так как в ней раньше, нежели в остальных западноевропейских странах, развилась городская культура. Когда россияне нашли нужным усвоить себе приличное обращение, они не могли, конечно, удовлетвориться одним Письмовником: l'appétit vient en mangeant. И вот в 1717 г. напечатано было, опять по приказанию Петра, новое руководство: *«Юности честное зерцало или показание к житейскому обхождению».* Оно учило молодых российских «шляхтичей», как следует ходить по улицам (не вешая головы и не потупляя глаз); как глядеть на людей (не косо, а весело и приятно, с благообразным постоянством); как раскланиваться при встречах со знакомыми (снимая шляпу за три шага) ; как сидеть за столом (руками на стол не опираться, перстов не облизывать, ножом зубов не чистить и проч.) и даже, как плевать (не вкруг, а на сторону). Для социолога в этом сборнике («Зерцало» «собрано от разных авторов») интересны соображения, которыми часто подкрепляются эти хорошие советы «отрокам». Вот, например, не надо чавкать над пищей, как свинья, и не надо говорить, не проглотя куска, потому что *так делают крестьяне.* Благовоспитанная «юность» должна прежде всего заботиться о том, чтобы не походить на мужика. К людям низшего класса, особенно к слугам и служанкам, «Зерцало» питает глубочайшее пренебрежение. Оно советует:

«С своими или с посторонними служители гораздо не сообщайся: но ежели оные прилежные, то таких слуг люби, а не во всем им верь Для того, что они грубы и невежи (нерассудливы) будучи, не знают держать меры, но хотят при случае выше своего господина вознестись, отшедши прочь, на весь свет разглашают что им поверено было.

Того ради, смотри прилежно, когда что хощешь о других говорить,

[1]) Там же, стр. 182.

[2]) *Burkhardt,* La civilisation en Italie au temps de la Renaissance. Trad. de M. Schmitt, t. II, Paris 1885, p. 185.

опасайся, чтоб притом слуг и служанок не было, а имен не упоминай, но обиняками говори, чтоб дознатца было не можно, потому что такие люди много приложить и прибавить искусны... Младые отроки всегда должны между собою говорить иностранными языки, дабы тем навыкнуть могли, а особливо, когда им что тайное говорить случится, чтоб слуги и служанки дознатца не могли, н чтоб можно их от других незнающих болванов распознать, ибо каждый купец, товар свой похваляя, продает, как может» [1]).

У Мольера, — в его «Précieuses ridicules», — Горжибюс находит, что влюбленный поступает честно, когда женится на предмете своих ухаживаний. В ответ на это его дочь Magdelon восклицает:

«Ah, mon père, ce que vous dites là est du dernier bourgeois. Cela me fait honte de vous ouïr parler de la sorte, et vous devriez un peu vous faire apprendre le bel air des choses» [2]).

В XVII веке французский аристократ считал себя человеком хорошего тона, когда не походил своими манерами на человека буржуазного воспитания. Знаменитая préciosité, так едко осмеянная Мольером, была лишь доведенной до абсурда и потому смешною крайностью аристократического стремления отличиться от буржуазной среды. Magdelon отнюдь не аристократка; она дочь самого несомненного буржуа, «bon bourgeois», как называет его Мольер. Но она подражает аристократам, и потому тоже стыдится буржуазных манер.

Аристократическое стремление к буржуазным манерам служило субъективным выражением объективных общественных отношений: привилегированного положения аристократии. В Московской Руси естественная склонность привилегированных отличиться от непривилегированных выражалась, благодаря сравнительной неразвитости общественных отношений, несколько иначе: там служилые люди считали, что им стыдно походить на «мужиков-страдников». Пекарский держался того убеждения, что интересующее нас здесь «Честное зерцало» было переведено с немецкого. Но достойно замечания, что и оно, в качестве довода от противного, берет не буржуа, а крестьян и служителей. Такой довод был понятнее русским молодым «шляхтичам», нежели довод от буржуа. Еще более понятной для россиян была рекомендованная «Зерцалом» осторожность по части разговоров в присутствии слуг. Еще «дукс» Хворостинин горько жаловался на предательство «рабов»

[1]) *Пекарский,* назв. соч., т. II, стр. 382—383.

[2]) То, что вы сказали, папенька, до последней степени буржуазно. Мне стыдно, когда вы так говорите, и вам следовало бы поучиться тонкому обращению.

Усердный преобразователь Петр нимало не пренебрегал «рабьими» доносами в своих кровавых расправах с теми представителями служилого класса, которые так или иначе навлекали на себя его неудовольствие. А так как вызвать это неудовольствие было очень нетрудно, то благоразумие подсказывало им крайнюю сдержанность в беседах при слугах или... разговор на одном из иностранных языков. Сильно топорщились московские служилые люди, когда их сажали за иностранные (.вокабулы»; горек был для них *корень* учения. Но, овладев тем или другим из иностранных языков, они, хотя бы уже ввиду указанного обстоятельства, должны были признать, что *плод* учения сладок, и что, стало быть, справедлива французская поговорка: A quelque chose malheur est bon.

«Честное зерцало» много занималось слугами. Оно советовало держать их в страхе и больше двух раз вины им не прощать: «Когда кто своих домашних в страсе содержит, оному благочинно и услуженно бывает... ибо раби, по своему нраву, невежливи, упрями, бесстыдливи и горда бывают, того ради надо их смирять и унижать».

Не зная того немецкого подлинника,— вернее, тех подлинников, — с которого (которых) переведено было «Зерцало», невозможно проверить точность перевода. Однако можно с уверенностью сказать, что там нет слова «Sklaven», а есть слово *«Hausknechte»* или *«Diener»*.

Но в русском переводе стоят «раби». Это было в духе нашего тогдашнего социального строя.

Беда лишь в том, что слово «раби» не подходит к тексту. В тексте говорится о том, что слуг, провинившихся в третий раз, следует, в наказание, прогонять из дому. Но многие российские «раби», наверно, ничего не имели против такого наказания, а их господа, наоборот, вовсе не расположены были наказывать их таким способом: когда «раби» бежали из дому, они старались поймать их и вернуть назад. Последующие рассуждения «Честного зерцала» о поведении рабов тоже не вполне соответствуют положению дела в российском государстве. «Не надлежит, — поясняет «Зерцало», — от слуги терпеть, чтоб он переговаривал или, как пес, огрызался, ибо слуги всегда хотят больше права иметь, нежели господин, для того не надобно им попущать. Нет того мерзостнее, как убогий, гордый (убожество плохо вяжется с горестью. — *Г. П.*), нахалливой и противной слуга, отчего и пословица зачалась: в нищенской гордости имеет дьявол свою утеху». Что «холопи», составлявшие дворни служилых людей, могли быть «нахалливы», это, разумеется, совершенно допустимо. Но чтобы они хотели «больше

права иметь, нежели господин», это — совсем невероятно. Подобные претензии проявляются, — если проявляются, — разве только наемными слугами, не имеющими юридического основания опасаться барских кулаков.

Интересно было бы знать, замечали ли русские читатели «Зерцала», что речь идет в нем не о русских слугах. Но вряд ли можно сомневаться в том, что их домашняя *практика* гораздо больше соответствовала русским условиям, чем изложенная в «Зерцале» теория.

«Зерцало» имело большой успех. В царствование Петра оно выдержало целых три издания [1]).

III

Итак, передовые россияне учились прилично держать себя в обществе и говорить дамам «комплементы»! Многие из них, наверно, усваивали это искусство с большей охотой, нежели «навигацкую» науку. Литература отразила в себе совершавшуюся перемену общественных привычек. Герои некоторых русских повестей первой половины XVII в. говорят языком, который, в значительной степени сохраняя старую московскую дубоватость, делается якобы утонченным и порой становится напыщенным и слащавым. Когда кто-нибудь из этих господ влюбляется, это значит, что его «уязвила купидова стрела». Влюбившись, они очень скоро приходят в «изумление», т. е. сходят с ума. Если К. Зотов доносил Петру, что наши гардемарины в Тулоне дрались между собой и бранились самою позорною бранью, вследствие чего у них отбирались шпаги, то действующие лица повестей показывают себя более благовоспитанными. Рассердившись на «ковалера» Александра, «ковалер» Тигнанор говорит ему уже не без рыцарства: «Иди ты, бестия, со мной на поединок!». И при каждом удобном и даже неудобном случае эти благовоспитанные «ковалеры» выражают свои нежные чувства пением. Так, влюбившись в девицу Элеонору и не надеясь на ее взаимность, российский дворянин «Олександр» отправляется за город и, найдя там «место прохладное и воздух приятный», запевает следующую чувствительную «арию»:

«Диену красоту твою, граде лилл, я ныне зрю [2]): врата имаш поглощенный, а внутри копие изочренны! почто чинишь сомьною прю?

[1]) *Пекарский,* Наука и литература в России при Петре Великом т. II, стр. 383.

[2]) Действие происходит в городе Лилле.

«Стенами крепчаешими отвсюду окружен; здание предивно имашь, вруце держишь палашь! стобою уязвлен!

«Кнеи похвалы имам цнес предати, храбрость мою уничтожил, печал вомне умножил! покин стрелы метати!

«Всебе драгоценнеиши камен бралиант имашь, ах, элеонору девку, полну ярости игневу! помощи мне втом недашь, — зрю фартуна злящая мною ныне владет, несчастия комне течет, икогробу уже влечет! что мне впомощ успеет?» [1]) и т. д.

С своей стороны, Элеонора, упрекая себя за то, что холодностью довела «Олександра» до тяжкой болезни, «неутешно плакала ивтех слезах пела арию:

Щастие, элеоноре, сама ты погубиша! нанесла печаль своей младости! гордым ответом болезн возбудила, кое причестна ныне сладости!

«Кою ползу гордостию себе бедная сотьворила? вчем себя более признаваешь? здравия почто ты себя лишила, авгорести уже пропадаешь!

«Прииди, любезнеиши! изми мя отзлеишия муки инедаи напрасно погибати! Ускори мне впомощь ипростри руку: неимам, на кого уповати!» [2]).

Благодаря слабому развитию у нас общественной деятельности, русская интеллигенция обсуждала в своих кружках вопрос о разумных отношениях мужчины к женщине внимательнее, нежели западноевропейская. Но этот вопрос, возникший у нас под французским влиянием, е самой Франции поставлен был лишь в XIX столетии. А в то время, о котором я говорю теперь, его не поднимали даже и на Западе. «Розсииски ковалеры», вроде «Олександра», интересовались женским вопросом преимущественно в том смысле, что старались возможно больше умножить число своих любовных похождений. Названный выше «дворянин Олександр» только и думал о том, чтобы встретить даму или девицу, «с которою бы можно спознатца и зсобою вести». Он всецело предавался волокитству в самом пошлом смысле этого слова.

И не только в пошлом. Нет ни малейшего основания ожидать, что, усваивая себе некоторые сентиментальные обороты речи, тогдашние российские «ковалеры» целиком утрачивали свою старую грубость. Их пылкая любовь отличается первобытной практичностью. Когда девица Тирро, следуя приглашению Александра, приезжает к нему на квартиру, и радостно бросается к ней навстречу и, не тратя лишних слов, гово-

[1]) *Сиповский,* Русские повести XVII —XVIII вв. СПБ. 1905, I. «История о Александре российском дворянине», стр. 132, 133, 155.

[2]) Там же, стр. 133.

рит: «Надеюс ползу получить» [1]). Добившись от нее письменного признания в любви, он радуется «о получени писма полезного». Но Александр — джентельмен по сравнению с другим героем той же повести, дворянином «Владимером», который в обращении с

женщинами выступает самым гнусным негодяем и самым противным скотом [2]). Между прочим, он подробно передает Александру рассуждения некоего «гдацкого» барона Форъяра, который категорически заявляет, что мы все любим для одного веселья. А как понимает «гдацкий» барон «веселье» к любви, показывают следующие слова его песенки: «воли (любимой женщине. — *Г. П.*) не давай: и нередко, по щеке ударяй, дабы, яко раба, предстояла, в том со страхом пребывала неотступно всегда».

Мне сдается, что, когда автор повести влагал в уста датчанина эту песенку, он «поэтически» выражал больше то, что видел у себя дома, нежели то, что узнал о западноевропейских нравах: до такой степени взгляд на женщину, как на рабу, и расправа с ней посредством пощечин соответствуют понятиям и обычаям москвичей доброго старого времени.

Действующие лица интересующих нас повестей получили вкус не только к волокитству, но и к роскоши. Приплывши в Цесарию (т. е. в Австрию. — *Г. П.*), российский матрос Василий Кориотской [3]) «нанел некоторой министерской дом зело украшен, за которой платил на каждой месяц по лятидесят червонцев... И нанел себе в лакеи пятдесяг человек, которым поделал ливреи, велми с богатым убором, что при дворе цесарском таких ливрей нет чистотою» [4]). Приобретать вкус к роскошной обстановке тоже легче было, чем изучать «навигацкую» науку или геодезию.

Однако будем справедливы. Указанные повести замечательны, между прочим, и тем, что их герои уже убедились в почетной необходимости ученья. Так, о матросе Василии Кориотском сказано, что о нем прошла великая слава «за его науку и услугу, понеже он знал в науках матросских велми остро, по морям где острова и пучины морские и мели, и быстрины, и ветры, и небесные планеты, и воздухи. И за эту науку на кораблях старшим пребывал и от всех старших матросов в великой славе прославлялся».

[1]) *Сиповский,* назв. соч., стр. 151.

[2]) Там же, стр. 166, 168.

[3]) Герой «Гистории о российском матросе Василии Кориотском и о прекрасной королевне Ираклии Флоренской земли» в том же издании Сиповского.

[4]) *Сиповский,* назв. соч., стр. 118.

Дворянин Александр, придя в возраст, обратился к своим родителям со следующими напыщенными, но в то же время характерными словами:

«Понеже во всем свете доединого обычая имеют чад своих обучат ипотом вчуждые государства для обретения вящей чести иславы отпускают, — того ради ия, вашь раб, взял намерение вначале благословение икпутешествованию позволения увас испросити. Знаю, государи, что горячность иотеческая любовь ваша кразлуке конечно советоват небудет, однакожь покорнеиши прошу, учините мя равно сподобными мне: ибо чрез удержание свое можате мне вечное поношение учинити, — нкако могу назватися ичем похвалюся? нетокмо похвалитися, ноидворянином назватися небуду достоин! Сотворите милость, недопустим довечного позору!».

Наконец, автор «Гистории королевича Архилабона» повествует: «Немецкого государства король фридерик, имея усебя королеву марию крустину вдоволной любви, зачел сына ипорождении назван архилабоном. Авпять лет возраста вдан вакадемию для наук разных языков инструментов, вкоторой продолжался дошеснатцати лет» [1]). Эта третья повесть относится, повидимому, к середине XVIII века. Но в ней ска-

зывается чисто Петровский взгляд на «науки»: заниматься ими значит изучать разные языки и «инструменты». Архилабон пробыл в учении от пяти до шестнадцати лет, а когда обучился «доволно разным языкам инаинарументах», поступил в военную службу. Это опять было совершенно согласно с обычаями, созданными реформою.

Из других источников видно, что повествовательная литература верно отразила начавшуюся перемену во взгляде на учение. Существует «Отеческое завещательное поучение посланному для обучения в дальние страны юному сыну», напечатанное в первом томе сочинений Ивана Посошкова [2]). Посошков, очевидно, не был его автором, но*это для нас здесь не имеет никакого значения. Важно содержание этого документа Неизвестный автор его так наставляет своего сына:

«Понеже великая есть и трудная преграда между ведением и неведением; сего ради дражайшее время твоих юных лет попечением родительским ти советую ни единого часа во тщетных и непотребных делах или играх туне погубляти, рассуждая, яко ни что же драгоценнее есть времени, его же часть, день или час, к тому во веки не возвратится, и тем временем не точию вся красная мира сего получим, но и гря-

[1]) Там же, стр. 90, 109, 129.
[2]) Изд. М. П. Погодина.

дущую блаженнейшую вечность верою и благами делы достигаем. Того ради всякий день и час, не с надсадным утруждением, но, по возможности, чинно и благоговейно в науках провождати да потщишися».

В выборе наук, рекомендуемых им своему сыну, отец, написавший это поучение, целиком стоит на точке зрения своего века. Он говорит:

«Скорейшего же ради и удобного получения наук, советую ти Немецкой, или наипаче чистой Французской язык учити, и в начале в том языке, его же изберешь, учити арифметику, »же всем математическим наукам дверь и основание есть; потом сокращенную Математику яже в себе содержит Геометрию, Архитектуру, и Фортификацыю, еже ведение земного глобуса, таже искуство земных и морских чертежей, компаса, течение солнца и знамяных звезд» [1]).

Не лишено интереса и то соображение, которым подкрепляется мысль о необходимости изучения математики, архитектуры и т. д. Изучать их надо не для того, чтобы самому сделаться «инженером или корабельщиком», а для того, чтобы быть в состоянии наблюдать за служилыми иноземцами. Если служилый иноземец, которому поручены будут какие-нибудь инженерные работы, начнет делать что-нибудь «к шкоде или повреждению Великого Государя градов... тогда ты сам, ведением тех наук исполнен... возможешь познати правду... и тем приимешь от Великого Государя и Монарха своего похвалу, от братииж своих честь, а такие иноземцы, не право учиня, к тебе будут имени страх» [2]).

Заметное уже в «Беседе Валаамских чудотворцев» нерасположение к служилым иноземцам должно было расти по мере того, как усиливался приток их в Россию. Оно оставило свой след в дальнейшем ходе развития нашей общественной жизни и мысли.

Петровская реформа не только научила *передовых* российских людей уважать науки и «инструменты». Она открыла перед ними новый мир, прежде им почти совсем неизвестный. Жители Московского государства никогда не были большими домоседами;

напротив, они охотно устремлялись на «новые места», — так охотно, что приходилось привязывать их к месту их жительства. Но хотя некоторые, — служилые люди и крестьяне, жившие недалеко от литовского рубежа, — искали порой убежища на *Западе,* уходя на Литовскую Русь, однако в общем они предпочитали двигаться на *Восток.* На Восток обращены были и их

[1]) Соч. *И. Посошкова.* Москва 1842, т. I, стр. 297—298.

[2]) Там же, стр. 298.

умственные взоры. Читатель помнит, надеюсь, как часто приводил в пример Турцию московский публицист XVI века И. Пересветов. Автор «Беседы Валаамских чудотворцев», желая сказать: в иных государствах, делает иногда характерный lapsus linguae, говоря: в иных ордах. Со времени Петровской реформы дело изменилось. Взоры передовых россиян обратились на Запад. Наш знакомец, российский матрос Василий Кориотской родился «в Российских Европиях». После своего путешествия в Голландию, Англию и Францию, он, «подняв парусы», возвращается опять-таки в «Российскую Европию». Прекрасная королевна Флоренской земли Ираклия, рассказывая ему о своих злоключениях, сообщает, как в эту землю пришли «из Европии короблями российские купцы». Таким образом, русская земля представляется как бы «Европией» по преимуществу [1]).

Василий тоже не упускает случая довести до сведения королевны, что он родом из «Российской Европии». При чем его рассказ о своих путешествиях производит такое впечатление, как будто дворянин-матрос превосходно чувствовал себя на Западе и ото всех получал одно «почтение»:

«Послан для наук в Галандию и так (там? — *Г. П.*) был почтен от галанского купца, от которого ходил с товарами в Англию и Францию на кораблях, и оттуда возвратился, и великий ему учинил прибытки, почтен был вместо сына родного» [2]).

Действующие лица новых повестей, возникших под непосредственным влиянием Петровской реформы, по большей части, плохо знают географию и жестоко искажают названия западноевропейских городов и стран. Но это отнюдь не мешает им пребывать в той приятной уверенности, что вся Европа живо заинтересована их подвигами. «Розсииски ковалер» Александр, — обиженный английским «шаутбенахтом» [3]), самоуверенно говорит английскому королю; «я надеюс, и вы знали, что вся Европия за «ковалера гнева и победы» востанет» [4]). Это, конечно, смешно. Но и это заслуживает внимания, как знамение того переходного времени.

В заключение отметим еще две черты характера выводимых в повестях новых людей.

1) *Сиповский,* назв. соч., стр. 108, 110, 115.

[2]) Там же, стр. 116.

[3]) Тогдашнее название одного из высших флотских чинов.

[4]) Там же, стр. 160. Ковалером гнева и победы» и был наш дворянин «Олександр».

Господа эти, усердно изучающие любовную науку, часто приходящие в «изумление», а еще чаще распевающие чувствительные арии, выказывают при случае большую жестокость. Уже много раз упомянутый мною матрос-дворянин г. Кориотской приказывает учинить

«тиранственное мучение» попавшему в его руки Флоренскому адмиралу, который когда-то пытался утопить его в море: он «повеле адмирала пред войском цесарским вывесть и с живого кожу снять» [1]). Это во вкусе Ивана Васильевича Грозного, но, к сожалению, это не очень далеко ушло и от привычек великого преобразователя.

Во-вторых, «ковалеры» продолжают по-старому смотреть на отношение подданных к государю. Когда австрийский цесарь пригласил матроса Василия к своему столу, тот «с почтением» произнес:

«Пожалуй, государь великий царь, меня недостойного остави, понеже я ваш раб, и недостойно мне с вашею персоною сидеть, а достойно мне пред вашим величеством стоять».

На это цесарь возразил:

«Почто напрасно отговариваешься? Понеже я вижу вас достойно разума, то вас жалую своим сердцем искренним: хотя бы мой который и подданной раб, а я его жалую, велю садиться с собою, *и* тот меня слушает; а ты, приезжай ко мне гость, изволте садиться».

Матрос Василий выразил свое «почтение» к австрийскому цесарю совсем по-старо-московски.

Афанасий Власьев, которого Лжедимитрий послал в Краков представлять особу царя при обручении с Мариной Мнишек, будучи приглашен к королевскому столу, отказывался есть, потому что холопу неприлично принимать пищу при таких высоких особах, а довольно с него чести смотреть, как они кушают. За обедом он, сидя рядом с царской невестой, не переставал заботиться о том, чтобы его одежда как-нибудь не прикоснулась к ее платью. Во время обряда обручения он, прежде чем взять Марину за руку, счел нужным обернуть свою собственную руку.

Согласитесь, что славный матрос Василий похож на Афанасья Власьева. В разговоре с цесарем он называет себя его рабом, простодушно полагая, что этого требует от него долг вежливости по отношению к коронованным особам. Он и не подозревал, что иное дело раб, а иное дело подданный. Но мы знаем, что хотя Петр и запретил россиянам подписываться в обращениях к нему уничижительными име-

[1]) *Сиповский,* назв. соч., стр. 128.

нами, — Ванька, Сенька и т. д., — однако его *подданные* остались его *рабами.* Поэтому повесть о матросе Василии и здесь верна духу своей эпохи.

Петровская реформа не устранила основ московской «вотчинной монархии». На довольно долгое время основы эти были еще более расширены и упрочены ею. Поэтому отношение служилого класса к верховной власти не только сохранило свой старый характер, но еще более выявило его. Однако пример Запада и тут не остался совершенно без влияния на умы служилых людей, особенно наиболее «фамильных» между ними. Это довольно ясно обнаружилось всего несколько лет после смерти Петра Первого. Но об этом ниже.

IV

Павлов-Сильванский справедливо заметил, что Петр со своими ближайшими сотрудниками далеко не был так одинок, как это думали некоторые, Основываясь на словах И. Посошкова: «Он (преобразователь) на гору аще сам десять тянет, а под гору миллионы тянут, то как дело его споро будет?». Теперь уже вряд ли кто станет оспаривать это замечание Павлова-Сильванского. А тому, кто все-таки

усомнился бы в его справедливости, можно было бы указать, кроме других источников, на весьма обстоятельное сочинение только что названного мною покойного ученого: «Проекты реформ в записках современников Петра Великого» (СПБ. 1897). В нем с большой ясностью показано, что очень многие преобразовательные планы Петра заимствованы были им от своих помощников. Впрочем, еще раньше Павлова-Сильванского та же мысль была высказана и обоснована П. Н. Милюковым в его названном мною выше исследовании: «Государственное хозяйство России в первой четверти XVIII века и реформы Петра Великого». П. Н. Милюков утверждал, что в Петровской реформе личный почин государя сводился к гораздо более узким рамкам, чем это обыкновенно полагают. «Вопросы ставила жизнь, — говорит он; — формулировали более или менее знающие люди; царь схватывал иногда главную мысль формулировки или, — и, может быть, чаще, — ухватывался за ее прикладной вывод; обсуждение необходимых при осуществлении подробностей поставленной, формулированной и одобренной идеи предоставлялось царем правительству вместе с подавшими мысль советчиками — и в результате получался указ» [1]). Этот вывод очень важен как для историка, так и для

[1]) Назв. соч., стр. 587. и 588.

социолога [1]). Но все-таки интересно, что же собственно происходило в эпоху реформы *после того,* как «получался указ».

Петровские указы почти всегда требовали от населения огромных жертв [2]). Это обстоятельство вызывало в нем большое неудовольствие. Кроме того, указы эти нарушали многие старые привычки и затрагивали многие укоренившиеся предрассудки. Этим еще более усиливалось неудовольствие, вызывавшееся Петровскими указами. Даже служилый класс, менее других классов московского населения враждебный реформе, роптал и сопротивлялся. Правда, его сопротивление всегда оставалось пассивным. Дворянство не бунтовало, как это делали, например, казаки. Но и пассивное сопротивление очень много вредило делу реформы. Петр и те его современники, которые подсказывали ему преобразовательные планы или разрабатывали с ним планы, им самим придуманные, всегда оставались в меньшинстве. Посошков был не совсем неправ. Охотников тянуть *«под* гору» было несравненно больше, нежели тянувших «на гору» [3]). Положим, у Петра была беспредельная власть, и он очень охотно и крайне широко пользовался ею. Бунтовщиков он «весьма» лишал живота; на пассивное сопротивление отвечал жестокими истязаниями и каторжными работами. Его указы испещрены угрозами. Один иностранный писатель справедливо сказал, что они написаны *кнутом.* Но государь и его помощники, несмотря на непоколебимую веру свою в спасительную силу наказания, сознавали, что для преобразования России недостаточно вешать бунтовщиков и терзать кнутом или ссылать в Рогервик «нетчиков». Они старались склонить на свою сторону общественное мнение страны. Противники реформы не ограничивались устным ропотом; они создали целую литературу «подметных писем» и другого рода письменных протестов. Петр не хотел оставаться в литературном долгу у своих противников. Поэтому его указы не только грозили лишением живота и нещадным наказанием; они старались, кроме того, *убедить.* С этой стороны они представляют собой любопытные публицистические произведения.

[1]) Особенно для того, которого интересует вопрос «о роли личности в истории».

[2]) Это убедительнее всех других показал именно П. Н. Милюков.

[3]) Сам Павлов-Сильванский говорил, что даже ближайшие помощники Петра далеко не всегда были такими энергичными сторонниками реформы, каким был он сам. После его смерти новое правительство сохраняет все важнейшие нововведения, но для поддержания многих из них и дальнейшего развития у него нехватает ни сил, ни энергии (ст. «Суд над реформой Петра Великого в Верховном Тайном Совете», в сборнике «О минувшем». СПБ. 1909, стр. 3; ср. его же статью: «Мнение верховников о реформах Петра Великого». Сочинения, т. II, стр. 373—401).

Едва ли не любопытнее всех остальных указ 1702 г. о вызове иностранцев в Россию. В него вошло целое рассуждение о смысле и пользе реформы.

«Довольно известно во всех землях, которые Всевышний нашему правлению подчинил, — говорится в этом указе, — что со вступления нашего на сей престол все старания и намерения наши клонились к тому, как бы сим государством управлять таким образом, чтоб все наши подданные, попечением нашим о всеобщем благе, более и более приходили в лучшее и благополучнейшее состояние; на сей конец мы весьма старались сохранить внутреннее спокойствие, защитить государство от внешнего нападения и всячески улучшить и> распространить торговлю. Для сей же цели мы побуждены были в самом правлении учинить некоторые нужные и к благу земли нашей служащие перемены, дабы наши подданные могли тем более и удобне научаться поныне им неизвестным познаниям и тем искуснее становиться во всех торговых делах. Чего ради мы все, наипаче к споспешествованию торговли с иностранцами необходимые приказания, распоряжения и учреждения всемилостивейше учинили и впредь чинить намерены; поелику же мы опасаемся, что дела сии не совсем еще в таком положении находятся, как бы мы того желали, и что наши подданные не могут еще в совершенном спокойствии насладиться плодами трудов наших, того ради помышляли мы о других еще способах, как бы обезопасить пределы наши от нападения неприятельского и сохранить права и преимущества нашего государства и всеобщее спокойствие в христианстве, как то христианскому монарху следует. Для достижения сих благих целей мы наипаче старались о наилучшем учреждении военного штата, яко опоры нашего государства, дабы войска наши не токмо состояли из хорошо обученных людей, но и жили в добром порядке и дисциплине; но дабы сие тем более усовершенствовать и побудить иноземцев, которые к сей цели содействовать и к таковому улучшению способствовать могут, купно с прочими государству полезными художниками к нам приезжать и как в нашей службе, так и в нашей земле оставаться, указали мы сей манифест с нижеписанными пунктами повсюду объявить и, напечатав, по всей Европе обнародовать» [1]).

Другой пример. Издавая указ о неделимости дворянских имений,— так называемый, хотя и неправильно, указ о майорате, — Петр поясняет, какой пользы следует от него ждать.

[1]) Приведено у *Соловьева,* История России, кн. 3-я, стр. 1344.

«Если недвижимое будет всегда идти одному сыну, а прочим движимое, то государственные доходы будут справнее, ибо с большого всегда господин довольнее будет, хотя по малу возьмет, и один дом будет, а не пять, и может лучше льготить подданных, а не разорять. Вторая причина: фамилии не будут упадать, но в своей ясности непоколебимы будут чрез славные и великие домы. Третья

причина: прочие (сыновья) не будут праздны, ибо принуждены будут хлеба своего искать службою, учением, торгами и прочим. И то все, что они сделают вновь для своего пропитания, государственная польза есть» и г. д. [1]).

Или возьмем «Духовный регламент». Это не только устав. Это — также произведение публициста, обнаруживающего по временам несомненное полемическое увлечение и дарование. В указе о монашестве и монастырях, отчасти дополняющее собою «Духовный регламент», публицистический элемент становится преобладающим. Указ заключает в себе целый очерк истории монашества, начиная с древних евреев.

«Был чин еще у евреев чину монашескому нечто подобный, нарицаемый назореи (Числ глава 6), — повествует указ; — но по обещанию на время, а не вечный, и ниже присягою обязанный». О монашеское чине у христиан сообщается, что он возник ради хороших целей, а потом стал приносить «убыль обществу» и вызывать соблазн между инославнымн. Авторы указа говорят, что разумным это явно, «а прочим зде покажем». И они в самом деле очень старательно показывают это.

Петр смотрел на монашество, как и на все прочее, с точки зрения государственной пользы. Но пользы от него он видел мало, а вреда очень много. И вот, Петр ссылается на ту эпоху византийской истории, когда греческие императоры, «покинув свое звание, ханжить начали» и подчинились вредному влиянию «некоторых плутов». Избегая труда и стремясь питаться «трудами других», плуты довели дело до того, что «на одном канале от Черного моря даже до Царя-города, который не более тридцати верст протягивается», было до трехсот монастырей. В других местах они были еще многочисленнее, и «все с великими доходы». Эта «гангрена» привела к полному ослаблению военной силы Византийской империи: «И тако как от прочего несмотрения, так и от сего в такое бедство пришли, что когда турки осадили Царь-город, ниже 6000 человек воинов сыскать могли».

[1]) Там же, кн. 4, стр. 151.

Если верить авторам указа, то Российскому государству монастыри приносят не больше пользы, чем приносили они Византии: «Нынешнее житие монахов точию вид есть и понос от иных законов, не мало же и зла происходит, понеже большая часть тунеядцы суть, и понеже корень всему злу праздность и сколько забобонов [1]) раскольных и возмутителей произошло, всем ведомо есть».

Петру тем труднее было помириться с тунеядством и «забобонами» монахов, что они у нас были «почитай все из поселян», ну, а поселянин, конечно, должен работать, а не рассуждать. Когда поселянин поступает в монашеское звание, он не отрекается от мирских благ; напротив, он получает их больше, чем прежде: «ибо дома был троеданник, то есть дому своему, государству и помещику, а в монахах все готовое а где и сами трудятся, то токмо вольные поселяне суть, ибо токмо одну долю от трех против поселян работают». При этом они совсем не учатся и священных книг не читают. Выходит, что обществу нет от них решительно никакой «прибыли». «Воистину токмо старая пословица: ни Богу, ни людям». При Петре запрещено было постригать крепостных крестьян, кроме тех, которые имели от помещика «отпускные письма». Да и в этом случае предписано было смотреть, кто и как и каковых лет и для чего освобожден от своего помещика, и умеет ли «граммате». —

Неграмотные вовсе не принимались в монахи.

Указ этот написан сообща Петром и Феофаном Прокоповичем [2]). Мы видим отсюда, что Петр не был одиноким и тогда, когда выступал в роли публициста. Указ 1714 г., так называемый указ о майорате, выписки из которого приведены мною выше, тоже опирался на доводы, не исключительно принадлежавшие Петру. П. Н. Милюков как нельзя более убедительно доказал, что главнейшие из этих доводов заимствованы были Петром ив одной работы Феодора Салтыкова [3]). Наиболее деятельным помощником Петра по части публицистики был, без всякого сомнения, Феофан Прокопович, которого можно назвать самым плодовитым и самым талантливым публицистом эпохи преобразования.

[1]) Т. е. суеверий.

[2]) Он целиком приведен в одном из приложений к книге *П. Чистовича,* Феофан Прокопович и его время. СПБ. 1868, стр. 709—718.

[3]) «Доношение о некоторых состоятельных, которые прилежно выбраны из правления уставов разных, как аглинских, французских, германских, такожде прочих европских присудствуемых приличеству самодержавия». (См. «Государственное хозяйство России при Петре Великом», стр. 536.)

В своих проповедях Прокопович неустанно защищал Петровскую реформу с самых различных ее сторон. Вот, например, неповоротливое московское мышление не могло помириться с поездками за границу Петра и его служилых людей. Поэтому Прокопович нашел нужным распространиться о пользе путешествий. В «Слове в неделю осмую надесять (октября в 23 день 1717 года)», он говорил: «Якоже бо река далее и далее проводя течение свое, более и более растет, получая себе прибавление из припадающих потоков, и тако шествием своим умножается, и великую приемлет силу; тако и странствование человеку благоразумному прибавляет много. Чегож много прибавляет? телесные ли силы? но тая подорожными неугодиами слабеет. Богатства ли? кроме купцов единых прочиим убыточно есть. Чегож иного? того, еже и есть *н* собственному и общему добру основание, искусства. Не всуе бо славный оный стихотворец Еллинский Омир в начале книг своих Одиссеа нарицаемых, хотя кратко похваливши Улисса вожда Греческого, о котором повесть долгую поет, нарицает его мужа многих людей обычаи л грады видевшего. Сокращенная похвала, но великая; многие бо и великие пользы сокращенно содержит».

По словам Прокоповича, путешествия вообще развивают ум, а в частности политический смысл путешественников: «Смело реку, есть тое лучшая и живая честныя политики школа». Но Феофан не был бы сотрудником Петра, если бы не взглянул на вопрос о пользе путешествий также и с точки зрения военного дела. С этой точки зрения они представлялись ему даже наиболее полезными.

«Особенно же делам военным, изрещи трудно, как изрядно обучает странствование... Кому же и легко сие рассуждающему не яве есть, аще бо Географические карты много к походу военному пользуют, кольми паче сведати самые страны, и грады, и народы. Не видим на карте какая сия или оная крепость, в чем оныя надежда и в чем боязнь, каковое искуство людей, и каковые сего и оного народа сердца, не видим на картах, которые угодные, и которые трудные места к переходу, к переправе, к положению стана, к действию баталий и прочая сим подобная. Странствование едино все тое как на длане показует и живую Географию в памяти написует, так, что человек не иначе сведанные страны в мысли своей имеет, аки бы на

воздусе летая имел оные пред очима» [1]).

[1]) *Феофан Прокопович,* Слова и речи поучительные, похвальные и поздравительные. СПБ. 1760, ч. I, стр. 205—208.

Одним из наиболее дорогих нововведений был флот, постройка которого тоже вызывала сильный ропот. Прокопович нашел нужным выступить на защиту флота. В «Слове похвальном о флоте Российском, и о победе галерами Российскими над кораблями шведскими Иулиа 27 дня полученной», произнесенной в Петербурге 8 сентября 1720 г., он поднимает вопрос о мореплавании на высоту философии истории.

Вполне согласно с религиозным миросозерцанием проповедника изображение мореплавания в виде одного из средств, избранных богом для культурного человеческого рода.

«Премудрый мира создатель, промышляя человеком взаимное друголюбие, не благоволил всем странам земным всякие плоды житию нашему потребные произносити; ибо тогда сии жители на оных, а онии на сих ниже посмотрели бы, един от другого помощи не требуя. Разделил убо творец земная своя благая различным странам по части, дабы так едина от другой требуя взаимного пособия, лучше в любовный союз сопрягатися могли. Но понеже не возможно было людем имети коммуникацию земным путем от конец до конец мира сего, того ради великий промысл Божий пролиял промеж селения человеческая водное естество, взаимному всех стран сообществу послужити могущее. А от сего видим, какая и коликая флота морского нужда, видим, что всяк сего нелюбящий, не любит добра своего, и Божию о добре нашем промыслу неблагодарен есть».

Впрочем, Прокопович не считает нужным долго распространяться вообще о пользе флота, так как она очевидна всякому «благорассудному». Он спешит перейти к рассмотрению пользы, приносимой флотом собственно Российскому государству. Бесчестно, по его словам, не иметь флота в такой стране, которая прилегает ко многим морям: Стоим над водою и смотрим, как гости к нам приходят и отходят, а сами того не умеем». Благодаря этому, наше море оказывается не нашим. Кроме того, страна, не имеющая флота, не имеет достаточной силы сопротивления неприятелям.

«Трудно земным при реке Ниле животным обходится с крокодилами. - Также то трудное было бы тебе, о Россие, на поморий твоем с неприятелем обхождение, аще не бы милостивый промысл Божий предварил тебе благословением благостынным, и не возбудил бы в тебе

тщаливого духа к устроению флота» [1]). Таким образом, и постройка Флота является, в последнем счете, делом божественного промысла. Естественно поэтому, что Феофан приглашает своих слушателей возблагодарить бога за возникновение русского флота и за победу русских моряков:

«Прославим убо прославившего нас, благодарим обрадовавшему нас: его дело есть флот Российский, его благословение есть толикая сила и толикие плоды флота Российского. Он смотрением своим навел очи Монаршие *т* презренный ботик: он Царское сердце зажегл ко Архитектуре корабельной; он предопределяя России возвращение своих, и получение новых поморских стран, предварил ю благословением своим, сильну же и действенну на море сотворил, вооружив

флотом, и толикими ущедрив победами. Благословен Бог наш изволивый тако! Буди имя господне благословенно от ныне и до века!» [2]).

Известно, что на запрос, сделанный им князю Д. М. Голицыну в начале 1709 г.: «нет ли в монахах братского монастыря какого подозрения?» — Петр получил ответ: «Во всем Киеве нашел я одного человека, именно из братского монастыря префекта, который к нам снисходителен». Этим префектом был Феофан Прокопович. Он был «снисходителен» к реформе еще прежде сближения своего с Петром. Характерно, что его школьная «трагедокомедия», написанная в 1705 г., имеет предметом тоже реформу: введение христианства в Россию. Она называется «Владимир, Славянороссийских стран князь и повелитель, от неверия тмы в свет евангельский приведенний Духом Святым». Впоследствии было замечено Н. И. Гнедичем, что в этой трагедокомедии выражались такие мысли, какие в тот век и на ухо выражать страшились. И в самом деле, трагедокомедия многим казалась слишком смелой и полной язвительных выходок против духовенства. После смерти Петра, Маркелл Радышевский доносил, что Феофан «архиереев, иереев православных жрецами и фарисеями называет... Священников российских называет жериволами, лицемерами, идольскими жрецами, а чернцов — черными мужиками и чертями, и монашество и черниц желает искоренить». Феофану пришлось оправдываться, ссылаясь на то, что он осуждал не сплошь всех священников, а только великую часть их, которая «непотребна и таковых имен и подобий достойна, не

[1]) Там же, ч. II, стр. 52, 53, 54, 55.
[2]) Там же, стр. 59.

по званию своему, но по нраву и негодности» [1]). При жизни Петра Прокопович мог не бояться доносов, так как первый русский император сам недолюбливал «жериволов», а сочувствие к реформе не могло не быть большой заслугой в его глазах. После его смерти настали другие времена.

Не надо думать, однако, что, выступив на защиту Петровской реформы, Прокопович явился исключением в тогдашнем русском духовенстве. К реформе были «снисходительны» довольно многие духовные лица *малорусского* происхождения. Некоторые из них защищали реформу вообще и флот в частности, так сказать, ex professo. Сошлюсь на Гавриила Бужинского, назначенного в 1719 г. *обер-иеромонахом флота.* Он доказывал в своих проповедях, что государство, лишенное флота, подобно птице, которая захотела бы летать с одним крылом. Он усердно оттенял также «неизреченную» пользу, приносимую государству купечеством. «Ни одно царство, — говорил он, — не может быть довольным собою без торгов». Другой иеромонах флота обличал главных противников Петровской реформы, раскольников, и перевел на русский язык «Увещания и приклады политические, от различных историков Юстом Липстием на латинском языке собранные» [2]).

Местоблюститель патриаршего престола, Стефан Яворский, не одобрял многих мер Петра. Царевич Алексей не без основания считал его своим сторонником. Но духовная власть была тогда у «ас до такой степени подчинена светской, что и Яворский вынужден был, скрепя сердце и по-своему, отстаивать «правду воли Монаршей». В усердной защите флота о« мало уступал Прокоповичу. И тут он, кажется, не лицемерил.

Он сравнивал Петра с Ноем, который оказывается у него первым мастером и адмиралом. Благодаря новому Ною, Россия заняла несравненно более выгодное положение, чем прежде. Прежде «вестей никаких ни откуда Россияне не имеаху, поведений, нравов и обычаев в иных государствах политичных отнюдь не знаяху, темже и поношения, и укоризны, и досады многие от прочих государств терпяху, аки детища некие и отроки невежливые, которым разве то ведомо, что в дому деется». Теперь бог ключом Петровым отворил России ворота, через которые она может войти в сношения с остальным светом.

[1]) См. статью: «Трагедокомедия Феофана Прокоповича, Владимир» в Сочинениях *Н. С. Тихонравова,* т. II стр. 152.

[2]) О нем см. у *Пекарского,* Наука и литература в России при Петре Великом, т. I, стр. 218, 219 и 492-494.

Флот полезен не только в смысле *просвещения,* но также в смысле обогащения: «Флотом морским мощно зведати, что на свете деется, мощно узретн различные государства, их поведения, политику, красоту градов, различие нравов в людех различных, н премногие иные прежде невиданные диковинки. Кораблями вскоре мощно обогатитися. Сей один град (Петербург) все убыле, в нынешнем военном времени бываемые, кораблями и пристанью своею может наверстати. А что твои караваны в китайское царство? безделица то есть: весь караван насилу с единым кораблем сравнитися может. Да уже не надобе лошадей ни кормити, ни теряти, ни телег ломати, ни слуг много имети» [1])...

Точкой отправления, для всех этих правительственных публицистов служил тот взгляд, что надо *приневолить* россиян к таким действиям, которые необходимы для их собственной пользы. В своих указах Петр беспрестанно повторял этот взгляд. В указе 1723 г. он говорил: «Наш народ, яко дети, не учения ради. которые никогда за азбуку не примутся, когда от мастера не приневолены бывают, которым сперва досадно кажется, но когда выучатся, потом благодарят, что явно из всех нынешних дел: — не все ль неволею сделано? н уже за многое благодарение слышится, от чего уже плод произошел» [2]).

Но *приневолить* можно только тех, которые *подчиняются.* И хотя россияне и без того не имели привычки отказывать верховной власти в повиновении, но все правительственные публицисты в один голос твердили им о вреде *неповиновения.* У духовных проповедников указание на его вред неизменно подкрепляется указанием на то, что неповиновение земной власти настоятельно запрещается и немилосердно карается властью небесной. Тут нет и намека на оговорки, нередко делавшиеся католическими духовными в их рассуждениях о подчинении светской власти.

VI

Убеждение в необходимости «приневоливания» часто высказывалось западноевропейскими теоретиками просвещенного деспотизма. Нашего Петра тоже называют просвещенным деспотом. И это, конечно, справедливо. Но, говоря о просвещенном деспотизме Петра, никогда не надо упускать из виду ту, уже много раз *отмеченную тою,* особенность, которая отличает деспотизм восточных монархий от абсолю-

[1]) Цитировано у *П. Морозова,* Феофан Прокопович как писатель, стр. 86.

[2]) *Соловьев,* История России, кн. 4, стр. 782—783.

тизма западноевропейских государств. Восточному деспоту принадлежит право по произволу распоряжаться имуществом своих подданных. В западноевропейских абсолютных монархиях государь мог распоряжаться имуществом своих подданных лишь в известных пределах, установленных законом или обычаем. Излишне повторять здесь, что разница эта вызвана была отнюдь не какими-нибудь нравственными преимуществами западных монархов перед восточными, а единственно только неодинаковым соотношением общественных сил. Но факт остается фактом: совершая свою реформу, Петр обладал беспредельной властью восточного деспота. И он широко пользовался этой беспредельной властью. Стремясь развить производительные силы России, он начал с того, что окончательно закрепил государству все те ее силы, которые уже находились налицо. Во время своего первого заграничного путешествия он нанял много иностранных горных мастером. По возвращении домой он продолжал усиленно заботиться о развитии горного дела в Европейской России и Сибири. Чтобы обеспечить успех тем мерам, которые были приняты им с этой целью, он уже в 1700 году дал каждому право сыскивать руды во всем государстве, *независимо от волн землевладельца.* Те помещики, в чьих землях была бы открыта руда, получали право прежде всех других просить о дозволении построить на них заводы. Если бы они не захотели или не были в состоянии воспользоваться этим правом, то оно предоставлялось всякому желающему завести новое дело и имеющему необходимые для этого средства: «дабы божие благословение под землею втуне не оставалось». Кто утаивал руду или препятствовал другим в устроении заводов, тот подвергался телесному наказанию и смертной казни. Как ни велика была привычка жителей Московского государства к бесцеремонному обращению верховной власти с их имуществом, но все-таки новые нарушения их имущественных прав, вызванные заботами Петра о раз-витии горного дела, вызывали, по крайней мере, пассивное сопротивление с их стороны. Не имея возможности открыто сопротивляться царским распоряжениям, землевладельцы вымещали зло на приискателях, Петру «учинилось ведомо, что приискателям в прииске руд и минетов чинятся великие обиды и помешательства». И вот, в 1722 г. Берг-Коллегии предписано было произвести по этому поводу целое следствие. Не менее характерны меры, принятые Петром для развития жемчужной ловли в России. Указ 1716 г. требовал, чтобы никто не чинил капитану Вельяшеву н людям, от него посылаемым, препятствий в приискании жемчуга. Вельяшев получал право нанимать для приискания жем-

чуга людей, знакомых с этим делом. *Если же такие люди не захотели бы наняться к нему, то он мог силой заставить их работать, платя им в месяц по три рубля каждому* и при этом смотря «накрепко», чтобы они работали прилежно.

Нуждаясь в хорошем дереве для постройки флота, Петр de facto превратил леса в государственное имущество. Тогда явилось много заповедных лесов, неприкосновенных даже для своих владельцев. За порубку корабельных деревьев полагалась смертная казнь. Впоследствии Петр нашел, однако, нужным смягчить это наказание. За порубку дубовых деревьев стали только... вырезывать ноздри и ссылать на каторгу. Наконец, и эта кара найдена была, — согласитесь, не без некоторого основания! — слишком жестокой и заменена

денежным штрафом: за дуб пятнадцать рублей; за остальные деревья десять рублей. Однако вырезывание ноздрей и каторга сохранены были для рецидивистов.

Во имя государственной пользы рыбные ловли тоже отобраны были из частного владения.

В мае 1722 г. приказано было раздать многовотчинным людям, - соразмерно числу их деревень, — тонкорунных овец, содержавшихся прежде на казенных заводах. Принимать на свое попечение этих овец обязан был даже тот, «кто сам и не хотел принять». Другими словами, уход за тонкорунными овцами становился одной из натуральных повинностей, возложенных на обывателя с целью развития производства сукон.

В интересах этого дела, тесно связанного с нуждами новосозданной армии, многовотчинным владельцам раздавались не только овцы, но и *овчары.* Овчаров не спрашивали, желают ли они поступать в услужение к таким-то владельцам, совершенно так же, как не спрашивали ловцов жемчуга, желают ли они наняться к капитану Вельяшеву. Трудящееся население страны рассматривалось как государственная собственность. Изучение ремесл тоже сделалось повинностью и тоже ради «государственной пользы». В 1712 г. приказано было во всех губерниях выбрать 315 молодых людей из кузнецов и столяров, лучших в своем мастерстве, и обучить их выделке стволов, замков и ружейных лож. Кроме того, в каждой губернии по два человека должны были обучаться седельному мастерству для полков. Люди, знавшие те или другие ремесла, должны были идти на государственные работы по первому требованию правительства. В 1709 г. выслано было в Петербург, для городового строения, сорок тысяч человек, не считая каменщиков и

кирпичников. В 1711 г. опять потребованы были из губерний мастеровые люди для адмиралтейских работ и т. д., и т. д.

Как смотрел Петр на трудящееся население, лучше всего видно из следующего. В сентябре 1702 г. он предписал Шереметеву «купить из лифляндских жителей земледельцев и прислать их в Россию для поселения в разных нехлебородных местах, чтоб таким образом, посредством их, научить русских лучшему обрабатыванию полей». Предприятие это получило неожиданно благоприятный оборот. При наличности большого числа пленных в *покупке* «чухны» не оказалось надобности. Шереметев отвечал царю: «Указал ты, Государь, купя, прислать Чухны и Латышей, а твоим Государевым счастьем и не купленных пришлю. Можно бы и не одну тысячу послать, только трудно будет вести». Однако, несмотря на трудность, в Москву отправлено было 600 человек обоего пола [1]).

Европеизуя Россию, Петр доводил до его крайнего логического конца то бесправие жителей по отношению к государству, которое характеризует собою восточные деспотии. Не церемонясь с трудящимся населением («с государевыми сиротами»), царь-преобразователь не считал нужным церемониться и со служилыми людьми («с государевыми холопами»). Приобретение разного рода технических знаний (изучение «навигацкой» науки и «инструментов») тоже сделалось одним из многочисленных видов натуральной повинности: натуральной повинностью дворянства. Мы уже знаем, что дворянство плохо исполняло эту свою повинность, но все-таки в известной, хотя и незначительной, мере исполняло. В свою очередь, глава государства дорожил дворянством лишь в той мере, в какой оно

исполняло стою обязанность служить и готовиться к службе. Петр неустанно твердил дворянству, что *только* посредством *службы* оно делается «благородным» и отличным от «подлости», т. е. от простого народа. Но если *только* служба делала дворян «благородными», то было вполне естественно давать дворянские права всякому заслуженному человеку. Петр так и поступал. По указу 16 января 1721 г. всякий, дослужившийся до обер-офицерского чина, получал потомственное дворянство. Установляя в январе следующего года знаменитую «Табель о рангах», Петр пояснял, что люди знатной породы не получат никакого ранга до тех пор, пока они не покажут заслуг государству и отечеству. Уже за несколько лет до того, -

[1]) См. в «Современнике» (1847 г., книга VI) статью: «Государственное хозяйство при Петре Великом», стр. 90, 91. Оттуда же заимствованы и другие, приведенные мною, примеры этого рода.

в феврале 1714 г., — запрещено было производить в офицеры тех служилых людей «из дворянских пород», которые сами не прошли солдатской службы в гвардии и «с фундамента солдатского дела не знают». Согласно воинскому уставу 1716 г., «шляхетству Российскому иной способ не остается в офицеры происходить, кроме, что служить в гвардии». Вследствие этого гвардейские полки сделались *дворянскими* по преимуществу. В гвардейском полку [1]), который состоял исключительно из «шляхетских детей», числилось до трехсот рядовых с княжеским титулом. «Дворянин гвардеец, - говорит Ключевский, — жил, как солдат, в полковой казарме, получал солдатский паек и исполнял все работы рядового» [2]). При этом сиятельный рядовой очень часто попадал под команду человека, выслужившегося «из самой подлости». Таким образом, *порода* отступала назад перед *чином.* Это было вполне согласно с тем ходом социально-политического развития Московского государства, который определился *по меньшей мере* со времен Ивана Грозного; опричнина для того и учреждалась, чтобы заставить *породу попятиться* перед *выслугой.* Европеизуя Россию, Петр и здесь довел до крайности ту черту ее строя, которая сближала ее с восточными деспотиями. По недоразумению, указанная черта принималась иногда за признак демократизма. В таком виде выступает она, например, *в* некоторых исторических рассуждениях М. П. Погодина и в некоторых «художественных» произведениях Н. Кукольника. На самом деле она не имеет *с* демократизмом ровно ничего общего. Строй, характеризуемый преобладанием этой черты, прямо противоположен демократическому: в нем *все порабощены,* кроме одного, между тем как в демократии *все свободны,* по крайней мере, de jure. В обширном промежутке между этими двумя крайностями помещаются все конституции, характеризуемые *свободой более или менее значительного числа привилегированных.*

Делая гвардейские полки дворянскими по составу, Петр тем самым сообщал служилому дворянству такую организацию, какой оно не имело прежде. По замечанию Ключевского, гвардейцы, бывшие под сильной рукой слепым орудием власти, под слабой рукой становились преторианцами, или янычарами. При преемниках Петра гвардейцы в самом деле часто выступали в роли янычар, или преторианцев. Но выступление

[1]) В так называемом лейб-регименте, сформированном в 1719 г. в добавление к двум пехотным гвардейским полкам и впоследствии переименованном в конно-гвардейский.

[2]) «Курс русской истории», ч. IV, стр. 105—106.

в этой роли не мешало им оставаться землевладельцами, эксплуатировавшими труд закрепощенного крестьянства. В качестве таких землевладельцев они предъявляли известные требования, с которыми не могли не считаться даже абсолютные монархи. Осуществление этих требований в известной мере и постепенно нарушало свойственное российским обывателям *равенство бесправия.* Дворянство мало-помалу становилось *привилегированным сословием.* А так как гвардейская организация дворянства, несомненно, содействовала осуществлению его требований, то мы приходим к тому выводу, что *своим переустройством войска Петр дал толчок развитию сословных преимуществ служилого класса.* Не надо забывать также, что при преемниках Петра в роли преторианцев, или янычар, выступало то дворянство, которое самой центральной властью настоятельно побуждалось к некоторому сближению с западными европейцами. Неудивительно, что при воцарении Анны Ивановны янычары, или преторианцы, обнаружили такое знакомство с политическими понятиями Запада, каким никогда не обладали служилые люди допетровской Руси.

Сведения, приобретавшиеся дворянством по царскому приказу, никогда не были обширны. В возрасте от десяти до пятнадцати лет учившиеся должны были пройти «цифирь», начальную геометрию и закон божий. После пятнадцати лет обязательное учение прекращалось, и начиналась обязательная служба. Заботясь о том, чтобы служилые люди не уклонялись от учения, правительство не меньше заботилось и о том, чтобы учение не мешало службе. Указ 17 октября 1723 г. запретил людям светских чинов оставаться в школах после пятнадцатилетнего возраста, «дабы под именем той науки от смотров и определения в службу не укрывались». Впрочем, хотя тогдашнее дворянство и любило укрываться от службы, однако не в его привычках было укрываться от нее в школах. Когда дело шло о том, чтобы учиться, его представители также охотно сказывались в «нетях», как и тогда, когда ему надо было отправляться на службу.

Иногда они записывались в одну школу для того, чтобы избежать поступления в другую, казавшуюся им более трудной. Однажды случилось так, что много дворян, не желавших поступить в математическую школу, записались в духовное Заиконоспасское училище в Москве. «Петр велел взять любителей богословия в Петербург в морскую школу и в наказание заставил их бить сваи на Мойке» [1]).

[1]) Там же, стр. 104.

Иначе, разумеется, и быть не могло. Откуда явилась бы сильная склонность к просвещению в такой общественной среде, до котором просвещение раньше почти совсем не доходило? Хотя Петр не был одинок в современной ему России, но тем не менее даже ко многим из его «птенцов» вполне приложим строгий отзыв историка:

«Сотрудники реформы поневоле, эти люди не были в душе ее искренними приверженцами, не столько поддерживали ее, сколько сами за «ее держались, потому что она давала им выгодное положение... Служить Петру еще не значило служить России. Идея отечества была для его слуг слишком высока, не по их гражданскому росту. Ближайшие к Петру люди были не деятели реформы, а его личные дворовые слуги... Это были истые дети воспитавшего их фискально-полицейского государства с его произволом, его презрением к законности и человеческой личности, с притуплением

нравственного чувства...» [1]).

Точнее было бы сказать, что в московской вотчинной монархии личность уважалась еще меньше, а законность презиралась еще больше, нежели в фискально-полицейских государствах Запада. Вотчинная монархия была почвой, совсем неблагоприятной для развития просвещения. Но если, несмотря на то, уже в допетровскую эпоху мы встретили в Москве некоторых отдельных людей, искренно увлекавшихся западными обычаями и западной наукой, то естественно ожидать, что при Петре и после него такие люди, не переставая быть *исключениями,* станут, однако, уже *менее редкими* исключениями. И мы в самом деле видим, что со времени Петровской реформы на Руси не переводятся искренние (приверженцы западного просвещения. В среде этих людей и развивалась русская общественная мысль. Один из ближайших помощников Петра, сам принадлежавший к ним, — несколько раз цитированный мною выше Феофан Прокопович,— назвал их *ученой дружиной* [2]).

Члены этой дружины во многих отношениях являются людьми интересными и даже прямо замечательными. Нам пора поближе познакомиться с *некоторыми* из них.

[1]) Там же, стр. 333—336.

[2]) В одном из стихотворных обращений к А. Кантемиру Прокопович говорил:

А ты как начал течи путь преславный, Коим
книжны текли исполины,
И пером смелым мещи порок явный
На нелюбящих ученой дружины и т. д.

ГЛАВА II

«Ученая дружина» и самодержавие

Западников допетровской эпохи, — Хворостинина, В. Ордина-Нащокина, даже Котошихина, — «тошнило» в Москве. «Тошнота» - мучительное ощущение. Чтобы избавиться от нее, одни бежали за границу, другие постригались в монахи. Это были «einsame Geister» в полном смысле слова. На сочувствие со стороны окружавших им приходилось оставить всякую надежду. Точно так же им и в голову не могло прийти, что наступит время, когда правительство потребует от русских людей усвоения западных обычаев и западных знаний под страхом жестокого наказания. У них не было основания верить в просветительные намерения московских государей. Поэтому у них не было и стремления служить государям «не токмо за страх, но и за совесть». Они мало думали о политических вопросах и плохо разбирались в них. Но их настроение не было и не могло быть настроением деятельных сторонников московского самодержавия. Читатель не забыл, может быть, что в указе, «сказанном» Хворостинину, его упрекали, между прочим, в употреблении слова *деспот* вместо слова *царь.* Приведя эпизод с этим указом, я заметил, что едва ли его авторы правильно объяснили, *почему* Хворостинин назвал московского царя деспотом. Они думали, - или, по крайней мере, снисходительно сделали вид, что думают, — будто Хворостинин выразился так вследствие простой неосведомленности насчет значения слова деспот. И они упрекнули его в *умалении* Царского титула. Но, вероятно, Хворостинин употребил слово деспот затем, чтобы посредством его выразить свое неодобрительное отношение к полной неограниченности царской власти. Осуждал такую неограниченность и *панславист* Юрий Крижанич, принесший с собою в Москву сложившееся у него на

Западе убеждение в том, что иное дело подданный, а иное — холод. Крижанич горячо порицал установившееся в Московском государстве *«крутое владание».* Но мы знаем, что тот же

Крижанич смотрел на обширную власть московских государей, как на самое могучее изо всех возможных средств преобразования Руси «О царю, ты в руках держишь чудотворный Моисеев Прут, — восклицал он, — и можешь ним творить дивна во владению чудеса». Юрию Сербенину не суждено было увидать дивна чудеса» в Московской земле. Напротив, он сам сделался одной из жертв «крутого владання». Но при Петре в известной мере осуществился завет Юрия Крижанича. С помощью «чудотворного Моисеева Прута» царь стал делать одно «дивно чудо» за другим. Теперь навлечь на себя преследования рисковали не те, которых «тошнило» от старых московских порядков, а наоборот, те, которые испытывали «тошноту» при виде порядков и обычаев Западной Европы. Это значит, что теперь положение наших западников существенно изменилось. Им уже не надо было бежать за границу или искать убежища в монастырях: перед ними открывалась возможность плодотворной практической деятельности в родной стороне. Россия перерождалась на их глазах, сближаясь с тем самым Западом, культура которого так высоко ценилась ими. Мы знаем теперь, что процесс преобразования России надолго оставил неприкосновенными, а в некоторых отношениях даже упрочил старые основы ее социально-политического строя. Мы знаем также, что европеизация России долго оставалась весьма поверхностной. Но современникам Петра дело представлялось совершенно в другом виде. *Основных* вопросов общественно-политического быта никто из русских людей тогда еще не поднимал; что же касается *второстепенных, производных* черт общественной жизни, то как противники, так и сторонники реформы Петра находили их изменившимися до неузнаваемости. И они относили эту перемену на счет государя. Неутомимый защитник преобразовательной деятельности Петра, Феофан Прокопович, нимало не лицемерил, говоря, что *Россия* есть *статуя Петра,* и называя первого русского императора виновником бесчисленных благополучии наших и радостей, виновником, воскресившим свою страну аки от мертвых. В его знаменитом «Слове на погребение Петра», конечно, много риторики: наше духовное красноречие без нее никогда не обходилось и не обходится. Привычке к риторике нужно приписать, например, го утверждение Прокоповича, что Петр одновременно был Самсоном, Яфетом и Соломоном России, да к тому же еще Давидом и Константином российской церкви. Привычкой к риторике объясняется и совсем неуместная при указанных обстоятельствах игра слов вроде той, что Петр застал в России силу *слабую,* а оставил «по имени своему *каменную,* адамантову». Но когда пропо-

ведник развивает свою риторически выраженную мысль, мы чувствуем, что он вполне искренно восхищается величием Петрова дела.

По его словам, Петр «застал воинство в дому вредное, в поле не крепкое, от супостат ругаемое, и ввел отечеству полезное, врагом страшное, всюду громкое и славное. Когда отечество свое защищал, купно и возвращением отъятых земель дополнил и новых провинций приобретением умножил. Когда же востающыя на нас разрушал, купно и зломыслящих нам сломил и сокрушил духи, и заградив уста

зависти, славная проповедати о себе всему миру повелел». С этим не могли не согласиться его слушатели.

Не могли не согласиться с ним они, — по крайней мере, те из них, которые *сочувствовали* реформам Петра, — и тогда, когда он, оправдывая название покойного царя Соломоном России, говорил: «Недовольно ли о сем свидетельствуют многообразная философская искусства, и его действием показанная и многим подданным влиянная, и заведенная различная, прежде нам и неслыханная учения, хитрости и мастерства: еще же и чины, и степени, и порядки гражданские, и честные образы житейского обхождения, и благоприятных обычаев и нравов правило: но и внешний вид и наличие краснопретворенное, яко уже отечество наше, и от внутрь и от вне, несравненно от прежних лет лучшее, и весьма иное видим и удивляемся» [1]).

Чтобы оценить силу впечатления, произведенного на русских людей некоторыми из ближайших последствий Петровской реформы, надо вспомнить, какими глазами начинали смотреть на себя московские люди во второй половине XVII столетия. Сравнивая силы своей страны с силами западноевропейских государств, они с горькой насмешкой поговаривали, что трудно рассчитывать на победу московскому «плюгавству». *Нарва* показала, насколько справедливо было это пренебрежительное мнение московских людей о самих себе. Но *Полтава с* другими победами, ей предшествовавшими и за ней следовавшими, давала им приятный повод думать, что время «плюгавства» безвозвратно миновало, и что отныне Россия может успешно бороться с любым из западноевропейских государств. Сознание этой перемены поднимало в них. чувство самоуважения, льстило их народной гордости.

В «Слове похвальном», произнесенном в день рождения царевича Петра Петровича, Феофан очень ярко выразил это переживание тогдашних русских западников.

[1]) «Слова и речи», т. II, стр. 129 и 130.

Он напоминал там, оговариваясь, впрочем, что делает это «не в срамоту, как смотрели на Россию прежде иноземные народы»: «Бехом у политических мнимии варвары, у гордых и величавых презреннии, у мудрящихся невежи, у хищных желателная ловля, у всех нерадими, от всех поруганы». Петр заставил иноземцев уважать Россию: «Ныне же что храбростию, любомудрием, правдолюбием, исправлением и обучением отечества, «е себе точию, но и всему Российскому народу содела Пресветлый наш Монарх? То, что который нас гнушалися яко грубых, ищут усердно братства нашего, который бесчестили, славят, которыи грозили, боятся и трепещут, который презирали, служити нам не стыдятся».

В своем упоении тою честью, которую оказывает России изменившееся к ней отношение иноземцев, Прокопович обнаружил порядочную дозу наивности. Он сказал:

«Многий в Европе коронованный главы не точию в союз с Петром Монархом нашим идут доброхотно; но и десная его Величеству давати не имеют за бесчестие».

Эта, почти непонятная теперь, наивность показывает, что хотя Прокопович и очень гордился преобразованной Россией, — восторженно называя ее «светлой, красной, сильной, другом любимой, врагом страшной» [1]), — но он продолжал ставить ее несравненно ниже просвещенных стран Запада.

Чтобы подняться на один уровень с ними, ей нужно было вполне овладеть их просвещением. Феофан и его друзья были убежденными просветителями. А так как почин распространения просвещения в России целиком приписывался ими Петру, то было весьма естественно, что они относились к царю-преобразователю с самым искренним поклонением. Другой член «ученой дружины», В. Н . Татищев, утверждая, что «Петр Великий открыл своему народу путь к просвещению снисканием способов приобресть оное внутрь пределов своего отечества», так говорил о самом себе:

«Все, что имею, чины, честь, имение и главное над всем разум, единственно все по милости Его Величества имею; ибо естьли бы он в чужие край меня не посылал, к делам знатным не употреблял, а милостию не ободрял, то бы я не мог ничего того получить, и хотя мое желание к благодарности, славы и чести Его Величества не более умножить может, как две лепти в сокровища храма Соломонова, или капля

[1]) «Слова и речи», т. I, стр. 114—115.

воды кинутая в море, но мое желание к тому не измеримо, и боле всего сокровища Соломона и многоводной реки Оби» [1]).

Так же восторженно чтил Петра и «рогатый пророк» «ученой дружины», Антиох Кантемир, писавший в своей «Петриде»:

Петра, когда глаголю, — что не заключаю
В той самой Речи? Мудрость, мужество к случаю
Злу и благополучну, осторожность сильну,
Любовь, попечение, приятность умильну,
Правдивого судию, царя домостройна,
Друга верна, воина, всех лавров достойна,
Словом: все, что либо звать совершенным можно.

Так относились к Петру наши западники первой половины XVIII в. Впоследствии мы убедится, что такое отношение к нему осталось неизменным в западном лагере вплоть до очень недавнего времени. Запомнить это необходимо для выяснения себе хода развития русской общественной мысли. Поэтому я теперь же приведу два-три примера из истории этой мысли в XIX столетии.

В письме к К. Д. Кавелину от 22 ноября 1847 г. Белинский говорил:

«Для меня Петр — моя философия, моя религия, мое откровение во всем, что касается России. Это пример для великих и малых, которые хотят что-нибудь делать, быть чем-нибудь полезными» [2]).

Почти накануне своей смерти он, — как это видно из его письма к П. В. Анненкову от 15 февраля 1848 г., — доказывал своему «верующему другу» (М. А. Бакунину), что «для России нужен новый Петр Великий» [3]).

Н. Г. Чернышевский в начале своей литературной деятельности целиком разделял этот взгляд Белинского на Петра I. В четвертой статье его «Очерков Гоголевского периода русской литературы» мы находим следующие многознаменательные строки:

«Для нас идеал патриота — Петр Великий; высочайший патриотизм — страстное, беспредельное желание блага родине, одушевлявшее всю жизнь, направлявшее всю деятельность этого великого человека».

[1]) «История Российская». Москва 1768 г., книга I, часть I, стр. XVI (Пред'извещенне).

[2]) В том же году, в статье «Взгляд на русскую литературу 1847 года», о» высказал такой взгляд на происхождение русской литературы: «Как и все, что ни

есть в современной России живого, прекрасного и разумного, наша литература есть результат реформы Петра Великого».

[3]) *Белинский,* Письма. СПБ 1914, т. III, стр. 330 и 339.

Возможно, что пример Петра взят был Чернышевским отчасти для успокоения цензуры. Если бы не цензура, то он выбрал бы, может быть, другой пример. Ему нужно было, собственно, сказать, что задача передовых русских людей до сих пор заключается в распространении у себя на родине знаний, добытых более просвещенными народами, а не в самостоятельном добывании таких знаний. Но, во-первых, никакая цензура не обязывала его отзываться о Петре в таких похвальных выражениях, какие мы находим в только что сделанной выписке. Во-вторых, очевидно, не для цензуры ставил он задачу современных ему русских просветителей в прямую и тесную связь с реформой Петра: «Пока мы не станем по своему образованию наравне с наиболее успевшими нациями, есть у каждого из нас другое дело (нежели работа в области «чистой» науки. — *Г. П.*), более близкое к сердцу — содействие, по мере сил, дальнейшему развитию того, что начато Петром Великим».

Увлечение Петром способствовало распространению в русском западническом лагере того взгляда, что у *нас великие преобразования могут идти только сверху.* Этот взгляд разделял еще Белинский, под его влиянием склонявшийся к признанию славянофильского учения о полном своеобразии русского исторического процесса. Мы увидим, что Белинскому и его последователям невозможно было соединить такие понятия в одно стройное целое с другими их общественными взглядами, заимствованными у передовых писателей современной Европы. Эти понятия делали противоречивым социально-политическое credo наших просветителей XIX века.

Не то было с просветителями первой половины XVIII столетия. Социально-политическое credo «ученой дружины» было гораздо проще. В нем не было таких элементов, которых нельзя было бы логически согласить с тем убеждением, что у нас все великое идет сверху. Поэтому они оставались вполне верными себе, когда не только безо всяких оговорок восторгались *личностью* и *деятельностью* Петра, но вообще упорно отстаивали *идею самодержавия.* Прокопович, Татищев н Кантемир могут считаться первыми идеологами абсолютной монархии в России.

1. Ф. Прокопович

В своем качестве духовного лица Прокопович не скупился на тексты. Он ссылается на слова апостола Петра: «Повинитеся всякому человечу созданию Господа рада: аще Царю яко преобладающу: аще ли же князем, яко от него посланным, по отмщение убо злодеем, похвала-

же благотворцем. Яко тако есть воля Божня, благотворящим обуздовати безумных человек невежество». Не забывает он, конечно, и знаменитых слов апостола Павла: («учителя народов»). «Всяка душа властем предержащым да повинуется. Несть бо власть аще не от Бога: сущые же власти от Бога учинены сугь» [1]).

Чтобы не было никаких сомнений относительно того, какого именно повиновения властям требует апостол, Прокопович поясняет, что «не ради страха, но н за совесть повиноватися долженствуем».

Затем он обращает внимание своих слушателей на то, как старательно отстаивает апостол Павел царскую власть: «Рекл бы еси, что от самого Царя послан был Павел на сию проповедь, так прилежно и домогательно увещавает аки млатом толчет, тожде паки и паки повторяет». Но христиане не должны думать, будто Павел хотел угодить предержащим властям: «Не тождесловие тщетное се, но данной бо себе премудрости учит, не ласкательство се; не человекоугодник бо, но избранный сосуд Христов глаголет; но да чувственных и бодрых христиан сотворит, и да **не** попустит ниже мало дремати всем, так подвижно долбет. И молю всякого рассудити, что б вящше рещи могл самый вернейший министр царский?» [2]).

Но оказывается, что вернейший министр царский мог бы «рещи» и другое. Так думает, по-видимому, сам Прокопович, потому что, не довольствуясь доводами от Писания, он выдвигает в защиту царской власти еще доводы *от естественного права.* И замечательно, что наиболее выдающийся публицист эпохи Петра ссылается на естественное право раньше, нежели на Писание; недаром ревнители православия считали его малонадежным богословом.

«Вопросим первее, самого естества нашего, что нам сказует о сем: ибо кроме Писания, есгь в самом естестве закон от Бога положенный», — говорит он. Естественные законы требуют он нас, чтобы мы любили и боялись бога, охраняли свою жизнь, не делали другим, чего не желаем себе, почитали своих родителей и т. п. О существовании этих законов свидетельствует наша совесть. Но к их числу принадлежит и тот, который предписывает нам подчинение предержащей власти. Больше того это — самый главный из них: «Ибо понеже с стороны одной велит нам

[1]) «Слово в неделю цветную о власти и чести царской, яко от самого Бога в мире учинена есть, и како почнтати Царей, н оным повнноватися людие долженствуют; кто же суть, и колнкий имеют грех противляющийся им». («Слова и Речи», т. I, стр. 249—250).

[2]) Там же, стр. 250—251.

естество любити себе, и другому не творити, что нам не любо, а с другой стороны злоба рода растленного разоряти закон сей не сумнится: всегда и везде желателен был страж и защитник, и силный поборник закона, и той есть державная власть» [1]).

Это не весьма убедительно, так как от желательности стража, защитника и сильного поборника закона, еще очень далеко до необходимости деспотизма, завещанного московскими царями первому всероссийскому императору и еще более утвержденному этим последним. Феофан говорит, что если бы кто-нибудь был лишен защиты со стороны стража и поборника закона, то люди очень скоро дали бы ему понять, как худо жить без власти. На это можно опять возразить, что власть власти рознь, и что польза, приносимая *властью,* еще не доказывает *преимущества самовластия.* Как человек несомненно очень умный, Прокопович, вероятно, и сам более или менее смутно сознавал слабость этого довода. Поэтому он нашел нужным подкрепить его повестью о Вейдевуте, «первом прусском и жмудском властелине». Страдая от внешних врагов и от собственных междоусобий, народ, еще не бывший под властью Вейдевута, обратился к нему за советом, как быть. Вейдевут сказал: «Вам жилось бы хорошо, если бы вы не были глупее своих пчел». Народ, разумеется, этого не понял, и тогда мудрец так пояснил свою мысль: «Пчелы, малке и бессловесные мухи, имеют царя, вы же человецы не имеете». Теперь все стало понятно, и мысль Вейдевута так

понравилась народу, что тот немедленно сделал его своим государем. Эта ребяческая повесть тоже совсем неубедительна. Но довольный ею красноречивый проповедник не долго останавливается на ней; он спешит вернуться назад и повторяет, что весь мир свидетельствует о том, до какой степени нужна власть. После этого он считает вопрос окончательно исчерпанным. «Известно убо имамы, — возвещает он, — яко власть верховная от самого естества начало и вину приемлет». Теперь ему остается только перейти от естественного права к богословию. Переход из одной области в другую совершается с помощью того соображения, что естественный закон написан в сердцах людей бегом, создателем естества. Воля бога и поясняется ссылками на писания, вроде указанных мною выше.

Приводя примеры из истории церкви, Прокопович указывает на то, что христиане считали себя обязанными повиноваться даже *языческим царям.* Тем более обязательно повиновение царям *христианским.* Но

[1]) Там же, стр. 245, 246.

светские подданные Петра кажутся ему более склонными к повиновению, нежели *духовенство.* И вот, он находит нужным остановиться на вопросе об отношении духовной власти к светской.

Есть люди, — и их, по словам Прокоповича, много, — которые думают, что священство и монашество не обязано подчиняться царю. Наш проповедник энергично восстает против этого мнения. Он восклицает: «Се терн, или паче рещи, жало, но жало се змиино есть, Папежский се дух» [1]).

Прокопович утверждает, — и это одна из самых любимых его мыслей, — что духовенство не должно составлять государства в государстве. Оно имеет свое особое дело, подобно тому, как имеют его военные люди, гражданские чиновники, врачи, разного рода художники. Имея особое дело, духовенство составляет особый чин в государстве. Но как и все другие чины, оно обязано покоряться «державным властям». Это ниже подтверждается ссылкой «а писание: «Устроевая Бог Моисея вождом быти Исраилю, егда посылает его к фараону и придает в помощь Аарона, на священство намеренного, заповедует Моисею, да будет в Бога Аарону»; левиты всегда подчинялись израильским царям; сам Господь (т. е. Иисус) «даде властям дань от себя» и т. д. и т. д. [2]).

В своем огромном большинстве духовенство, особенно великорусское, было против Петровской реформы. Петр и его единомышленники боялись, что оно станет толкать народ на открытое сопротивление преобразованиям. Они еще не знали, до чего лишена была наша духовная власть всякой возможности, а оттого и всякой склонности вступать в решительную борьбу со светской властью. Духовенство *в* своей оппозиции реформе не пошло дальше тех выходок, которые иногда позволял себе в своих проповедях брюзгливый местоблюститель патриаршего престола. «Папежского» взгляда на политическую власть у нашего духовенства не было и быть не могло. В действительности оно уже давно составляло не более, как особый чин в государстве: чин «государевых богомольцев». Но так как в деятельности Петра еще ярче, нежели в деятельности его предшественников, выразилось стремление русских государей совершенно подчинить себе своих богомольцев, то естественно, что при нем большее, чем прежде, число «больших бород» (его собственное выражение) было недовольно. С недовольными легко

справлялись не только в царствование энергичного Петра, но и в царствование

[1]) Там же, стр. 257.
[2]) Там же, стр. 258.

его гораздо менее энергичных преемников: «ребелизантами» они никогда не становились. Но для «ученой дружины» очень характерно то обстоятельство, что она, не только в лице Прокоповича, безусловно осуждала всякую оппозицию «больших бород».

«Ученость» этой «дружины» существенно отличалась от учености московских столпов церкви. Большие бороды в лучшем случае были сведущими начетчиками, т. е. обладали известным запасом начитанности в области религиозной литературы. О сколько-нибудь серьезном, научном или философском образовании этих благочестивых людей не могло быть и речи. Но люди, вроде Прокоповича, Татищева, Кантемира, обладали значительным образованием. Известно, что Прокопович изучал в Риме светскую литературу, историю и философию. Датский путешественник фон Равен, познакомившийся с ним за несколько месяцев до его смерти, дал о нем следующий интересный отзыв:

«Этот превосходный человек по знаниям своим не имеет себе почти никого равного, особенно между русскими духовными. Кроме истории, богословия и философии, он имеет глубокие сведения в математике и неописанную охоту к этой науке. Он знает разные европейские языки, из которых на двух говорит, хотя в России не хочет никакого употреблять, кроме русского, — и только в крайних случаях объясняется на латинском, в котором не уступит любому академику. Он особенно вежлив и услужлив со всеми иностранными литераторами и вообще с иноземцами, со смертью его должно прекратиться множество в высшей степени полезных дел» [1]).

Другой иностранец, Рибейра, — католический монах и, стало быть, человек скорее предубежденный против Прокоповича, «е раз резко отзывавшегося о католиках в своих проповедях и книгах, — говорит: «Если его следует порицать за что-либо, так это за его религиозные убеждения, если он их вообще имеет. Его библиотека, открытая для ученых, значительно превосходит императорскую и библиотеку Троицкого монастыря; по своему богатству она не имеет себе равных в России, стране, бедной книгами» [2]),

Как видим, испанский монах Рибейра не был уверен, что у Прокоповича *были какие-нибудь религиозные убеждения.* Русское же духо-

[1]) Цит. у *П. Морозова,* Феофан Прокопович как писатель, стр. 392. (Сравни также *И. Чистовича,* Феофан Прокопович и его время, стр. 627—628.) Г. П. Морозов поправляет свидетельство фон Гавена, замечая, что из иностранных языков Прокопович знал только итальянский и польский.
[2]) *П. Морозов,* там же, стр. 393.

венство упрекало его в непростительной слабости к протестантизму. Во всяком случае, несомненно одно: миросозерцание Прокоповича в значительной степени свободно было от византийской окраски, которая так высоко ценилась московскими начетчиками. В этом миросозерцании был силен тот *светский элемент,* который и возбуждал неудовольствие «больших бород». Сохранился анекдот о том, как один из архиереев хотел обличить перед Петром Феофана в греховном пристрастии к музыке.

Согласно доносу архиерея, Прокопович не только сам наслаждался музыкой, но и угощал ею иностранных министров («нехристей»), Петр сказал доносчику: «хорошо, поедем, батюшка, к нему *с* тобою и увидим, правда ли то». Подъехав к дому грешника, они действительно услышат звуки музыки. Дальше пусть рассказывает лицо, сохранившее этот анекдот.

«Государь с архиереем вошли в собрание. Случилось так, что хозяин в то самое время держал в руке кубок вина; но увидя Государя, дал знать, чтобы музыка замолкла и, подняв руку, громогласно произнес: Се жених грядет во полунощн и блажен раб, его же обрящет бдяща, недостоин же, его же обрящет унывающа. Здравствуй, всемилостивейший Государь! В ту же минуту подносится всем присутствующим по такому ж бокалу вина, и все пьют за здоровье его величества. Государь, обратившись к сопровождавшему его архиерею, сказал: Ежели хотите, то можете остаться здесь; а буде не изволите, то имеете волю ехать домой, а я побуду с сталь приятной компанией» [1]).

Доносчик-архиерей, вероятно, имел очень жалкий вид, когда возвращался домой, оставив Петра в «приятной компании» Феофана Прокоповича и его иностранных гостей. Феофан тоже дослужился до высокого духовного сана: он был сначала псковским, а потом новгородским архиереем. Но, при своем образовании и при своих привычках, он, без всякого сомнения, совсем неуютно чувствовал себя в духовной среде. Уже одного этого было достаточно, чтобы побудить его принять сторону Петра в его борьбе с оппозицией духовенства.

В взглядах других членов «ученой дружины» светский элемент был еще сильнее, нежели во взглядах Прокоповича. Как мы это скоро увидим, Татищев был сильно предубежден против духовенства. Некоторые подозревали его в «афеизме». Сам Феофан, поддерживавший

[1]) *Голиков,* Деяния Петра Великого, т. XV, стр. 212; цит. у *Чистовича,* назв. соч., стр. 628—629.

с ним приятельские отношения, смущался подчас его «злоречием» по адресу некоторых священных книг [1]). Весьма понятно, что, при таком отношении к духовенству, «ученая дружина» не расположена была ставить его выше других «чинов» в государстве.

Менее понятно то, что Прокопович, при всем своем образовании, сумел выставить в пользу самодержавия лишь очень мало убедительные доводы. Не возвращаясь более к его «Слову о власти и чести царской» и к др. «Словам», я отмечу здесь еще одно его соображение в пользу абсолютизма, заключающее в себе сущность всех остальных.

Оно было высказано Прокоповичем уже по смерти Петра и сводится вот к чему: «Русский народ таков есть от природы своей, что только самодержавным владетельством храним быть может, а если каковое нибудь иное владения правило воспримет, содержаться ему в целости и благости отнюдь не возможно» [2]).

Соображение это так же бедно теоретическим содержанием, как и доводы московских людей, в начале XVII в. отстаивавших перед поляком Маскевичем преимущество деспотизма. Однако оно поучительно именно крайней убогостью своего теоретического содержания. Его убогость показывает, что не западная наука, а тогдашняя российская действительность побуждала Прокоповича отстаивать

самодержавие. Действительность эта привела «ученую дружину» к тому убеждению, что самой надежной опорой ее просветительных стремлений является рука склонного к просвещению государя. Не в интересах «ученой дружины» было вырывать из этой руки чудотворный «Прут Моисея».

Разумеется, дело тут не в одних просветительных стремлениях. При Петре I «порода» давала дорогу *выслуге* («чину»). При Петре 11 порода сделала попытку вернуть хоть некоторые потерянные ею позиции. Положение «ученой дружины» сделалось тогда весьма затруднительным. К этому времени относится полное грусти поэтическое, — т. е., точнее, лишь более или менее поэтическое, — произведение Фео-

[1]) Один из споров с Татищевым дал Феофану повод написать рассуждение: «О книге Соломоновой, нарицаемой Песни песней». *(И. Чистович,* назв. сочин., стр. 613—614.)

[2]) Это соображение высказано Прокоповичем в его описании «затейки» верховников. Мы еще вернемся к этому описанию, когда будем говорить о «затейке». Оно напечатано в приложении к сделанному Д. Языковым переводу «Записок Дюка Лирийского и Бервикского». СПБ. 1845 г. Приводимое мною соображение Прокоповича находится на стр. 199.

фана: «Плачет пастушок в долгом ненастии». Оно недурно выражает тогдашнее настроение наших просветителей. Феофан жалуется:

Коли дождусь я весела ведра
И дней красных?
Коли явится милость прещедра
Небес ясных?
Ни с каких сторон света не видно,
Все ненастье,
Нет и надежды, многобедно
Мое счастье;
Хотя ж малую явит отраду
И поманит,
И будто нечто польготит стаду,
Да обманет...

Находясь в таком положении, оставалось уповать лишь на то, что со временем опять воцарится лицо, умеющее надлежащим образом употреблять в дело «Моисеев Прут». Понятно, поэтому, что Прокопович и его единомышленники всеми силами должны были противиться всяким попыткам так или иначе укоротить чудотворный инструмент.

На «Моисеев Прут» возлагали большие надежды даже французские просветители второй половины XVIII столетия, т. е. люди, воспитавшиеся в исторической обстановке, мало похожей на русскую. Вера Б просвещенный деспотизм была сильна и широко распространена во все продолжение того века. Вольтер умел говорить прекрасные комплименты государям-«философам». Говаривал их даже и Дидро, не рожденный для роли друга царей.

Но мы уже знаем, что русский абсолютизм значительно отличался от западноевропейского. Так как Петровская реформа «е только не уничтожила отличительных черт русского социально-политического строя, а напротив, довела их до крайности, то русским сторонникам просвещенного деспотизма пришлось мириться с такими приемами управления, которые не имели ровно ничего общего с просвещением. Петру принадлежит выражение: «Мы — новые люди во всем». Но в управлении

[1]) Как малоросс, Прокопович произносил: многобидно. Выражение «пастушок» как кажется, нередко употреблялось тогда нашими духовными для обозначения *пастыря церкви.* Пекарский («Наука и литература», т. I, стр. 368, 370) приводит

стихотворение, написанное в честь Петра I валдайским священником Михаилом и подписанное: «Пастушок Михаил валдайский». Тот же исследователь указывает, что в своих письмах к Петру Яворский часто подписывался: «Стефан — пастушок рязанский».

он сохранил очень много старого. И *какого!* Если страшный Ромодановский, по его собственному выражению, умывался кровью в Преображенском, то это было совершенно в духе Петровского царствования. Феофан Прокопович прекрасно знал о кровавых расправах царя и... разрешал его, — как превосходно заметил г. II. Морозов, — «на вся». И не только с кровавыми расправами надо было мириться русским поклонникам «Моисеева Прута», *расправам* предшествовали *доносы; н* новые доносы вырастали в процессе расправ. А так как всякое положение имеет свою внутреннюю логику, то вождю «ученой дружины» пришлось самому упражняться в доносах, разбиравшихся в застенке. В борьбе со старо-церковной партией, — особенно в мрачную эпоху Бирона, — наш «пастушок» показал, что он обладал не только весьма пушистым лисьим хвостом, но также и очень острыми волчьими зубами. «Священников и монахов как мушек давили, казнили, расстригали, — говорит один позднейший проповедник, вспоминая об этой эпохе, — непрестанные почты водою и сухим путем — куды? зачем? Священников, монахов и благочестивых в Охотск, в Камчатку, в Оренбург отвозят... Была година темная». П. Морозов, у которого я заимствую эти слова позднейшего проповедника, прибавляет к ним: «Главным деятелем этой темной годины был Феофан» [1]). Отводя Феофану первое место, он, без сомнения, имел в виду сферу церковного управления. Однако для характеристики вождя «ученой дружины» достаточно первенства в деле сыска и жестоких расправ хотя бы и в одной только сфере.

Конечно, «благочестивые люди», так сильно страдавшие от просвещенного «пастушка», сами ровно ничего не имели ни против сыска, ни против застенка... если могли воспользоваться ими для своих целей. И не только ничего не имели против них, но и на самом деле прибегали к ним в борьбе с тем же Прокоповичем. Они, в свою очередь, заставили его пережить много тяжелых минут. Но ведь то были сторонники *застоя,* а Прокопович, вместе со всей «ученой дружиной», стремился вперед, хотел распространять *просвещение!*

Г. П. Морозов превосходно выяснил, что отвратительные поступки Прокоповича подсказывались ему строгой логикой его положения. «Признавая дальнейшее развитие России возможным только в том направлении, какому он был всецело предан и какое было дано Петром, следовательно, исходило от правительства, Феофан является безусловным сторонником правительства, хотя бы даже и Бироновского.

[1]) Назв. соч., стр. 357.

Во всех его рассуждениях этого времени видно развитие силлогизма: мероприятия Петра Великого имели целью народное благосостояние; эти мероприятия не отменены, а напротив, охраняются правительством; следовательно, Россия благоденствует; утверждать противное могут только «свербоязычные буесловцы», которых следует уничтожать, как врагов государства. Роль официального публициста, взятая на себя Прокоповичем, — роль, которой он не покидал до конца своей жизни, — не допускала иной линии рассуждений. Достаточно вспомнить, что в самую блестящую эпоху

его деятельности ни одного печатного листа не выходило без высочайшего повеления, ни о какой гласности, кроме официальной, не было и речи, а «обмен мыслей» происходил только в Преображенском приказе, — достаточно вспомнить все это, чтобы понять, почему Феофан Прокопович не мог рассуждать иначе» [1]).

Теперь я попрошу читателя вникнуть в следующий отрывок из проповеди противника Прокоповича, Стефана Яворского, произнесенной еще в 1708 г.

Выше мне уже приходилось ссылаться на эту проповедь. Яворский тоже выступал в ней защитником Петровской реформы. Но здесь для нас интересно то, что и, Яворский, не одобрявший многих действий Петра, настойчиво и по-своему образно предостерегал Россию *от всякой мысли о сопротивлении власти государя.*

«Нагружай корабли различными товарами и в различных государствах куплю действуй, продавай, купуй, богатися, — «гремит он, обращаясь к России, — только блюдися, мата моя, блюдися, раю мой прекрасный, ползущих змиев, то есть бунтовщиков, который по подобию змия райского на зло подущают и шепчут в уши неосторожных, глаголюще: никакоже умрете, но будете яко бози, точию пожелайте высочайшия власти. Таковых ты змиев и скорпиев вселютейших блюдися, раю прекрасный, и бесовским словесам не веруй, что глаголют. Ложь есть ложь. Погибнут и змие прелщающии, погибнут и прелщенныи и в яму юже соделаша впадут, а тебе, раю мой, аще им уха приклониши, великого бедства набавят. Не тако бо бедствиям вред наносят врази посторонний, яко врази домашнии» [2]).

Как по форме, так и по содержанию этот отрывок вполне равноценен с нападками Прокоповича на противников царской власти и на критиков Петровых действий, «свербоязычных буесловцев». А это

[1]) Назв. сочин., стр. 360.
[2]) Цитир. у *Морозова,* назв. соч., стр. 86—87.

значит, что в *политическом* отношении вождь ученой дружины ни на шаг не подвинулся дальше той точки, на которой стоял его непримиримый противник Яворский, склонный к консерватизму и лишь с большими оговорками одобрявший реформу.

Скажу больше. Наш просвещенный западник в *политическом* отношении ни на шаг не подвинулся дальше Иванца Пересветова, тоже бывшего, как помнит читатель, убежденным сторонником монархизма в его восточной беспредельности. Но Пересветов выдвигал вопрос об освобождении кабальных холопов. Он рассказывал, что в Византии, при царе Константине, лучшие люди порабощены были в неволю, вследствие чего против недруга крепкого бою не держали и с бою утекали, а когда получили свободу, сделались храбрыми воинами. Перед Прокоповичем никогда не вставали подобные *социальные* вопросы.

Положение народной массы, невероятно дорого заплатившей за преобразование России, интересовало его, как видно, меньше, чем некоторых современных ему прожектеров или членов Верховного Тайного Совета, которых крайняя бедность крестьянства беспокоила хотя бы по той причине, что «когда крестьянина не будет, тогда не будет и солдата».

2. В. Н. Татищев [1])

Несмотря на свои приятельские отношения к Татищеву, Проко-

пович был довольно сильно раздражен его резким и смелым суждением о книге «Песнь Песней» [2]). Написанное «дивным» «первосвященником», рассуждение об этой книге направлено было против «неискусных и малорассуднъгх мудрецов, легко о книге сей рассуждающих» (собственные слова Прокоповича). Это сердито, но, как отзыв о Василии Никитиче Татищеве, совершенно несправедливо.

Более чем вероятно, что в богословии Василий Никитич был «неискусен». Но «малорассудным» он не являлся никогда и нигде. «Рассудность» составляет главную отличительную черту его мышления. В ней заключается как сильная, так и слабая его сторона. К тому же он, подобно Прокоповичу, был одним из наиболее образованных русских людей своего времени. В состав его обширной библиотеки входили: «Гобезиев» Левиафан, книга Локка «О правлении гражданском»,

[1]) Родился в 1686 г., умер в 1750 г.

[2]) Оно состояло в том, что Соломон написал названную книгу, «распалясь похотью к невесте своей, царевне египетской», «и что поэтому в ней говорится исключительно о плотских любезностях».

сочинения Маккиавелли, Декарта, Ньютона, Галлея и т. п. [1]). Он был знаком с сочинениями Бэйля [2]). В русской истории, географии и в истории русского права он выступил самостоятельным исследователем. Вообще ему была недурно известна философская и политическая литература того времени [3]). И именно потому, что он был, вероятно, «неискусен» в богословии, его миросозерцание имело перед миросозерцанием Прокоповича то огромное преимущество, что было совсем *свободно от схоластического сора и отличалось совершенно светским характером.*

Эта сторона его взглядов делает его одним из самых интересных представителей того типа русских людей, который сложился под непосредственным влиянием Петровской реформы.

В Московской Руси образование имело «духовный» характер и, за самыми редкими исключениями, составляло монополию духовенства, учившегося редко, мало и неохотно [4]). Петровская реформа так или иначе отдала в ученье новый общественный класс и, заставив его приобретать знания, относящиеся к земной, а не к небесной жизни, привила своим лучшим деятелям твердое убеждение в том, что учиться надо постоянно, много и усердно. «Ученая дружина» с жаром отстаивала это убеждение, преимущественно налегая на светские науки. В этом отношении сходились между собой все сторонники реформы,

[1]) *Н. Попов,* Татищев и его время. СПБ. 1861, стр. 433.

2) Там же, стр. 464.

[3]) Правда, Татищев говорит о себе, что он «в философии неучен». Но это, без сомнения, излишняя скромность. Между философами едва ли не наибольшим его уважением пользовался Христиан Вольф. Вольфу же следовал он и в том, что касается «до начала сообществ, порядков, правительств и должности правителей и подданных». К политическим учениям Маккиавелли, «Гобезия» и Локка он относился отрицательно.

[4]) «Старинную допетровскую нашу образованность можно весьма верно определить тем же словом, которым она сама себя определила: *книжность,* — книжность именно в том частном смысле, в каком она означает только начитанность. Главный характер этой книжности был духовный, церковный, потому что и самое слово *книга* означало в древнее время единственно только священное писание и книги церковные вообще. С течением времени, особенно к концу XVII столетия, в эту книжность вошли некоторые посторонние предметы, сочинения исторические (хронографы), географические (космографии), средневековые повести, романы; но они, по существу своему, не в силах были изменить общего направления книжности, ибо

это не была наука, а были отрывочные, бессвязные сведения, исполненные средневековых басен». (*И. Забелин,* Характер древнего народного образования в России. «Отечественные Записки», 1856 г., кн. 2, стр. 12—18.)

ознакомившиеся с западным просвещением. Еще Ф. Салтыков советовал Петру заменить при обучении грамоте духовные книги «гисториями универсальными и партикулярными», которые следовало для этой цели перевести на русский язык [1]).

В своем «Разговоре двух приятелей о пользе наук и училищ», написанном в 1733 г. и потом подвергавшемся дальнейшей обработке, Татищев исходит из того положения, что «истинное увеселение в детях есть разум», а чтобы ребенок разумен был, надобно ему прежде учиться. Мы находим в «Разговоре» целую и притом широкую программу тех сведений, приобретение которых настоятельно рекомендуется Татищевым. И хотя, в своем качестве «птенца Петрова», Татищев смотрит на науку преимущественно, — чтобы не сказать исключительно, — с точки зрения пользы [2]), однако, предлагаемая им программа уже одной своей широтою дает понять, как велико было расстояние, отделившее образованных людей Петровской эпохи от начетчиков Московской Руси. В такой же мере замечательна эта программа тем, что в ней как нельзя более ясно обнаруживается *чисто светский* взгляд ее составителя на науки и просвещение. Пример Татищева показывает, что Петровская реформа положила конец преобладанию теологического элемента в миросозерцании наиболее образованных людей России.

Не мешает отметить, что Татищев был вообще мало расположен к духовенству. Влияние этого сословия на ход общественного развития представлялось ему скорее вредным, нежели полезным. Так, например, он утверждает, что на Руси уже со времени распространения христианства существовали многие училища, в которых изучались даже греческий и латинский языки. Но татарское иго, ослабившее власть государей, уве-

[1]) *Павлов-Сильванский,* Проекты реформ, стр. 24.

[2]) Зачем нужно изучать географию? «Землеописание или география показует не токмо положение мест, дабы в случае войны и других приключений знать все оного (государства. — *Г. П.*) во укреплениях и проходах способности и невозможности, при том нравы людей, природное состояние воздуха и земли, довольство плодов и богатств, избыточество и недостатки во всяких вещах, наипаче же собственного отечества, потом пограничных, с которыми часто некоторые дела, яко надежду к помощи и опасность от их нападения имеем, весьма обстоятельно знать, дабы в государственном правлении и советах, будучи о всем со благоразумием, а не яко слепой о красках рассуждать мог». Следует ли знать физику? Следует: «Весьма полезно знать свойство вещей по естеству, что из чего состоит, по которому рассуждать можно, что из того происходит и приключается, а через то многие будущие обстоятельства рассудить н себя от вреда предостерегать удобно» и т. д., и т. д. («Разговор о пользе наук и училищ», с предисловием и указателями *Нила Попова.* Москва 1887, стр. 81—82).

личило значение духовных, а этим последним «для приобретения больших доходов и власти полезнее явилось народ в темноте неведения и суеверия содержать; для того все учение в училищах *и* в церквах пресекли и оставили» [1]). В другом месте, он, оспаривая то мнение, что наука подрывает веру, говорит, что защищать его могут только «невежды и неведущие в чем истинная философия состоит», или же «злоковарные некоторые церковнослужители», в интересах своего сословия стремящиеся к тому, «чтобы народ был неученый и ми о коей истине рассуждать идущей (т. е. могущий. — *Г. П.),* но слепо бы и раболепно их рассказам и повелениям верили» [2]). Тут Татищев

прибавляет, может быть, отчасти по соображениям осторожности, что особенно сильно враждовало с просвещением *римско-католическое* духовенство: «Наиболее же всех архиепископы римские в том себя показали и большой труд к приведению и содержанию народов в темноте и суеверии прилагали» [3]).

Эти упреки духовенству заслуживают большого внимания. Уже Московская Русь знала, как мы видели в первом томе, антагонизм между служилыми людьми, с одной стороны, и духовенством, с другой. Источником этого антагонизма служил земельный вопрос, бывший важнейшим экономическим, а потому и самым жгучим политическим вопросом в тогдашнем Московском государстве. Духовенство старалось сохранить и расширить свои земельные имущества. Служилые люда, были, наоборот, сильно заинтересованы в том, чтобы имущества эти перешли в распоряжение государя, награждавшего своих «холопов» поместьями. Антагонизм этот перешел и в Петровскую Русь. Его легко подметить в той готовности, с какой служилые люди этой Руси поддерживали все мероприятия правительства, направленные к ограничению политического влияния, а особенно имущественных прав церкви. Но ярче всего обнаружился он в настроении «птенцов Петровых».

Нашего автора очень интересовал вопрос об употреблении монастырских доходов. Он с большой похвалой отзывается о тех указах Петра, которыми повелевалось по всем губерниям, провинциям и городам заводить училища и содержать их на счет монастырей. По его словам, у монастырей немало «излишних сверх необходимо нужных на Церкви» доходов. Их будет достаточно для содержания училищ, а «Богу

[1]) *Н. Попов,* назв. соч., стр. 514.
[2]) «Разговор», стр. 58.
[3]) Там же, стр. 58.

приятно, что такие туне гиблющие доходы не на что иное что как в честь Боту и пользу всего государства употреблять» [1]).

Еще Ивану III нравилась та мысль, что богу будет приятно, если монастырские земли окажутся отписанными на московского государя. Ему не удалось осуществить эту благочестивую мысль. В его лице государство принуждено было вступить в сделку с духовенством. Оно на время отказалось от своего намерения наложить руку на монастырские имения, довольно щедро вознаградив себя за такой отказ планомерным и все более деятельным вмешательством в имущественные дела церкви. При Петре и после него вмешательство центральной власти в эти дела сделалось прямо-таки угрожающим. Но и при нем до окончательной развязки было еще далеко. Хотя Петр тоже очень не прочь был «в честь Богу» экспроприировать духовенство, однако это оказалось возможным только при Екатерине II. Духовенство было слишком полезным орудием центральной власти, чтобы даже такие деспотические представители ее, как Петр I, могли совершенно пренебрегать его интересами и его настроением. Дворянство тоже не хотело полного разрыва с ним. На такой разрыв способна была, — и то в течение очень непродолжительного времени, — только революционная буржуазия Франции. Поэтому даже наименее расположенные к духовенству представители образованного русского дворянства не шли, — пока держались своей сословной точки зрения, — дальше протестантского *взгляда на отношение* государства *к церкви.* Протестантский взгляд встречаем мы и у

Татищева.

Татищев вполне признает «бессумненные утверждения письма святого». Он нимало не сомневается в том, что человек состоит из двух «свойств», т. е. из души и тела. Опираясь на учение о природе души, он доказывает ее бессмертие: «Свойство души есть дух, неимущий никакого тела или частей, следственно нераздельна, а когда нераздельна, то и бессмертна» [2]). Впоследствии мы увидим, что к этому самому доводу прибегал Радищев, стараясь отговориться от крайних выводов освободительной французской философии XVIII в. Вплоть до конца XVIII в. довод этот считали неопровержимым все мыслители, склонные к компромиссу с богословами, а таких было большинство, особенно в Германии.

Неуместно было бы определять здесь теоретическую ценность указанного довода. Но для характеристики миросозерцания Татищева

[1]) «Разговор», стр. 154, ср. также стр. 243, примечание на вторую книгу.
[2]) «Истории Российской», стр. 425.
[3]) «Разговор», стр. 7.

нужно заметить, что соображение о двух «свойствах» человека служит у него основой одной из двух, одинаково принимаемых им, классификаций наук. Он говорит: «Науки разделяются у философов по объявленным свойствам сугубо: душевное Богословия и телесное философия» [1]). Таким образом, «Богословия» имеет свою особую область. Татищев заботливо избегает вторгаться в нее. Но зато тем старательнее оберегает он «телесную» область «философии» от богословских вторжений. Даже учение о нравственности опирается у него не на предписания религии, а на «закон естественный, которой нам при сотворении Адама всем в сердцах наших вкоренен» [2]). Естественный закон «во всем, паче же в главнейшем», согласен с «посменным» законом, который был Богом через пророков возвещен, а потом возобновлен и изъяснен Спасителем [3]). Для доказательства этого Татищев сопоставляет основное положение естественного закона с основным положением «письменного». «Основание естественного закона: еже любить себе самого с разумом, с основанием письменного весьма согласно, — говорит он, — ибо из любви разумной к себе все добродетели происходят, от любви же неразумной или самолюбия все злодеяния раждаются» [4]). В этой попытке обосновать все учение о нравственности на разумной любви к себе Татищев выступает перед нами типичным «просветителем» XVIII столетия — Aufklärer, как говорят немцы. Впрочем, с этой стороны просветители XVIII столетия ничем не отличаются от просветителей других эпох. Сократ, как его изображает Ксенофонт, тоже основывал нравственность на разумном эгоизме. И так же поступали наши просветители шестидесятых годов XIX века: Чернышевский, Добролюбов, Писарев.

У Татищева выходит, что мы и бога должны любить по разумно-эгоистическим соображениям. «Я хотя самою малою вещию в мире почитаюсь, — говорит он, — однако ж то признать должен, что я Им сотворен и что имею все от Него, то должен, яко отца и первейшего благодетеля, любить возмерно. Еще же как я желаю благополучие *мое всегда приумножить, а ведая что ни от кого более как от Него получить могу, и для того от любви разумной к себе должен и заимодательно* (sic!) *или предварительно Бога любить»* [5]).

[1]) Там же, стр. 76.
[2]) Там же, стр. 20.
[3]) Там же, стр. 20—21.
[4]) Там же, стр. 22.

[5]) «Разговор», стр. 22, — *курсив мой.*

Надо признаться: это почти смешно. Но правильное обоснование учения о нравственности может дать *только социология,* а просветители очень редко умели осветить ее светом вопрос о взаимных отношениях между людьми. Не будем упрекать Татищева в том, что он не был социологом, и обратим внимание на сильную сторону его взглядов.

Стараясь защитить область «телесной» философии от богословских вторжений, он искренно возмущается теми преследованиями, с которыми религиозные невежды издавна обрушивались на людей науки и мысли. Сократ был «злочестиями и безбожеством оклеветан и на смерть осужден, но потом не токмо от язычников за премудрейшего во всей Греции почтен, но и христианские учители... его хвалили и о спасении его не сумневались» [1]). Еще более возмущают его такие обвинения и преследования, когда они исходят от христиан. «Паче же ужасно видеть, — пишет о«, — что подобного тому в христианстве последовало, видим бо высокого ума и науки людей невинно тем оклеветанных и проклятию от пап преданных, как-то Виргилий епископ за учение, что земля шаровидна, Коперникус за то, что написал: земля около солнца, а месяц около земли ходит; Картезей за опровержение аристотелической философии и за учение, чтобы все сущими доказательствы, а не пустыми силлогизмы доводить; Пуфендорф за изъяснение естественного права, которым несколько непристойные папежские законы или юс каноникус нарушались, прокляты, афеистами оглашении и книги их употреблять запрещены были, но потом нехотя сами папы все оное не токмо за полезно, но и правильно признали» [2]).

Татищев — *решительный сторонник веротерпимости.* Он резко осуждает преследование раскольников, хотя и считает их «безумными». Верный своему утилитарному взгляду на вопросы знания и общежития, он доказывает, что религиозные распри приносят большой вред государствам, и ставит на вид, что они происходят, собственно, от корыстолюбивых попов и от суеверных ханжей, «между же людьми умными произойти не могут, понеже умному до веры другого ничто касается и ему равно лютер ли, кальвин ли, или язычник с ним в одном городе живет, или с ним торгуется, ибо не смотрит на веру, но смотрит на его товар, на его поступки и нрав» [3]).

Это хоть бы и Вольтеру впору! Впрочем, удивляться тут нечему. Татищев недаром читал сочинения Пьера Бэйля, этого настойчивого и

[1]) Там же, стр. 48.
[2]) Там же, стр. 49.
[3]) Там же, стр. 71.

умного проповедника терпимости. Как известно, Бэйль доказывал, что государству не только не вредно, но даже выгодно, если его жители держатся неодинаковых религиозных взглядов, и что общество может существовать даже вовсе без религии (общество атеистов). С этим последним положением Татищев, может быть, и не согласился бы: s своей «Духовной» он выступает перед нами верующим христианином, а верующему христианину надо быть Бэйлем, чтобы не иметь предубеждения против атеистов. Но мы только что видели, как далек был Татищев от мысли о необходимости *единства* религиозных верований.

В эпоху Татищева великой задачей человечества являлось, — как

говорит Фейербах, — понимание независимости этики от религии [1]) И нельзя не признать, что Татищев был очень недурно подготовлен для понимания этой независимости. Но тут надо заметить следующее.

Из самого «Разговора» видно, что не одни «суеверные ханжи» клевещут на распространителей новых учений. «Епикур, который жил до Христа за 450 лет, — читаем мы там, — за то, что поклонение идолом и на них надежду отвергал, и сотворение света не тем богом, которым протчие приписывали, но невидимой силе или разумной причине присвоял, угобжению душевному через воздержание телесное учил от стоиков [2]) многими неистовствы оклеветан якобы тварь самобытну учил, и за то афеистом именован» [3]).

Татищев впал в ошибку относительно времени жизни Эпикура, родившегося в 342 или 341 и умершего в 272 или 270 году до нашей эры. Кроме того, хотя Эпикур и не был «атеистом», но богам, в самом деле, отвел ничтожную роль в своей системе мира и в известном смысле «учил тварь самобытну». Но эти неточности не имеют здесь значения. Совершенно верно то, что на Эпикура много клеветали даже образованные и, по-своему, чуждые суеверий люди. Писатели, занимавшиеся историей философской мысли, в большинстве случаев были также несправедливы к нему, как и к другим материалистам. И нельзя не похвалить Татищева за то, что он, хотя сам и не был материалистом, нашел, однако, нужным сказать слово в защиту Эпикура. Это достойное похвалы беспристрастие объясняется, пожалуй, тем, что, — homo novus в деле европейского просвещения, — он не успел еще научиться ува-

[1]) «L. Feuerbach's sämtliche Werke». Fünfter Band (Pierre Bayle) Stuttgart 1905, p. 910. См. также стр. 319: «Bayle's Bedeutung für die Philosophie liegt hauptsächlich in seinem *negativen Verhältniss zur Theologie*».

[2]) В другом списке: «От историков».

[3]) «Разговор», стр. 48.

жать условную ложь цивилизованного мира. Нынешние наши противники материализма относятся к этой лжи с достодолжным почтением.

Интересно, что проповедуя веротерпимость, Татищев настоятельно советует правительству принимать крутые меры против людей, тратящих свое время на пустые занятая. Дело в том, что кроме разделения, знаний сообразно двум областям, - «душевной» и «телесной», — он, распределяет все науки на следующие пять отделов: 1) нужные, 2) полезные, 3) щегольские или увеселяющие, 4) любопытные, или тщетные, 5) вредительные. Ко вредительным наукам он относит «разных качеств» волхвование: 1) некромантию, 2) аеромантию, 3) пиромантию, 4) гидромантию и т. п. Более известными в России «качествами» волхвования он называет заговоры и приговоры, толкование снов, «чернокнижество», ворожбу и проч. И вот, по поводу этих-то «вредительных» наук он пишет:

«Хотя сии науки зломудрия ничего совершенного в себе не имеют и по рассуждению многих философов смертью их (т. е. людей, предающихся им. — *Г. П.*), яко умоисступленных, казнить не безгрешно, но за то, что оставя полезное, в беспутстве время тратят и других обманывают, телесное наказание неизбежно понести должны» [1]).

Телесное наказание за «беспутную» трату времени! В этом требовании хорошо виден верный ученик Петра, желавшего, чтобы даже монахини, спасая свою душу, занимались в то же время каким-нибудь рукоделием.

Татищев считал обманщиками кликунов и кликуш, по народному

верованию одержимых бесами. Он злорадно ссылается на того же Петра, который «жестокими на теле наказании всех оных бесов повыгнал так, что ныне почитай уже не слышно, а особливо в тех местах, где благорассудной начальник случится» [2]).

«Разговор» Татищева дает гораздо больше, нежели обещает его заглавие. Это чуть не целая энциклопедия. В нем излагается все миросозерцание этого замечательного человека. Но все-таки весьма значительная часть «Разговора» посвящена доказательству той, казалось бы

[1]) «Разговор», стр. 85.

[2]) Там же, та же страница. — Известно, что кликуны и кликуши не переводились у нас, несмотря на усердие «благорассудных начальников>. Еще Карамзин послал своему бурмистру такое распоряжение: «Кликушам объявить моим господским именем, чтобы они унялись и перестали кликать; если же не уймутся, то приказываю тебе высечь их розгами: ибо это обман и притворством *(П. Смирновский,* История русской литературы девятнадцатого века, выпуск II, СПБ. 1899, стр. 90.

слишком простой и очевидной истины, что учиться нужно и полезно. Порой скучновато теперь перечитывать это длинное доказательство. Однако несправедливо было бы упрекать за это Татищева. Ему, как и всей «ученой дружине», приходилось вести ожесточенную войну с упрямыми стародумами, на разные голоса кричавшими о вреде науки. Ведь и А. Кантемиру пришлось в первой же своей сатире бичевать «хулящих учение».

Стародумы выставляли против науки всевозможные доводы и, между прочим, тот, что она подрывает уважение не только к духовной, «о и к политической власти. По совершенно понятной причине, Татищев считает нужным внимательно разобрать довод от политики.

«Никогда никакое бунт, — утверждает он, — от благоразумных людей начинания не имел, но, равномерно ересям, от коварных плутов с прикрытием лицемерного благочестия начинается, которой междо подлостию рассеяв производят». В подтверждение он ссылается на то, что наши русские бунтовщики, вроде Болотникова, Разина, стрельцов и «черни», все принадлежали к «самой подлости» и были невежественны. Правда, за границей мы видим в числе бунтовщиков Кромвеля, который был ученым человеком, но и он принял на себя «образ сущия простоты и благочестия», а когда добился власти, все училища разорил, учителей и учеников разогнал, «дабы вне ученых удобнее коварство свое скрыть мог». Благоразумные государи заботятся о просвещении своих подданных именно потому, что бунты неизвестны там, где процветают науки [1]).

Первая английская революция облекла социально-политические требования непривилегированной массы в религиозную форму. Этого было достаточно, чтобы просветители XVIII века относили ее к числу таких движений, которые могут быть опасны для их дела. Так смотрели на нее, например, французские просветители, собиравшиеся у Гольбаха и служившие выразителями революционных требований третьего сословия. Это свойственное очень многим просветителям недоверие к общественным движениям, совершившимся под знаменем религии, дополнялось у Татищева твердым убеждением во вреде всяких вообще революционных движений. Неудивительно, что Кромвель представлялся ему настоящим злодеем. «Ученая дружина» была безраздельно предана абсолютной монархии. И мы имеем полное право назвать Татищева главным теоретиком, выдвинутым ею на защиту абсолютизма.

[1]) «Разговор», стр. 65—66.

На вопрос, какое правление надо признать самым лучшим, он отвечает, что это зависит от обстоятельств. «Малые» и не подвергающиеся неприятельским нападениям народы с удобством могут усвоить себе демократический строй («править общенародно»). Народы «великие», но безопасные от нападений со стороны других народов, могут принять аристократическое правление. «Великие же и от соседей не безопасные государства без самовластного государя быть и в целости сохраниться не могут» [1]).

Россия обязана монархии всеми своими успехами. Она только тогда и процветала, когда в ней было «единовластительство». Когда наступили в ней времена уделов, усилившие значение аристократии, она была покорена татарами и литовцами. Ее положение улучшилось только благодаря Ивану III, «основавшему монархию», а также его сыну и внуку. Но в смутное время бояре предписали Шуйскому «законы некоторые, государству вредительные, а когда он лишился престола, то установилось «почитай общенародное правление». Это привело Россию к разорению «паче татарского нападения». Только выбором самовластного и наследственного государя положен был конец этому «беспутству» и восстановлен «надлежащий прежний порядок» [2]).

Феофан Прокопович тоже говорил: «Русский народ таков есть от природы своей, только самодержавным владетельством храним быть может, а если каковое нибудь иное владения правило восприимет, содержаться ему в целости и благости невозможно» [3]). Мне еще придется говорить о том, как энергично восстала «ученая дружина» против попытки верховников ограничить власть Анны Ивановны. Она видела в неограниченной власти монархов вернейший залог успешного хода русского просвещения и потому была сознательной и последовательной ее сторонницей. Полной искренностью веет от совета, с которым Татищев обращается к своему сыну: «Власть и честь государя до последней капли крови защищай, а с хвалящими вольности других государств и ищущими власть монарха уменьшить никогда не согласуй, понеже оное государству крайнюю беду нанести может» [4]).

[1]) «Разговор», стр. 137—138. См. также *Нил Попов,* назв. соч., стр. 116—117.

[2]) «Разговор», стр. 138—139. *Н. Попов,* назв. соч., стр. 118.

[3]) Смотри его описание <затейки» верховников, напечатанное в приложении к «Запискам Дюка Лирийского и Бервикского». Перевод с французского Д. Языкова, СПБ. 1845.

[4]) См. «Духовную В. Н. Татищева», изданную под наблюдением члена Казанского общества археологии, истории и этнографии Андрея Островского. Казань 1885, стр. 14.

Итак, в политике Татищев совершенно чужд каких-нибудь «разрушительных» стремлений. Так же решительно чуждался он их и в области социальных отношений. Он был *помещиком* и, в качестве человека, прошедшего суровую школу Петра Первого, как видно, крутенько расправлялся с теми своими крепостными, которых почему-либо находил виноватыми. «Для винных людей иметь тюрьму», — писал он своим приказчикам. Требовал он еще, — этим также напоминая нам о своем качестве «птенца Петрова», — чтобы его крестьяне не теряли даром времени. Так как зимой они не были заняты полевыми работами, то он предписывал обучать их разным «художествам»: «кузнечному, колесному, бочарному, овчарному, горшечному, коневалъному, шерсть бить, войлоки валять, портному,

сапожному и всему тому подобному, что крестьянину необходимо иметь надлежит» [1]). Подкреплял он это свое предписание тем соображением, что, обучившись «художествам», его крестьяне будут в состоянии «особливо зимой без тяжкой работы получить свои интересы». Однако, само собою понятно, что при этом не был забыт им и свой собственный помещичий интерес. Крестьянских ребят, — заметьте, *обоего* пола, — он приказывал обучать, в возрасте от 5 до 10 лет, письму и чтению. Вообще он стоял за распространение знаний в народе, указывая на государственные, преимущественно военные нужды. В этих его указаниях очень много ума. Относящиеся сюда страницы «Разговора» и теперь полезно было бы перечитывать почаще нашим обскурантам. Но тут он остается, как был, «шляхтичем». Он непременно хочет, чтобы учащееся «шляхетство» было «особно от подлости отделено». Общение дворянских детей с прислугой и с «рабскими детьми» кажется ему очень вредным в нравственном отношении [2]).

Одна из причин, в силу которых основанная Петром Академия Наук показала себя мало «способной» к «научению» шляхетских детей, состояла, по его словам, в том, что дворянские дети смешивались в ней с детьми «подлых» людей: «Имея с подлостию без призрения родительского обхождение, могут скорее пристойность и благонравие погубить». Осуждал он и то, что в Академии «многих шляхетских нужных наук не

[1]) См. его «Краткие экономические до деревни относящиеся записки», сообщенные *С. Серебряковым* и напечатанные во «Временнике Императорского Московского общества истории и древностей российских», кн. 12, Москва 1852.

[2]) См. «Разговор», стр. 154 и 109. Как мы увидим, наша интеллигенция XIX в. находила в таком общении, наоборот, много хорошего (Герцен, Боборыкин и другие).

определено, яко на шпаге биться, на лошедях ездить, тонцовать, знаменование (т. е. рисование. — *Г. П.*) и пр. тому подобного». Поэтому он думал, что «надлежит иного училища для детей шляхетских искать» и более одобрял основанное при Анне «Кадетское училище» [1]).

В «Рассуждении о ревизии поголовной» Татищев жаловался, что у нас между шляхтичем и «подлым» нет никакой «разности». Вследствие отсутствия закона, который определял бы права и преимущества высшего сословия, «почитаются все имеющие деревни, подьячие, поповичи, посадские, холопи, имеющие отчины, купленные или иным случаем полученные, за шляхетство, гербы себе берут, кто какой сам вымыслит, н почитаются по богатству, чего нигде не ведется». Это ведет, по мнению Татищева, к печальным для общественной нравственности последствием «Видя, что у нас единственно богатство и великолепие почитаемо, всяк о том токмо прилежит, каким бы нибудь способом богатство приобрести, а когда оное получит, то чины, чести и доходы купить уже не трудно; великолепным чванством един другого тщася преуспеть, не разумеют, что тем себя и отечество разоряют, что всякому довольно видимо» [2]).

Татищев говорит, что Петр Первый собирался положить предел таким злоупотреблениям и даже издал некоторые законы, дававшие дворянству известные преимущества по службе, но после него «невежество, или злость, или собственные пользы тех, кому то производить и наблюдать надлежало, все в забвении оставили».

Это весьма знаменательно. В своей борьбе *с боярством* дворянство выступало против *пороки* и склонялось к той мысли, что положение служилого человека в общественной иерархии должно

определяться *только его заслугой.* Петр Первый безусловно одобрял эту склонность дворянства. Он по-своему поддерживал ее, заставляя *породу* отступать перед *чином.* Не могли не сочувствовать этой склонности дворянства и птенцы Петровы. Ниже мы увидим, что их сочувствие к ней нашло себе выражение даже в изящной литературе (именно во второй сатире Кантемира). Но поскольку дворянство само становилось привилегированные сословием, постольку в нем должна была пробуждаться и действительно пробуждалась противоположная склонность к тому, чтобы добиться издания законов, устанавливающих «разность» между «шляхетством» и «подлостью». Поскольку птенцы Петровы принадлежали к дворянству,

[1]) Там же, стр. 112.

[2]) *Н. Попов,* Татищев и его время, стр. 771—772.

они не были свободны также и от этой склонности своего класса. Отсюда — двойственность в понятиях и рассуждениях, весьма заметная у Татищева.

Наш убежденный просветитель оставался не менее убежденным идеологом «шляхетства». А между тем теории, которые легли в основу его миросозерцания и которые были теориями западноевропейских просветителей, выражали собою освободительные стремления третьего сословия и, следовательно, были в большей или меньшей степени враждебны «старому порядку». Одной из них была теория естественного права и естественной религии, — вообще «естественного закона», — за которую крепко держался, как мы видели, наш автор. Как же разрешить это противоречие? Надо принять в соображение, что указанные теории лишь постепенно доведены были до своих крайних логических— на практике *революционных* — выводов. Поэтому и на Западе их сплошь да рядом усваивали себе и распространяли люди, не имевшие ровно никаких революционных стремлений. Таких людей было особенно много в Германии, сильно отставшей тогда от Франции и Англии. Так, например, С. Пуффендорф, у которого так много заимствовал Татищев, был настроен скорее консервативно. Абсолютизм имел в нем твердого приверженца. Этим он, вероятно, и нравился Петру. Правда, даже французские просветители второй половины XVIII столетия охотно возлагали свои надежды на государей (les princes éclairés). Однако Пуффендорф был не только приверженцем абсолютизма. Он готов был мириться даже с такими учреждениями, которые резко осуждались французскими просветителями и которых в самом деле никак нельзя было оправдать ссылкою на естественное право. Укажу на рабство. Пуффендорф выводил его из договора: nam perpétua illa obligatio compensatur perpétua alimentorum certitudine.

На это последовательный сторонник «естественного закона» возразил бы, что если даже допустить, что один человек может навсегда отдать другому свою собственную свободу, то он решительно не имеет права жертвовать свободой своего потомства. И с таким возражением Пуффендорфу никак нельзя было справиться, пока он не покинул бы точки зрения естественного права.

Но как бы там ни было с Пуффендорфом, несомненно, что именно подобные ему *непоследовательные* сторонники просветительных теорий и годились в учителя идеологам нашего европеизованного дворянства: *последовательные* слишком скоро и ясно обнаружили бы, до какой степени не соответствовал социально-политический строй России требова-

ниям «естественного закона», возникшим на Западе в процессе борьбы против «старого порядка».

Во Франции освободительное движение третьего сословия было несравненно сильнее, нежели в Германии. Поэтому французские просветители были гораздо смелее и гораздо последовательнее германских; русские же просветители шли за теми или другими, смотря по своему отношению к российской действительности, как стали выражаться у нас в XIX столетии. Поскольку они *мирились* с ее основами, они более склонялись *к немцам,* а поскольку *восставали против нее,* у них начиналось тяготение *к французам.* Кажущиеся исключения из этого правила только подтверждают его (история влияния Вольтера на более или менее просвещенных русских людей). Даже некоторые отдельные личности (Радищев, Белинский) склонялись к французам в те периоды своей жизни, когда были настроены радикально, а к немцам, когда мирились с «действительностью» (Белинский) или, по крайней мере, начинали уставать в борьбе с нею (Радищев). Но об этом потом.

Посмотрим же, как обращается с учением о «естественном законе» Татищев.

Он рассуждает так: «Воля по естеству толико нужна и полезна, что ни едино благополучие ей сравниться не может». Это звучит почти как революционный призыв. Но это почти революционное положение сопровождается у него важными оговорками. Воля приносит людям пользу только тогда, когда они разумно пользуются ею. А на это способны не все. Ребенок для своей собственной пользы должен быть подчинен родителям. Из власти *отца* вытекает власть *монарха,* которому должны подчиняться его поданные. Наконец, *слуга* тоже носит узду неволи: он подчиняется своему *господину.* Но если власть отца и власть монарха создается самой *природой,* то власть господина над слугой обязана своим происхождением *договору:* «Например, един сам себе пропитания, одежды и жилища промыслить или от неприятеля защищаться не способен, а другой тем изобилует... Тогда они, согласяся, договорятся, что сей обещает сему служить и его воле повиноваться; противно же (т. е. сообразно. — *Г. П.*) тому, оной обещает пищею, одеждою и жилищем снабдить и от обиды защищать, чрез что тот, отдавшийся в волю другого, своей воли не имеет» [1]).

Здесь Татищев местами чрезвычайно близок к Пуффендорф). Однако он расходится с ним во взгляде на происхождение власти мо-

[1]) «Разговор», стр. 139—141.

нарха. У немецкого писателя она выводится из договора, между тем как русский автор объявляет ее учреждением, созданным, подобно родительской власти, самой природой. Откуда эта разница? Как видно, Татищев находил, что теория договора не может служить надежной теоретической основой власти русских государей. И нельзя не согласиться с тем, что теория эта была в данном случае ненадежна: ведь она носила в себе самые крайние выводы, сделанные впоследствии французскими революционерами, но не более годилась эта теория и для оправдания, — с точки зрения «естественного закона», — наследственной зависимости слуги от господина. Однако Татищев воспользовался ею именно с этой целью. Набросав схему договора, по которому «сей» обязывается служить, а «оный» — кормить и защищать за это «сего», наш автор прибавляет: «из сего договора возникает неволя холопа или слуги». Исторически он прав.

Кабальное холопство основывалось на сем «договоре». Но в том-то и дело, что *просветитель,* оставаясь последовательным, не мог довольствоваться *историческим* объяснением данного рода зависимости, а должен был или осудить ее или найти для нее оправдание *в выводах разума.* В высшей степени замечательно, что, распространяясь в своем «Разговоре» о необходимости «узды незоли», Татищев ни одним словом не коснулся *крепостной зависимости крестьян от помещиков.* Он как будто сознавал, что даже историческое ее происхождение не может быть вполне объяснено договором. Но это еще не все. Он вообще отрицал, — повторяю, в «Разговоре», — правомерность «рабства или невольничества», хотя и называл детей крепостной прислуги «рабскими детьми» (см. выше). Рабство или невольничество есть плод насилия, а насилие права не создает: «Понеже человек по естеству в защищении и охранении себя имеет свободу, — рассуждал Татищев, — того ради он такое лишение своея воли терпеть более «е должен, как до возможного к освобождению случая» [1]). Отсюда логически следует, что если низший класс общества насильственно удерживается в неволе высшим, то он имеет естественное право подняться против своих поработителей. Правда, Татищев и тут оговаривается: «Но и сие с разумом; ибо если бы я был (быв? — *Г. П.*) в неволе у разбойников или в плене у неприятеля, дерзнул несравненною моею малою силою им отмщить и себя освободить, тоб я сам своей погибели причиною был». И это, конечно, справедливо. Но вопрос, нас интересующий, состоит не в том, при каких условиях было бы *целесообразно* восстание порабощенных

[1]) «Разговор», стр. 141.

против своих поработителей, а в том, следует ли признать его *правомерным,* а на этот вопрос Татищев *уже дал нам категорический ответ в утвердительном смысле.*

Не думайте, что о« хотя бы в теории был против крепостного права. В другом месте он категорически высказался за него. Но не умея оправдать его с помощью *«естественного закона»,* он перенес дело в другую инстанцию. Он апеллировал к *политике.* «Вольность» крестьян и холопей полезна в других государствах, — говорит он. — Возможно, что она приносила пользу и у нас во времена Грозного, особенно в тех случаях, когда «беспутные отчинники» утесняли своих людей. Но «оное (т. е. она. — *Г. П.*) с нашею формою правления монархического не согласует и вкоренившийся обычай неволи переменить не безопасно».

Пример Татищева показывает нам, каким образом просвещенные шляхтичи, созданные в Великороссии Петровской реформой и недурно осведомленные насчет социально-политических порядков западных стран, объединяли в теории свои помещичьи интересы с интересами самодержавия.

Но хотя их ссылка на государственную безопасность долго казалась убедительной как им самим, так и представителям центральной власти, однако она все-таки не давала логической возможности оправдать крепостное право с точки зрения «естественного закона». Затруднение, о которое запнулся Татищев, оставалось неустраненным. Да и не одно это затруднение.

Европеизованным идеологам русского дворянства приходилось объяснять и оправдывать привилегированное положение своего сословия с помощью учений, неудобных для этой цели по своему оппозиционному происхождению. Можно сказать, разумеется, что

ведь были же на Западе и более консервативные теории, нежели, например, теория «естественного закона». Но, во-первых, слишком слабы были консервативные теории Запада в сравнении с теориями, возникшими в процессе освободительного движения. Во-вторых, — и это главное, — было одно важное социально-политическое условие, помешавшее птенцам Петровым усвоить себе учение западноевропейских консерваторов. Оно состояло в том, что консерваторы эти защищали такие политические требования высших классов, о каких и слышать не хотела русская центральная власть, особенно в лице таких своих представителей, как Иван IV или Петр I. Так как западноевропейская буржуазия, борясь со светской и духовной аристократией, в течение некоторого времени поддерживала абсолютизм, то и теории, выдвинутые ее идео-

логами, казались более соответствующими политическому строю России, пока французская революция не обнаружила грозных выводов, таившихся в недрах этих теорий.

Но если до поры до времени они могли казаться более подходящими к русским политическим условиям, то все-таки из них никакими усилиями невозможно было выжать сколько-нибудь серьезные логические доводы в пользу «самобытных» учреждений вроде нашего крепостного права. А это значит, что позиция просвещенных идеологов нашего дворянства была, в конце концов, все-таки очень невыгодна. Вот почему они так неудачно боролись впоследствии с теми русскими людьми, которые выступали,— хотя нередко только в молодости, — сознательными сторонниками революционных учений Запада.

Вернемся к Татищеву. Характеристика его, как идеолога русского дворянства, осталась бы неполной, если бы не была отмечена его заботливость о крестьянах, выражавшаяся почти на каждой странице его «Экономических Записок». Он предписывал заводить для своих людей не только тюрьмы, но также школы и бани [1]). Его приказчик и староста должны были строго наблюдать за тем, чтобы «каждой крестьянин, муж с женой имел у себя лошадей работных двух, быков кладеных (волов — *Г. П.*) двух, баранов 5, овец 10, свиней 2, гусей старых две пары, кур старых 10; а кто пожелает иметь больше, дозволяется, а меньше вышеписанного положения отнюдь не иметь». Для старых и больных крестьян учреждена была им богадельня, в которой они содержались «боярским коштом». Заботливое внимание помещика распространялось даже на домашнюю утварь его крестьян. Каждый из них обязан был иметь «блюды, тарелки, ножи, вилки, оловянные ложки, солонки, стаканы, скатерти, полотенцы, шкафы, или поставцы, железные половники и ковши». Крестьян, по нерадению своему не имевших всего этого, ожидала суровая кара: их отдавали в батраки к исправным домохозяевам, которые получали право бесплатно пользоваться их трудом и землею, внося за них подати. «Ленивцы» оставались в таком положении, пока не заслуживали «хорошей похвалы».

Нечего и говорить, в этой заботливости Татищева о своих крестьянах виден «шляхтич»-рабовладелец, знающий цену «крещеной собственности» и умеющий пользоваться ее трудом. Он строго приказывает старосте следить, «дабы летом во время работы не малой лено-

[1]) «Две бани больших мускую и женскую, которые топить каждую субботу после обеда по очереде». «Временник», стр. 20.

сти и дальнего покою крестьянам происходить не могло» [1]). Но он, по крайней мере, обеспечивал своим «душам» экономическое довольство, чего не делали многие и «многие другие рабовладельцы.

Но что всего замечательнее, так это отношение Татищева к женщине. Особенность этого отношения обнаруживается отчасти уже в его заботливости о том, чтобы грамоте обучались его крепостные обоего пола. А всего ярче сказывается оно в следующем совете Василия Никитича своему сыну: «Паче же имей то в памяти, что жена тебе не раба, но товарищ, помощница во всем и другом должна быть нелицемерным; так и тебе к ней должно быть» [2])...

Усердно неся государственную *службу,* Татищев не хотел, однако, «прислуживаться» и с большим недоверием смотрел на придворных. Он не советует своему сыну искать «придворной услуги», так как «тут лицемерство, коварство, лесть, зависть и ненависть едва не всем ли добродетелям предходят, а некоторые ушничеством ищут свое благополучие приобрести, несмотря на то, что, губя невинных, сами вскоре судом божеским погибнут» [3]).

Боярин Берсень Беклемишев говорил Максиму Греку: «Которая земля переставляет обычаи свои, та земля недолго стоит». Так смотрела Московская Русь. «Птенцы Петровы» выработали себе другой взгляд. Оставаясь консерваторами в том, что касалось *основ* русской общественно-политической жизни, они одобряли «перестановку» родных обычаев. У Татищева есть даже целая теория прогресса. Если он и не ждал в будущем золотого века, то, наверно, согласился бы с Сен-Симоном в том, что нет никакого основания помещать этот век позади нас. «Что касается до наук и разума прежних народов, — говорит он, — то мы, взирая на известные нам древние действия, равно можем о них сказать, как о единственном человеке, что со младенчества ничего, в юности же мало что полезное показали; но приходя в стан мужеский едва что полезное показывать стали» [4]).

Французские просветители XVIII века часто судили о ходе общественного развития по аналогии с ходом развития «единственного человека». От них этот аналогический метод перешел к социалистам-утопистам, первой половины XIX столетия. К нему любил прибегать Сен-Симон, пытавшийся обосновать посредством его свой закон

[1]) Там же.
[2]) «Духовная», стр. 13.
[3]) Там же, стр. 20.
[4]) «Разговор», стр. 38.

трех фазисов умственного развития человечества [1]). Таким образом, по приемам мышления Татищев здесь, как и в рассуждениях своих о «естественном законе», выступает перед нами просветителем [2]).

Наконец, просветителем же является он и в своем общем взгляде на главную причину исторического движения. Движение это объясняется у него «просвещением ума». Но что такое просвещение ума? Накопление и распространение знаний. А что такое знание? На этот вопрос русский просветитель первой половины XVIII века отвечал не вполне так, как отвечали на него французские просветители, особенно во второй половине того же столетия.

Французские просветители относились к религии отрицательно. Поэтому *религиозные представления* не имели в их глазах ничего общего с *научными понятиями.* Успехи просвещения должны были, по их словам, расшатывать религиозную веру и суживать ее область. Не так смотрел Татищев. Мы уже видели, что он уважал права религии. В его философии истории отводится широкое место развитию рели-

гиозных представлений, как средству просвещения. «Первое просвещению ума, — говорит он, — подавало обретение письма, другое великое пременение учинило пришествие и учение Христово; третие обретение тиснения книг»[3]). Написав эти строки, Татищев как будто вспомнил учение церкви об отношении Нового Завета к Ветхому и поспешил прибавить: «И тако мнится, что удобно можем сравнять до обретения письма и закона Моисеева со временем младенчества человека» [4]).

[1]) Подробнее об этом см. в 3-й главе моей книги: «К вопросу о развитии монистического взгляда на историю». [Сочинения, т. VII.]

[2]) Хронологически *первым* русским просветителем.

[3]) Сравни у него же «Предъизвещение» к «Истории Российской» книга первая, часть первая, Москва 1768 г. «Способы всемирного умопросвещения разумею три величайшие. Яко первое обретение букв, чрез которые возымели способ вечно написанное в память сохранить, и далеко отлучным наше мнение изъявить. — Второе Христа Спасителя на землю пришествие, которым совершенно открылось познание Творца и должность твари к Богу, себе и ближнему. — Третие чрез обретение тиснения книг и вольное всем употребление, чрез которое весьма великое просвещение мир получил, ибо и чрез то науки вольные возросли, и число книг полезных умножилось» (стр. XXVII.)

[4]) «Разговор», стр. 38. — См. статью *Бестужева - Рюмина,* Василий Никитич Татищев, в «Древней и новой России», 1875 г., II, стр. 261. Всех возрастов или «станов» человечества, по Татищеву, четыре: четвертый простирается от обретения тиснения книг до новейшего времени включительно.

По свидетельству доктора Лерха, Татищев имел особые мнения насчет религии, вследствие чего многие не считали его православным [1]). В своей «Духовной» наш автор презрительно отталкивает от себя обвинение в безбожии и в ереси. Выше я сказал, что решительное преобладание в его взглядах светского элемента делало их очень непохожими на миросозерцание *русских* начетчиков допетровского времени, ко что все-таки он не разрывал с религией. Теперь мы видим, что Татищев был склонен к компромиссу с нею также и в своей философии истории. Наш просвещенный идеолог дворянства шел в этой области за умеренными немецкими просветителями, видевшими в религии божественное средство «воспитания человеческого рода», а не за крайними французскими просветителями, смотревшими на нее как на одно из важнейших препятствий успехам человеческого разума.

Впрочем, разница между теми и другими давала себя чувствовать только там, где речь шла об *откровенных* религиях. Во взгляде же на происхождение *языческих* религий умеренные просветители XVIII века сближались с крайними. Вот, например, касаясь учения Пифагора о переселении душ, Татищев выражается так, что с ним без труда согласился бы сам Дидро. Он говорит: «Пифагор для *удержания* людей от злодеяния и для наставления к благонравию и благочестному житию, вымыслил прехождение душ из одного в другое животное по делам каждого» [2]). Религиозные догматы измышляются влиятельными личностями чаще всего с целью эксплуатации, но иногда и для «удержания» своих соплеменников. Сущность этого взгляда усвоена была от просветителей XVIII века даже некоторыми выдающимися социалистами-утопистами XIX столетия. От него получили свое происхождение «новое христианство» Сен-Симона и «истинное христианство» Кабэ.

«Обретение Моисеева закона» и «пришествие Христово» представляют собою, во всяком случае, явления чудесные, т. е. исключительные. А при нормальном ходе исторического процесса главную роль играет накопление и распространение знаний. В процессе их накопления и распространения очень многое зависит от

«прилежности» народов, а также, — Татищев не был бы просветителем XVIII века, если бы думал иначе, - от заботливости правителей. «Ибо как человек и кроме природных невозможностей за леность и нерадением собствен-

[1]) «Древняя и новая Россия», II, стр. 261.

[2]) «История Российская», книга II, стр. 383. Тут он руководствуется философским лексиконом Вальха.

ным, паче же родительским несмотрением того блага лишится, так прилежностию и снисканием един более другого приобрести может; равно сему и в общественном един народ или государство пред другим прилежанием собственным и случаями от властей учрежденных училищ более успевают». Так, в Англии науки умножались «через труды и прилежание» Генриха VIII и Елизаветы, а во Франции — Генриха IV и Людовика XIV [1]).

По методу своего мышления, — прошу читателя заметить: по *методу мышления,* а не по *отдельным взглядам,* — Татищев является как бы главою многочисленного рода просветителей, очень долго игравшего влиятельную и плодотворную роль в нашей литературе. Если он был *первым* выдающимся представителем этого рода, то Чернышевский и Добролюбов были самыми передовыми, крупными и блестящими его представителями. После них он начал быстро мельчать и клониться к упадку.

Что касается специальных работ Татищева, то оценка их давно уже сделана авторитетным специалистом С. М. Соловьевым. Вот что говорит этот последний о Татищеве, как об историке:

«Заслуга Татищева состоит в том, что он первый начал дело так, как следовало начать: собрал материалы, подверг их критике, свел летописные известия, снабдил их примечаниями географическими, этнографическими и хронологическими, указал на многие важные вопросы, послужившие темами для позднейших исследований, собрал известия древних и новых писателей о древнейшем состоянии страны, получившей после название России, одним словом, указал путь и дал средства своим соотечественникам заниматься русскою историею... Не говорю уже о том, что мы обязаны Татищеву сохранением известий из таких списков летописей, которые, быть может, навсегда для нас

[1]) «Разговор», стр. 121. — В другом месте Татищев категорически говорит, что «все деяния от ума или глупости происходят». Но он прибавляет: нельзя считать глупость «за особое существо (sic!), но оное слово токмо недостаток или оскудение ума, властно как стужа, оскудение теплоты, а не есть особое существо или материя». Татищев называет ум «главным природным действом, или силой души». Просвещенный ум называется у него *разумом.* «Освещение же ума, — продолжает Татищев, — равно как свет видимый от огня небесного или земного происходящие, освещает все телеса и видимы нам творит, тако учение и прилежное вещей испытание нам все в мыслях воображенные свойства к понятию и рассуждению мысленным очам просвещает» («История Российская», книга первая, часть первая. «Предъизвещение», стр. XXVI — XXVII). О «деяниях» речь идет здесь потому, что слово история «то самое значит, что у нас *деи* или *деяния?* (там же, стр. I).

потеряны; важность же этих известий для науки становится день ото дня ощутительнее» [1]).

Немало сделал Татищев также для истории русского права. По мнению С. М. Соловьева, он и здесь является первым издателем памятников и первым их истолкователем. Он приготовил к изданию Русскую Правду и Судебник царя Ивана с дополнительными статьями. В примечаниях Татищева к Судебнику С. М. Соловьев

видел первую попытку объяснить наши древние юридические термины.

Наконец, этот же замечательный человек был автором первых трудов и по русской географии [2]).

Ввиду всего этого С. М. Соловьев правильно отводил Татищеву, рядом с Ломоносовым, «самое почетное место в истории русской науки в эпоху начальных трудов» [3]).

Как и все птенцы Петровы, В. Н. Татищев выступал в самых различных областях практической деятельности: он был и горным инженером, и артиллеристом, и администратором. *Служил* он умно и усердно, но, как сказано выше, не любил *прислуживаться.* В царствование Анны он, не угодный Бирону, попал под суд и страдал от судебной волокиты чуть не до самой смерти своей. Не наше дело разбирать, был ли он так безупречен в своей служебной деятельности, как это ему казалось. В то время передовые люди смотрели на практическую деятельность совсем другими глазами, нежели теперь...

3. А. Д. Кантемир

Кроме очень многого другого, от внимания Татищева не ушел и вопрос о *чистоте русского языка.* Татищев понимал, что никак нельзя было обойтись без заимствований из других языков. «Одаакож, — предостерегал он, — между приятыми из чужих много таких слов, что таковы ж на нашем имеем и лучше разумеем, и для того оных вносить и во употребление вводить весьма не полезно» [4]). Это — святая истина,

[1]) «Писатели русской истории XVIII века» в Собр. соч. *С. М. Соловьева,* стр. 1346—1347. Ср. «Главные течения русской исторической мысли» *П. Н. Милюкова,* Москва 1897, стр. 15—23.

[2]) По замечанию А. Н. Пыпина, Татищев первый нашел необходимым изучать, для целей историографии, «народную жизнь с ее бытовыми особенностями, нравами, обычаями и преданиями» («История русской литературы», т. III, стр. 366).

[3]) Там же, стр. 1350.

[4]) «Разговор», стр. 95—96.

к сожалению, и до сих пор слишком часто забываемая русскими писателями, даже теми, которые принадлежат к демократическому лагерю и которым следовало бы помнить, что у нас, как и во всем мире, трудящаяся масса иностранных языков не изучает.

Но литература собственно так называемая мало влекла к себе Татищева. В «ученой дружине» специалистом по части литературы был князь А. Д. Кантемир.

Его сатиры могут быть названы классическими в том смысле, что мы знакомимся с ними еще в школе. Но он писал не только сатиры. Он сочинял также «песни», «письма», разного рода мелкие стихотворения, а иногда грешил даже такими произведениями, как цитированная мною выше «Петрида» и «Речь Благочестивейшей Государыне Анне Иоанновне Императрице и Самодержице Всероссийской» [1]). Кроме всего этого, он усердно занимался переводами в стихах (Анакреон, Гораций) и в прозе (Фонтенелль, Монтескье). Наконец, до нас дошло, правда, в весьма плохом списке, одиннадцать философских писем его о природе и человеке. Для истории русской общественной мысли во всем этом находится много очень интересного материала.

Начать с того, что подобно Татищеву Кантемир не только писал, но и *служил.* Так и долго после него делали почти все русские писа-

тели: недаром они были выходцами из *служилого сословия.* Как человек, относившийся к литературе с огромным интересом, Кантемир, может быть, с гораздо большим увлечением писал свои тяжелые стихи или переводил иностранных авторов, нежели составлял деловые бумаги. Но если это в самом деле было так, то он, вероятно, не один раз сам осуждал мысленно свою слабость. В глазах этих служилых людей, посвящавших свои досуги «сочинительству», служба была важнее литературы. Кантемир, не обинуясь, высказывает такой взгляд в «письме», озаглавленном: «К стихам моим» и написанном в 1743 г., когда он готовил к печати свои поэтические опыты. Предупреждая нападки людей, которые упрекнут его в том, что он «упражнялся» в труде, неприличном ни чину его, ни летам, наш чиновный сатирик говорит (повторяю, он обращается при этом к своим стихам):

...Станете напрасно
Вы внушать, и доводить слогом своим
ясно, Что молодых лет плоды вы не
ущербили
Ни малой мне к делам час важнейшим и
нужным; Что должность моя всегда нашла мя
досужным…

[1]) Увы! тоже стихотворная!

Кантемир в самом деле напрасно «внушал и доводим» это настоящим служакам, не вкушавшим от плодов познания литературного добра и зла. Все русские писатели, тянувшие служебную лямку, постоянно должны были чувствовать себя в неловком положении людей, приставленных к серьезному делу, но время от времени забывающих об его интересах ради пустой забавы. Начальство не упускало случаев дать им пенять, что они как бы злоупотребляют его доверием, и подчас предлагало им выбирать между службой и «сочинительством». К счастью для русской литературы и для русского общественного развития, в душе наиболее даровитых из этих людей слабость к литературе не без успеха сопротивлялась их же собственной чиновничьей солидности. Порой она приводила их даже к совсем иному взгляду на литературу. Это мы увидим уже у Кантемира.

Известно, что он не был «русаком» по своему происхождению. Кроме того, он оставил Россию совсем молодым человеком, — 22 лет, — и умер за границей, в общественной обстановке, мало походившей на тогдашнюю русскую. Но — такова сила ранних впечатлений! — он все-таки целиком усвоил себе и сохранил понятия тогдашнего русского дворянства, — разумеется, как они сложились в самой просвещенной части этого сословия. Вот, например, дорогое Кантемиру западное просвещение не заронило в его душу ни тени сомнения относительно правомерности крепостной зависимости крестьян. Зависимость эта представлялась ему чем-то вполне естественным. Иногда он пытался даже взглянуть на нее через очки пасторали.

Отвечая Ф. Прокоповичу на его стихотворение: «Плачет пастушок в долгом ненастий», он так изображает свои собственные потери:

У меня было мало козляток,
Ты известен,
Сей был моея паствы начатой
Некорыстен,
Но и сих Егор и его други
Отогнали [1]).

Егор, это — ростовский архиепископ Георгий Дашков, принадлежавший к враждебной Прокоповичу и Кантемиру партии, а козлятки

— крепостные крестьяне. Они были «отогнаны» от нашего поэта собственно не Дашковым, а Верховным Тайным Советом, постановившим,

[1]) «Epodos consolatoria».

что те имения, которые остались после старого князя Дмитрия Кантемира, должны принадлежать его Среднему сыну Константину [1]).

Конечно, с точки зрения положительного права крепостная зависимость «козляток» была вполне правомерна. Но ведь молодой Антиох Кантемир имел очень ясное понятие о «естественном законе». В одном из примечаний к своей первой сатире он говорит: «Закон естественный есть правило, от самой натуры нам предписанное, которое всегда непременно и без которого никакое сообщество устоять не может». Казалось бы, что вопрос о крепостной зависимости «козляток» следовало рассмотреть с точки зрения именно этого «самой натурой нам предписанного» и «всегда непременного правила». Однако в сочинениях А. Кантемира не заметно сколько-нибудь глубоких следов подобного пересмотра. В этом отношении миросозерцание его осталось почти незатронутым критикой. Говорю: «почти незатронутым», потому что некоторое влияние критики все-таки обнаруживается и в его сочинениях. Во второй своей сатире («На зависть и гордость дворян злонравных») он восстает против жестокого обращения с прислугой и говорит даже: «плоть в слуге твоей однолична». Однако сознание «одноличности» крепостной плоти с дворянскою не вызывает у Кантемира сомнения в нравственной правомерности крепостной неволи. Он мирится даже с телесными наказаниями слуг господами, требуя только, чтобы наказания эти были заслуженными и «беззлобными». «Должно бы и к виновным поступать с милостью, — говорит он в примечании к 290-му стиху названной сатиры, — а когда и нужда настанет к наказанию, наказывать беззлобно и в одном намерении, чтоб наказуемого исправить и его примером других от злочинства удержать, а не для насыщения склонности своей к озлоблению человека, который обороны против нас не имеет».

Разумеется, писатель, советовавший наказывать *таким образом,* был гуманнее огромнейшего большинства владельцев крепостных душ. Но с фактом владения крепостными душами вполне мирился даже и этот гуманный писатель. Он не восставал против *бесчеловечной основы* тех нравов, в которые он хотел ввести струю *человечности.*

Чтобы покончить с вопросом об отношении Кантемира к «козляткам», прибавляю, что там, где он не находил нужным писать языком пасторали, он всегда изображал их существами очень грубыми и

[1]) Тогда еще был в силе так называемый (неправильно) закон о майоратах. Кн. Дмитрий Кантемир предоставил правительству решить, какой именно из его сыновей должен владеть его имениями.

тупыми. В одном из своих писем о природе и человеке он, распространяясь о власти ума над телом, замечает, между прочим, что власть эта «не точию господственна», но и слепа, так как «мужик простои и бессмысленный» (sic!) умеет ворочать своим телом не хуже философа, искусного в анатомии [1]). В другом месте он говорит, что возникшая в народной среде латинская комедия первоначально «столько же груба и гнусна была, каковы суть наши деревенские игрищи» [2]). И он так поясняет, почему она не могла не быть гнусной и грубой: «Не трудно судить, каковой грубости были те стихи, которые

голое движение природы производило в мужиках, всякого искусства лишаемых, без всякого предыдущего размышления» [3]).

Покойный В. Стоюнин отказывался признать Кантемира исключительным сторонником той или другой партии. «Его мы можем назвать сторонником только науки, — писал он, — в чем и видим тесную его связь с эпохою Петра Великого» [4]). Это неправильно. Даже по своим политическим воззрениям Кантемир, вместе со всей «ученой дружиной», примыкал к совершенно определенной партии: он не был бы связан с эпохой Петра, если бы это было иначе. Но, оставляя в стороне его *политические взгляды,* надо иметь в виду, что, как бы ни дорожил данный писатель интересами науки, его миросозерцание всегда носит на себе глубокие следы свойственных его времени *социальных* отношений. Кантемир в самом деле очень дорожил интересами просвещения. Этот важный дипломат [5]), печатно соглашавшийся с тем, что

[1]) «Сочинения, письма и избранные переводы кн. А. Д. Кантемира», изд. и ред. П. А. Ефремовым. СПБ. 1868, т. II, стр. 61.

[2]) Там же, т. I, стр. 529, примечание.

[3]) Там же, стр. 528. Тут он прибавляет, что «мы н сами много таких стихов имеем, которые суть вымысл простолюдного нашего народа». Для примера он приводит начало одной из народных песен об Иване IV:

Как в годы то старые
Во времена было прежные,
При старом, при славном царе,
При Иване Васильевиче;
Соизволил да царь-государь,
Соизволил жениться-ста... и т. д.

Читатель согласится, может быть, что «песни» Кантемира были бы более удобочитаемы и отличались бы более «приятным звоном», если бы походили на подобные «вымыслы простолюдного нашего народа».

[4]) См. его вступительную статью к «Сочинениям Кантемира», стр. XLV первого тома.

[5]) Он умер, — 31 марта 1744 г., 35 лет, — тайным советником.

серьезному человеку прилично заниматься литературой только «промежду дела», потерял интерес к книгам лишь за два-три дня до своей смерти, а потеряв этот интерес, вполне основательно решил, что пора готовиться к смерти. И при всем том он, — подобно Татищеву, — до конца своих дней был идеологом европеизованного русского дворянства. Именно потому его миросозерцание и представляет интерес для историка русской общественной мысли. Пример Кантемира, может быть, еще с большею ясностью, чем пример Татищева, показывает, каким образом просвещенные представители русского *привилегированного сословия* приспособляли к нашему домашнему употреблению идеи, постепенно вырабатывавшиеся в процессе борьбы *непривилегированного* населения Запада с тамошней *духовной и светской аристократией.* Говоря о Татищеве, я уже обращал внимание читателя на то, что во взглядах этого замечательного деятеля пореформенного времени *светский элемент* решительно преобладал над *богословским.* То же приходится сказать и о Кантемире. Ом чрезвычайно охотно распространялся о морали. Но, распространяясь о ней, он апеллировал не к житиям святых, как это делали моралисты Московской Руси, а к таким светским, — и даже языческим, — писателям, каким был, например, Гораций. Но сильно и нелепо ошибались те его современники, которые, видя преобладание в его взглядах светского элемента над богословским, подозревали его в безбожии. «Афеистом» он был еще гораздо меньше, нежели Татищев. Уже в юности им, как видно, владело религиозное настроение: первым

печатным его трудом явилась (в 1727 г.) «Симфония на псалтырь». И до гробовой доски его не переставали занимать основные вопросы религии. Его письма о природе и человеке представляют собою попытку отстоять религиозные верования, которые начали тогда сильно колебаться на Западе под влиянием просветительной философии [1]). Дело только в том, что и

[1]) Кстати, письма эти написаны Кантемиром, во время уединенного пребывания на минеральных водах, для какой-то русской дамы. Излагая свои философские взгляды, русские писатели и впоследствии любили обращаться к женщинам.

Статья безвременно умершего Д. Веневитинова о философии озаглавлена «Письмо к графине NN». К даме же обращался и Чаадаев в своих «философических письмах». Положим, что тут не обошлось без подражания, по крайней мере, у Кантемира: «Разговоры о множестве миров господина Фонтенелла, парижской академии секретаря», которые наш автор «перевел и потребными примечаниями изъяснил» еще в 1730 г., выводят на сцену «жену», не обладающую никакой научной подготовкой («николи ничего не слыхивала о таких делах», как читаем мы

здесь, как в области морали, он обращался не к духовным, а к светским писателям. Упорно отстаивая свои религиозные верования, он апеллировал не к теологии и не к священному писанию, а к философии.

Как трудно было в тогдашней России писать о философских вопросах, хорошо видно уже из предисловия и из примечаний Кантемира к книге Фонтенелля. «Мы до сех пор недостаточны в книгах филозофских, — говорит он, — потому и в речах, которые требуются к изъяснению тех наук». Он имел полное право выразиться сильнее: у нас не было даже сколько-нибудь выработанной и понятной читателям философской терминологии. Кантемир должен был начать с объяснения того, что же собственно называется философией. И он терпеливо я добросовестно исполнял труд просветителя, вынужденного начинать буквально с азов.

«Философия, — толковал он, — слово греческое, по-русски—*любомудрие.* Сим генеральным именем разумеется основательное и ясное знание дел естественных и преестественных, которое достается прилежным рассуждением и исследованием о тех делах». Затем следует сообщение о том, что философия разделяется на логику, нравоучение, фисику (sic!) и метафисику. Сообщение это, как и следовало ожидать, сопровождается новыми пояснениями.

«Логика, или *словесница,* учит право о вещах рассуждать и известные истины другому правильно доказывать».

«Нравоучение, или *ифика,* учит добрым нравам, т. е. дает знать худые и добрые дела и представляет правила, по которым доставать себе добродетели и отбегать злонравий».

«Фисика, или *естественница,* учит познавать причину и обстоятельства всех естественных действ и вещей».

в Кантемировом переводе), но одаренную ясным приходным умом. Однако и подражание представляет здесь собою довольно характерное явление. Просвещенные идеологи европеизованного слоя русского дворянства подражали не педантическому тону ученых немецких семинаристов, а светскому тону французских писателей, усваивавших лоск дворянской культуры Франции. Старый Бальзак (т. е. Жан-Луи Бальзак) поставил себе задачей «de civiliser la doctrine en la dépaysant des collèges la délivrant des mains des pédants». Логика положения рано поставила ту же задачу и перед идеологами русского дворянства XVIII и XIX столетий. Но первый шаг всегда труден. Даже европеизованные русские дворяне много уступали французским в изяществе. Это отразилось и в литературе. У Фонтенелля ученый собеседник любознательной, но неученой дамы говорит ей, разумеется, *вы,* а в пере-воде Кантемира он обращается к ней на *ты.*

«Метафисика, или *преестественница,* дает нам знание *сущего в* обществе (? —- *Г. П.*) и о сущих бесплотных, каковы суть душа, духи и Бог» [1]).

В. Стоюнин заметил, что перевод книги Фонтенелля можно считать первым шагом в развитии нашего философского языка. Это тем более верно, что, — как указал тот же исследователь, — Кантемир подчас весьма удачно справлялся с терминологическими трудностями. Он стал употреблять такие выражения, как *начало* (элемент) и *средоточие* («средняя точка, центр» — пояснял он). Греческое слово *идея* он называл по-русски понятием и т. д. Бедный Кантемир! Ему приходилось доводить до сведения своих читателей не только то, что значит слово *система* или слово *материя,* но также и то, что Париж — столица Франции, а «феатр» есть слово греческое, означающее, «то место, где комедианты стоя изображают действо свое». Читатели, нуждавшиеся в подобных разъяснениях, еще более нуждались, разумеется, в таких примечаниях, из которых они узнавали, например, что Пифагор, «начальник секты италиянской, был философ греческой, в царствование Тарквиния, последнего короля римского, 586 лет прежде Христа», между тем как Аристотель был «начальником» перипатетической секты и родился в Стагире, городе македонском, в 384 г. «прежде Христа». Для нас теперь некоторые из этих примечаний ценны в качестве указаний на собственные философские воззрения Кантемира. Нынешнему читателю интересно будет услышать от него такой отзыв о философии Пифагора: «Она была гораздо сумятна, для того что он склонен был к суеверию волшебства, к которому, как и к некоей непонятной арифметических числ силе, причину многих действ естественных приписывал». Из древних греческих философов наш автор одобрял, как видно, больше всех других Аристотеля, который, по его словам, так в философии «предуспел», что первый «науку сию в порядочное расположение привел, положив ее основание и различив ее части». Следуя за Фонтенеллем, Кантемир отмечал и слабую сторону метода Аристотеля: «Со всем тем невозможно будучи одному всех вещей силу и действа вызнать, когда причину чему уразуметь не знал, говаривал, что то делается *сокровенною силою».*

Между мыслителями нового времени он с особенной похвалой называет в одном из примечаний Декарта, который «древнюю аристотель-

[1]) Сочинения, т. II, стр. 392—393. Подчеркнуто у Кантемира. *В общем,* язык Кантемира лучше в прозаических его сочинениях, нежели в стихах.

скую философию столько исправил, что его и ему потом следовавших трудами стали мы яснее разуметь тварь всю». Наибольшую заслугу Декарта составляет, по Кантемиру, то, что он «в философии своей доказательства употребляет математические, т. е. вероятные, и толкует всякие вещей действа ясно, или признает, что их причину не разумеет» [1]). Так говорится в примечании. Но в одном из писем Кантемира к «командиру» Академии наук барону Корфу находится просьба исправить ошибку, закравшуюся в примечание 36-е к переводу Фонтенелля: «L'Article «Декарт», il faut ôter la description de sa philosophie, car elle convient plus à M-r Newton» [2]). Барон Корф, должно быть, не исполнил просьбы Кантемира, потому что «статья» о Декарте безо всяких оговорок напечатана, по крайней мере, в издании П. А. Ефремова.

Что Кантемир мог написать о философии Декарта отзыв, по его же словам более подходящий к философии Ньютона, как будто пока-

зывает, что в ту пору, когда он делал свои примечании к Фонтенеллю, взгляд его на историю философских идей и методов не был вполне выработанным и ясным. Этому, впрочем, нельзя и удивляться, так как его сведения в области философии были гораздо менее обширны, нежели его литературные знания. По всему видно, что философские учения были знакомы ему лишь из вторых рук. Но Кантемир и не выдавал себя за специалиста по части философии. И хотя «статья» о Декарте подходит более к г. Ньютону, но от этого она не перестает быть интересной. Очень характерно для просветителя, каким был Кантемир, требование, предъявляемое им к философам: ясно толковать всяких вещей действа, или же прямо признавать, что причина данных действ неизвестна.

А всего замечательнее то, что сам же Кантемир совершенно забывал об этом требовании там, где речь шла о тех теоретических соображениях, с помощью которых он пытался отстоять свои религиозные верования. Тут он беспрестанно прибегал к тому приему, который, по его же словам, составлял слабую сторону метода Аристотеля: «Когда причину чему уразуметь не знал, говаривал, что то *делается сокровенною силою»*.

В сущности ничего другого, кроме ссылок на особого рода «сокровенную силу», и не заключают в себе его письма о природе и человеке.

[1]) Сочинения, т. II, стр. 405.

[2]) Там же, стр. 327. — Письмо написано по-французски. (Русский перевод: «Статья «Декарт», надо удалить описание его философии, потому что оно больше подходит к г. Ньютону».)

Однако и это понятно. Даже между передовыми французскими просветителями второй половины XVIII века, — и даже между деятелями великой революции, — очень немного было людей достаточно смелых духом для того, чтобы совсем не оставить места «сокровенной силе» в своем представлении о вселенной. Совершенно несправедливо было бы требовать подобной смелости от русского просветителя первой половины этого столетия.

Известно, что Ньютон, так хорошо умевший обращаться с математическими доказательствами и так решительно отказывавшийся прибегать к гипотезам в своих научных исследованиях, до конца своей жизни оставался религиозным человеком. В своем миропонимании он не сумел обойтись без «гипотезы бога». И Кантемир отнюдь не расположен был ставить это в вину великому английскому естествоиспытателю. Напротив! Он верил в бога и, видя, что вера в него стала колебаться в среде наиболее просвещенных людей наиболее просвещенных стран Европы, особенно дорожил философскими доводами в защиту бытия божия. Наиболее убедительным казался ему едва ли не самый слабый между ними: так называемый *физико-теологический* довод. Кантемир не перестает на всевозможные лады излагать и повторять его в своих философских письмах [1]).

Чтобы дать понятие о ходе его мыслей, я сделаю довольно длинные цитаты из его восьмого письма.

[1]) Впрочем, говоря о физико-теологическом доказательстве бытия божия, надо помнить, что ему вообще очень посчастливилось в XVIII в. и что на это была своя причина. «Оно, казалось, с высшей точки зрения примиряло самые строгие требования науки относительно причинного взгляда на природу с потребностями религиозного чувства», — говорит Виндельбанд («История новой философии», т. I, СПБ. 1908, стр. 248). И он справедливо прибавляет: «Это воззрение было пригоднее всех остальных, чтобы поставить на место исторического откровения естественное и

таким образом отстранить вероисповедания доводом научного разума» (там же). С точки зрения старых понятий даже и этот половинчатый взгляд должен был представляться чудовищным. И мы знаем, что Кантемира подозревали в неверии. В 1757 г. императрице Елизавете представлен был «Доклад о книгах противных вере и нравственности», в котором Синод просил запретить указом, «дабы никто отнюдь ничего писать и печатать, как о множестве миров, так и о всем другом, вере святой противном и с честными нравами несогласном, под жесточайшим за преступление наказанием, не отваживался, а находящуюся бы ныне во многих руках книгу о множестве миров, Фонтенелля, переведенную... князем Кантемиром.., указать везде отобрать и прислать в синод» (Сочинения Кантемира, т. II, стр. 446). Бывший сторонник Петровской реформы, М. П. Аврамов, ставил Кантемиру в большую вину признание им системы Коперника *(Чистович,* назв. соч., стр. 692).

Он говорит там, подводя итог всем своим предыдущим рассуждениям:

«И тако мы довольно видели следы божественные или, так сказать, печать живого Бога во всем том, что называют творение натуры; когда же все тонкости лишние оставим, то первым взором увидим руку, которая держит все части света, небо и землю, звезды, растущее, живущее, наше тело, наш ум; все являет порядок, точную меру, премудрость, искусство, дух вышний и владычествующий над нами, который так как душа целого света и который все ведет к своему концу от начала своего тихо, нечувствительно, но притом всемогущий» [1]).

Далее Кантемир утверждает, что премудрость, которая есть в каждой твари, очевидна даже «всякому несмысленному человеку». Она сделалась бы еще поразительнее, если бы «мы вступили во все изобретения и доказательства физики, сбирая самые сокровенные части во всяком существе и во всяком звере рассматривая крайнее искусство механики совершенной». Но в этом нет надобности, так как нам и без того ясно, что «Бог един, всемогущ и властен над нами и от него единого человеческое зависит счастие, и для того мне с моей стороны повиноваться воле его должно и почитать божественное его определение в моей жизни» [2]).

Наш автор, — заметьте это, — очень хорошо знает, что именно можно возразить против «доказательств» этого рода. «Прежде были философы и ныне может быть есть их подражатели, которые мне на сие мое доказательство скажут, — говорит он в следующем письме, — что все сии разговоры о искусстве и премудрости видимой в натуре не что иное как софизм, неправильное заключение разума... вся натура, они мне скажут, в пользу человеку, но ты худо заключил, что она сделана с нарочным искусством ради человека, разве хощешь, сам себя обманывая, искать и находить то, чего не бывало» [3]).

Но Кантемир «е вдумывается в это возражение. Он только отмахивается от него, повторяя все тот же физико-теологический довод. «Что скажут, — спрашивает он, — о таком человеке, который самую субтильную философию знать чает и хочет слыть философом, но, войдя в дом, уверять и спорить станет, что он единою нечаянностью по-

[1]) Там же, т. II, стр. 81.
[2]) Там же, т. II, стр. 81—82.
[3]) Там же, т. II, стр. 82.

строен и что искусство и прилежность ничего не прибавили для покою и пространства жителям» и т. д. [1]).

Тут очень нетрудно было бы уличить его в «софизме, неправильном заключении разума». В самом деле, для доказательства правильности физико-теологическою довода Кантемир заранее предпо-

лагает его правильным [2]). Но моя задача состоит здесь не в там, чтобы спорить с Кантемиром, который во всяком случае имел ту заслугу, что был одним из самых первых по времени русских писателей, вплотную подходивших к философским вопросам, а в том, чтобы дать читателю возможность составить себе правильное представление о его философских взглядах. Поэтому я буду не критиковать, а только излагать.

Само собою разумеется, что идею о боге наш автор считает *врожденною* человеку. «Сия идея, — говорит он, — всегда со мною присносущна, и действительно со мною родилась» [3]). Как нельзя более понятно и то, что он признавал наличность в человеке *двух* «естеств» и что самая эта наличность служила ему новым доказательством бытия божия: «Натура души моей совсем отменна от тела. Кто такие разные существа совокупил вместе « во всех операциях держит в согласии? Сие соединение не может быть так, как от существа всевышнего, которое два рода совершенства соединило в свое бесконечное совершенство» [4]).

Это плохо изложено [5]), но рассуждение ведется здесь, как видно, в духе Декарта, философия которого оставила глубокий след в уме Кантемира.

[1]) Там же, т. II, стр. 83.

[2]) Кроме того, уже Спиноза обнаружил слабость физико-теологического довода. Люди находят в природе много вещей, помогающих им достигать их целей. Поэтому они смотрят на природу с точки зрения своей пользы. «Принявши вещи за средства, они не могли думать, чтобы эти вещи сделались сами собою: но посредствам, какие они имеют обыкновение приготовлять сами для себя, они должны были прийти к заключению, что есть, один или несколько правителей природы, одаренных свободой, которые обо всем для них позаботились и все сделали для их пользы». («Этика», перевод В. И. Модестова, стр. 45.) Неизвестно, слышал ли когда-нибудь Кантемир об этом соображении Спинозы. Впрочем, если и слышал, то должен был оттолкнуть его от себя, как совершенно не соответствовавшее тому, чего сам он искал в философии.

[3]) Там же, т. II, стр. 76.

[4]) Соч., т. II, стр. 79.

[5]) Не забудем, что философские письма Кантемира дошли до нас в очень плохом списке.

У Декарта же заимствовал Кантемир и свое учение о свободе воли. «Моя воля так от меня зависит, — писал он, — что в том ни на ком взыскивать кроме меня не можно, если я не захочу того, что надобно хотети; когда я к чему имею волю, я волен не иметь; когда же не имею, я волен иметь; я в моей воле свободен... Я чувствую волю размышляющую, которая к согласному или противному еще обратиться может, к тому или другому объекту; а иной причины той моей воли не знаю, как та же самая воля» [1]).

При таком понимании свободы воли вопрос об ответственности людей за их поступки решается до последней степени просто. «Сия власть в делах моих, — рассуждает Кантемир, — чинит меня винным и недостойным прощения, когда я хочу худого, а напротиву хвалою венчает, когда я добрую имею волю. Сие есть самое основание достоинства и недостоинства; сие учиняет правильным наказание или награждение; от сего побуждают, постигают, грозят и обещают; сие есть истинное основание прямого порядка и наставления во нравах и нашей жизни» [2]).

Около ста двадцати лет после того, как написаны были эти строки одним из первых идеологов русского дворянства, один из первых идеологов русского пролетариата, Чернышевский, внушал своим читателям, что когда человек поступает дурно, то, внимательно

всмотревшись в обстоятельства его жизни, мы увидим в его дурных поступках не вину его, а беду его. И с ним согласны были все наши просветители шестидесятых годов XIX столетия. Учение Чернышевского и его единомышленников было гораздо гуманнее, нежели учение Кантемира. Но всему свое время. Странно было бы ожидать от птенца Петрова таких взглядов, которые как будто грозят поколебать «основание прямого порядка». Да и на Западе подобные взгляда в эпоху Кантемира только еще подготовлялись ходом развития общественной жизни в наиболее передовых странах.

В одном из писем о природе и человеке (именно в четвертом) есть очень толковое изображение того, что Молешотт назвал впоследствии *круговоротом жизни.* «Пища, будучи бездушна, животворит зве-

[1]) Там же, та же стр. — Спиноза говорил: «люди воображают себя свободными потому, что сознают свои желания, и стремления, тогда как о причинах, которые располагают их к желаниям и стремлениям, поелику они им неизвестны, они и во сне не думают». («Этика», стр. 44.) Как видим, Кантемир тоже «и во сне» не думал об этих причинах.

[2]) Там же, стр. 80.

ря, — читаем мы там, — и потом сама бывает зверем; части прежние тела его исчезли нечувствительно в непрестанной лремене; что было за четыре года лошадь, уже прах и гад один остался, а что овес было и сено, то стало та самая сильная лошадь» [1]). Но если «бездушная» пища животворит зверя, если овес и сено превращаются в лошадь, а лошадь с течением времени становится «прахом и гадом», то это значит, что между организмом, обладающим *чувствительностью,* и *«бездушной»* материей нет той пропасти, которую придумали дуалисты. Правда, последователь Декарта сказал бы нам, что лошадь, как и всякое другое животное, не обладает чувствительностью. Однако в глазах Кантемира это выражение было бы неосновательным. Он утверждает, что «скот, хотя во многом несмыслен, в некоторых делах очень (т. е. имеет очень большой смысл. — *Г. П.*), и для того нельзя почитать, чтоб в сей машине не было резону» [2]). Но ведь из этого следует, что в лошадиной машине «резон» является продуктом поглощения ею «бездушной пищи». Как же согласить это с непоколебимым дуализмом Кантемира?

Затруднение опять обходится у него с помощью гипотезы творца: «Всякое движение, которое отнимает силу, требует подкрепления, и для того находим покой в забвении или сне... Кто определил сие междучасие и кто усвоил время, которого для покою необходимо требуют утомленные члены» [3]), и т. д.

Материя, — *гнусная* материя, как называет ее Кантемир, — сама по себе инертна. Только воля божества приводит ее в движение. Кантемир твердо убежден также в том, что «материя не может думать» [4]). Однако он допускает на минуту, что это для нее возможно, и опять выдвигает довод от «междучасия»: «Надобно, чтоб была некоторая степень движений, в которых оная материя не помышляет о том (т. е. не обладает сознанием. — *Г. П.*); другие наступают (т. е. достигается другая «степень» движения. — *Г. П.*), в которых (на которой. — *Г. П.*) она вдруг станет познавать себя и рассуждать. Кто избрал точную степень их движений, кто нашел линию, по которой части в движение приходят, кто нашел меры точности, величину и фигуру, которые всякая часть приемлет и иметь нужно, чтобы в своем обращении не потерять препорции между собою?» [5]).

[1]) Там же, т. II, стр. 46.

[2]) Там же, стр. 48—49. Ср. также стр. 58.

[3]) Там же, стр. 46.

[4]) Там же, стр. 58.
[5]) Там же, стр. 49.

К материализму Кантемир относится, конечно, с полным пренебрежением. «Все философы эпикуровой секты так слабы в своих смятениях, — пишет он, — что они ни с которой (стороны) ясным доказательством утвердить не могут, признают атомы вечные, отчего не знают». Вообще «эпикуры сами своими принципиями себя в неправости изобличают» [1]). Кроме «эпикуров», он, по-видимому, не имел представления ни о каких других материалистах. Да и насчет «эпикуров» у него встречаются отзывы, резко противоречащие один другому. В своем примечании к тому месту одного из переведенных им писем Горация, где упоминается ионийский поэт «Мимнермус», Кантемир, сообщив, кто был и когда жил Мимнерм, прибавляет: «Сей стихотворец крайнее блаженство поставлял в сластолюбии... одним словом в насыщении всякой похоти; которое мнение с 300 лет после «его более основал Эпикур философ, начальник секты эпикурской» [2]). Невозможно высказать более отрицательное (и более несправедливое) суждение о системе Эпикура. Но Гораций тоже причислял себя к «стаду Эпикурову», а Кантемир очень высоко ставил Горация. И ют, когда любимый его латинский поэт, в первом послании к Меценату, дает понять, что следовать Аристиппу, — учение которого он отождествляет здесь с учением Эпикура, — значит *вещи себе, а не себя вещам* подчинять, Кан-гемир спешит сделать примечание, в котором читаем: «И правда, секта аристипова и эпикурская то всего лучшее в себе имела, что можно было по их науке все употреблять, но ничему над собою власть не дая» [3]). Он «е замечает, что *подобная* «наука» чрезвычайно далека от совета предаваться «сластолюбию и всякой похоти».

Еще раз: Кантемир лишь очень поверхностно знал историю философии и далеко не всегда сводил концы с концами в своих суждениях об отдельных философах. Татищев мыслил логичнее и основательнее [4]).

[1]) Там же, т. II, стр. 88.
[2]) Там же, т. I, стр. 434—435. Ср. примечание на стр. 394 того же тома.
[3]) Сочинения, т. I, стр. 394—395.
[4]) В бытность свою в Париже Кантемир очень дружил с Пьером Моро де Мопертюи, но Мопертюи (1698—1759), много писавший о философских предметах подходил к ним с несравненно большей силой мысли, нежели Кантемир. (Вольтер напрасно насмехался над ним.) Приходится прямо удивляться тому, что беседы с Мопертюи оказали так мало влияния на философские понятия Кантемира. Ничтожные размеры этого влияния могут быть объяснены только тем, что ум нашего просветителя был мало открыт для действительно глубоких вопросов философии. Правда, главные сочинения Мопертюи появились уже после смерти Кантемира. Но ведь не вдруг же дошел их автор до заключающихся в них важных философских теорий.

Но как ни слабы доводы, выдвигаемые Кантемиром в своих философских письмах, они заслуживают нашего внимания не только потому, что являются первыми плодами работы европеизованной русской мысли в области «любомудрия» и «преестественницы», но еще и потому, что очень многие из тех вопросов, которые стремился, хотя и без успеха, решить Кантемир, не переставали занимать русских просветителей до Чернышевского и Добролюбова включительно. Таков был, например, вопрос о свободе воли и о теоретической основе права наказания. Скажу больше: Чернышевский и Добролюбов, — самые выдающиеся и самые благородные образцы типа русских

просветителей, — тоже не мало говорили о материализме. Конечно, они были знакомы с ним несравненно основательнее, нежели Кантемир, и, кроме того, в противоположность Кантемиру, относились к материалистической «секте», — особенно в лице современного RM «начальника» ее, Фейербаха, — с безраздельным сочувствием. Но эта разница была вызвана обстоятельствами, выяснение которых и составит одну из важнейших задач моей дальнейшей работы.

Нравственные понятия Кантемира навлекли на него впоследствии упрек в недостатке строгости и в эклектизме. Так, по мнению А. Д. Галахова, у него не было положительных, безусловных требований суровой добродетели, — таких требований, при которых становятся смешны все полудобродетельные поступки... Философия Кантемира стыдлива и несмела, как его характер: она проповедует добро, боясь; поражает порок, краснея. Характеризуя эту нравственную философию, Галахов сравнивал ее с эпикурейской моралью Горация, как известно, принадлежавшего к числу любимых авторов Кантемира, Вся практическая философия Горация сжимается в две или три идеи, в два или три желания: «Покой, приятная умеренность, беззаботность о будущем дне — вот что ему нужно... Такой философ, как Гораций, конечно, не будет преследовать общественные недостатки: он только посмеется над ними. Тон его сатир будет ровный, как и у Кантемира. Вот почему так ясно сходство между ними».

Сходство между ними действительно ясно. Но это — чисто поверхностное сходство. Тут едва ли не больше, чем где-нибудь, нужно помнить, что когда двое говорят одно и то же, это не одно и то же. «Златая умеренность» Горация явилась плодом общественного индифферентизма, распространившегося в Риме вследствие упадка республики. Это — *«упадочная»* мораль. «Златая умеренность» Кантемира произошла совсем из другого источника. Она свидетельствовала не об *упадке*

данною строя, а только о некоторых, правда, очень тяжелых, особенностях положения той новой общественной группы, которая явилась плодом Петровской реформы и которой суждено было расти и подниматься вверх, хотя и с мучительными для ее членов остановками.

Птенцы гнезда Петрова явились родоначальниками русской интеллигенции. После смерти царя-реформатора, к деятельности которого приурочивались, как известно, все их упования, птенцы почувствовали себя в довольно затруднительном положении, которое начало казаться почти безнадежным в царствование Петра И. В своей первой сатире, написанной в 1729 г., двадцатилетний А. Кантемир горько жаловался, вспоминая время преобразований, представлявшееся ему каким-то золотым веком:

К нам не дошло время то, в коем председала
Над всем мудрость, и венцы одна разделяла,
Будучи способ одна к вышшему восходу.
Златой век до нашего не дотянул роду;
Гордость, леность, богатство, мудрость одолело,
Науку невежество местом уж посело.
Под митрой гордится то, в шитом платье ходит,
Судит за красным сукном, смело полки водит!
Наука ободрана, в лоскутах обшита,
Изо всех почти домов с ругательством сбита,
Знаться с нею не хотят, бегут ее дружбы,
Как страдавши на море корабельной службы.

Что оставалось делать молодому просветителю в эту безотрадную

эпоху? Ожидать лучшего будущего, а в ожидании его помнить, что удалиться от зла иногда значит сотворить благо. Кантемир, е самом деле, нашел, что только это ему и оставалось. Сообразно с эти он и решил устроить свою жизнь:

Таковы слыша слова и примеры видя,
Молчи, уме, не скучай, в незнатности сидя.
Бесстрашно того житье, хоть и тяжко мнится,
Кто в тихом своему углу молчалив таится,
Коли что дала ти знать мудрость всеблагая,
Весели тайно себя, в себе рассуждая
Пользу наук; не ищи, изъясняя тую,
Вместо похвал, что ты ждешь, достать хулу злую.

Тут вся тайна «златой умеренности», правилам которой следовал наш автор. Тогдашний российский «шляхтич» обязан был служить. Но, выступая на обязательную служебную арену, можно было захватить с собою больший или меньший запас честолюбия. Кто стремился

достичь степеней известных, тому прежде всего нужно было не стесняться в выборе средств. А кто был разборчив в этом выборе, тому приходилось *«сидеть в незнатности». А «не скучать»,* сидя в ней, мог только тот, кто был, по выражению того же Кантемира, малым доволен.

И для чего нужно было, по Кантемиру, довольствоваться малым? Для того, чтобы остаться хоть относительно свободным. А для чего нужна свобода? Для того, чтобы тайно веселить себя усвоением всеблагой мудрости и рассуждением о пользе наук. Будем справедливы и скажем, что только выдающийся в нравственном отношении человек мог «веселить» себя *таким образом.*

Кантемир серьезно собирался следовать тому совету, который он давал «уму своему». Он сам говорит, что первая его сатира была написана им для одного только «провождения времени», без всякого намерения ее «обнародить». Тогда он чувствовал себя почти совсем одиноким. «Но, — продолжает он, — по случаю один из его приятелей, выпросив ее прочесть, сообщил Феофану, архиепископу новгородскому, который ее везде с похвалами стихотворцу рассеял и тем не доволен, возвращая ее, приложил похвальные сочинителю стихи (уже знакомые нам стихи «Не знаю, кто ты, пророче рогатый» и т. д. — *Г. П.*) и в дар к нему прислал книгу: *«Геральдия о богах и стихотворцах.* Тому архипастыру следуя, архимандрит Кролик многие в похвалу творцу стихи надписал... [1]), чем он ободрен, стал далее прилежать к сочинению сатир». Убедившись в том, что его литературная деятельность может встретить сочувствие, Кантемир перестал ограничиваться тайным увеселением самого себя посредством усвоения всеблагой мудрости и выступил на тот «путь преславный, коим, — по выражению Прокоповича, -книжные текли исполины».

Прокопович, обладавший не только волчьим ртом и лисьим хвостом, но также большим умом и широким образованием, отлично знал, что «течи» по этому пути не весьма было удобно в тогдашней России. Но он утверждал, что кого «объемлет» Аполлон (тогда у нас писали: *Аполлин*), не должен бояться «сильных глупцов».

Плюнь на их грозы: ты блажен трикраты.
Благо, что дал Бог ум тебе толь здравый;
Пусть весь мир будет на тебя гневливый,
Ты и без счастья довольно счастливый.

[1]) Латинские стихи:

Ars est celebris stultitiae genus... и т. д. См. Сочинения Кантемира, издание Ефремова, т. I, стр. 23—24.

Это сказано превосходно. Но я поставлю читателю на вид, что быть счастливым без счастья можно было тогда, именно только держась дорогой Кантемиру умеренности.

При Анне положение «ученой дружины» несколько улучшилось. Но и при ней оно было далеко не из легких. А главное, и при ней достигать степеней известных можно было только с помощью всякого рода интриг и происков. Как прекрасно сказал Чистович, влиятельные деятели того времени в смутах и интригах низвергали один другого, чтобы в свою очередь и себе ожидать такой же участи. Вспомним сыскные подвиги «дивного первосвященника» Ф. Прокоповича. При таком положении дел «златая умеренность» Кантемира являлась единственным средством обеспечить себе некоторую долю благородной независимости.

Любознательность Кантемира распространялась также и на *политику*. Иностранный его биограф, аббат Венути, сообщает, что он очень увлекался сочинением Боссюэ «Politique sacrée». Это сочинение, очевидно, есть не что иное, как «La politique tirée des propres paroles de l'écriture sainte». По словам того же биографа, «собственная политика русского посла вытекала более из философии священного писания и интересов человечества, чем из книги Маккиавелли и придворных хитростей. В политике, по его мнению, должна быть одна цель — забота о счастии людей; а имя отца народа должно определять обязанности государя; интересы государя и народа всегда должны идти рука об руку, и если государи н могут покупать себе безопасность и спокойствие ценою народной крови, то проливать ее только для удовлетворения своего честолюбия значило бы нарушить законы природы и правления» [1]). Кантемир думал, что счастливыми могут быть только те народы, у которых правила эти лежат в основе государственного управления. Наконец, от того же биографа мы узнаем, что однажды Кантемир сказал, выходя из театра, где он встретился с одним министром: «Я не понимаю, как можно спокойно отправиться в театр, подписав смертный приговор сотням тысяч человек». Тогда только что была объявлена война [2]).

Это замечание рисует Кантемира с очень привлекательной стороны. А что сказать о его увлечении политикой Боссюэ?

[1]) Сочинения, т. I, стр. XCVIII. (Вступительная статья В. Стоюнина.)

[2]) Там же, стр. XCIX. По-видимому, речь идет о войне за испанское наследство. Но аббат Флёри, которым, вероятно, и было подписано постановление об участии Франции в этой войне, как кажется, не одобрял его.

Кантемир, живя в России, как н все птенцы Петровы, был убежденным сторонником абсолютизма и, как увидим ниже, принимал довольно деятельное участие в дворянской реакции против попытки верховников ограничить власть императрицы Анны. Когда он приехал в Париж (в сентябре 1738 г.), тамошние просветители уже вели энергичную атаку против «старого порядка». Политический вопрос еще не ставился тогда в резкой форме; однако оппозиционное настроение передовых умов довольно ясно сказывалось в большом их сочувствии к английским приемам управления и в требовании гражданского равенства. Монтескье, посетивший Англию в 1729 г., писал оттуда: «A Londres, liberté et égalité» (в Лондоне — свобода и равенство), а десять лет спустя маркиз д'Аржансон доказывал

необходимость уничтожения дворянских привилегий: «Les nobles ressemblent à ce que sont les frelons aux ruches» (благородные похожи на трутней в улье), — говорил он. Что наш член «ученой дружины» не остался равнодушным к тому, что происходило тогда в передовых литературных кругах Франции, доказывается сделанным им переводом вышедших еще в 1721 г. «Lettres persanes» Монтескье [1]). Да и Фонтенелль, тоже переведенный Кантемиром, может считаться одним из ранних деятелей просветительной литературы во Франции [2]). Но мы знаем, что своих религиозных верований Кантемир не утратил. Уцелела как будто и его преданность самодержавию: увлекаться «Политикой» Боссюэ мог только сторонник неограниченной монархии.

Однако тут необходима существенная оговорка. Боссюэ был в своей «Политике» идеологом *французской абсолютной монархии, а не русского царизма.* Поэтому, энергично настаивая на том, что не может быть такой человеческой власти, которая стояла бы выше самодержавного государя, он тщательно различал *самодержавное* правление от *произвольного* (gouvernement que l'on appelle arbitraire). И в этом различении он вполне сходился с Бодэном.

Произвольное правление характеризуется у него четырьмя признаками.

Во-первых, подчиненные монарху народы находятся в рабской зависимости от него, они его крепостные (sont nés esclaves, c'est-à-dire vraiment serfs). Свободных людей между ними не существует [3]).

[1]) Перевод не сохранился.

[2]) По поводу его книги «Histoire des oracles» (1687) Г. Лансон говорит: «Tous les arguments purement philosophiques dont on battra la religion, sont en Principe dans le livre de Fontenelle».

[3]) Oeuvres complètes, v. XXIV, Paris 1885, p. 104 et 105.

Вторым признаком, отличающим произвольное правление от самодержавного, считается у Боссюэ отсутствие собственности в государствах, подчиненных произвольной власти монарха: все принадлежит государю (tout le fond appartient au prince).

В-третьих, такие государства имеют ту особенность, что в них монарх может располагать по своему произволу не только имуществом, но и жизнью своих подданных, обращаясь с ними, как с рабами.

Наконец, в-четвертых, государства, управляемые произволом государей, не знают другого закона, кроме этого произвола.

Боссюэ называет такую форму правления варварской и гнусной (barbare et odieuse). По его словам, она очень далека от французских нравов и потому не имеет места во Франции, управляемой самодержавными государями [1]).

В самодержавных государствах подданные сохраняют право собственности и свободу. Поэтому, Боссюэ называет такую форму правления также *законной* (légitime) [2]).

Эту характеристику целиком приняли бы не только Бодэн, «о и Юрий Крижанич. Интересно, что Боссюэ ссылается на тот же библейский рассказ, о котором вспоминает Крижанич, описывая, с своей стороны, признаки произвольного («людодерского») правления: рассказ о том, как «отписан» был на израильского государя виноградник несчастного Навуфея (Набока, как называл его, следуя латинскому произношению, Крижанич), побитого камнями за то, что осмелился не желать расстаться с наследством отцов своих. По мнению знаменитого французского прелата, бог строго наказал Ахава и Иезавель именно за

то, что они захотели произвольно распоряжаться имуществом, честью и жизнью своего подданного [3]). И опять нельзя не пожалеть, что у нас нет данных, которые указывали бы на то, какое впечатление производили подобные взгляды Боссюэ на Кантемира, знакомого не только с французской «законной» монархией...

Когда Кантемир говорил, что интересы государя и народа всегда должны идти рука об руку, он повторял одно из основных положений (propositions) «Политики» Боссюэ. В подлиннике положение это гласит так: «II n'y a que les ennemis publics qui séparent l'intérêt du prince de l'intérêt de l'Etat» (только враги общества могут отделять интерес госу-

[1]) *Bossuet,* Oeuvres, t. XXIV, p. 105.
[2]) Там же, стр. 105—106.
[3]) Там же, стр. 109. Так же думал и Крижанич.

даря от интереса государства) [1]). Но отсюда еще нельзя заключить, что русский сатирик и дипломат много задумывался о преимуществах «законной» формы правления перед произвольною.

В июне 1732 г., отвечая на письмо Остермана, который требовал от него известия о том, кто был автором одной английской статьи, предосудительной для русского двора, он писал: «Трудно знать все то, что в сем городе повсядневно печатается... Да и то, сиятельный граф... дерзаю, сказать, что... не знаю, будет ли гораздо полезно, потому что здешний народ волен... и убеждается гораздо более о том говорить, что говорить запрещено». Несколько лет спустя он в письме к императрице опять указывает «а привязанность англичан к свободе печати: *«И* подлинно агличане свободное печатание почитают за фундамент своей вольности» [2]). Но если Монтескье, попавши в Англию, завидовал свободе английского народа, то кажется, что Кантемир оставался к ней равнодушным. В его переписке совсем незаметно сочувствия к свободе.

Ввиду этого невольно вспоминаешь то равнодушие, с каким относились к литовской вольности московские иноки, попадавшие в зарубежные православные монастыри и слышавшие там, что «на Литве» можно свободно переходить из одной религии в другую. Они повторяли ссылки на эту вольность, но у них совсем не возникало желания перенести ее в Московское государство. И опять невольно возникает вопрос : неужели же наш просветитель был похож на этих иноков?

Имеющийся *в* нашем распоряжении материал для его биографии дает нам, — оставаясь, правда, не совсем ясным, — приятную возможность ответить на этот вопрос отрицательно. Аббат Венути говорит, что «его восхищала Англия, где парламент сдерживает власть монарха в определенных пределах и не позволяет ей стать выше законов, ограждая подданных от печальных последствий самовластия» [3]).

Неясность этого свидетельства состоит в том, что нелегко согласить восторг перед английской конституцией с увлечением «Политикой» теоретика французского абсолютизма Боссюэ.

[1]) *Bossuet,* Oeuvres, t. XXIV, p. 104.
[2]) *Кантемир,* Сочинения, т. II, стр. 97 и 99.
[3]) *В. Стоюнин,* Вступительная статья к сочинениям Кантемира (изд. 1867 г.), стр. LVI. Написанная Венути биография Кантемира приложена к французскому переводу сатир Кантемира. К сожалению, я не мог найти этого перевода в парижской Bibliothèque Nationale.

Неизвестно, как разрешались это противоречие в уме Кантемира. Аббату Венути наш сатирик говорил, что уже и в 1730 г. он умел ценить выгоды политической свободы, но находил, что при «настоящих условиях лучше было удержать существующий порядок». Этим будто бы и объяснялось его противодействие попытке верховников ограничить власть императрицы Анны. Вряд ли это было действительно так. Вернее, что в то время Кантемир, подобно Ф. Прокоповичу, являлся безусловным сторонником русского самодержавия, а впоследствии, когда он пожил за границей, у него открылись глаза на преимущества западноевропейских политических учреждений, и тогда он, желая успокоить свою совесть, додумался до оппортунистического соображения о «настоящих условиях». Но и тогда его политические взгляды оставались очень неопределенными, вследствие чего он мог распространять свое сочувствие и на французскую неограниченную монархию и на английскую конституцию. Определенной сделалась тогда только неудовлетворенность собственно русским монархизмом. Но все это, конечно, лишь предположения. Тут, повторяю, много неясного.

Много утомительных и бесплодных хлопот причиняли бедному русскому просветителю-дипломату иностранные писатели, непочтительно отзывавшиеся о наших порядках. В начале 1738 г. он долго возился с неким Локателли, которого считали автором книги «Lettres moscovites», предсказывавшей скорое падение власти немцев в России. «Я у искусных здесь юрисконсультов посторонним образом доведывался, можно ли бы его арестовать и наказать за сочинение помянутой книги», — писал он в Петербург. Выходило, что никак нельзя. Помимо всего прочего, помехой опять служила «вольность» английского народа. Досадуя на это вечное препятствие, а может быть, желая утешить петербургское правительство, Кантемир уверял даже, что английский народ «на всякий день в бесстыдных пасквинатах против самого короля и министров показывается». Не видя других способов наказать Локателли, он предлагал «своевольным судом чрез тайно досланных гораздо побить его». Если бы государыня «изволила опробовать» этот неоспоримо «своевольный» способ, то Кантемир готов был произвести его «в действо», находя нужным, правда, принять новые меры к тому, чтобы вполне убедиться в виновности предполагаемого автора «Московских писем» [1]).

[1]) Сочинения, т. II, стр. 101—102

Итак, очень похоже на то, что Кантемир оставался в насчет разницы между «законной» монархией, с одной стороны, *н* «произвольной», с другой. Но для историка русской общественной мысли важно уже то обстоятельство, что, знакомясь с политической литературой Запада, русские люди даже *от консерваторов вроде Боссюэ* могли заимствовать такие понятия, которые в России должны были представляться совершенно «завиральными».

Но если Кантемир и сохранил свою политическую невинность, то не надо думать, что ему, как писателю, нечего было сказать своим современникам. Между ним и большинством его читателей все-таки была огромная разница, почти пропасть, в смысле образования и умственного развития. В этом нас убеждают уже знакомые нам отчасти примечания его к своим переводам иностранных авторов. А еще больше убедимся мы в этом, внимательно рассмотревши, в другой связи, довольно разнообразное содержание его сатир.

Хотя он не считал литературу, а особенно поэзию, занятием, до-

стойным пожилого человека, достигшего более или менее известных степеней, тем не менее его влекло к ней, между прочим, также и сознание своей обязанности перед родиной. *Он хотел приносить пользу России своей литературной деятельностью.* По всей вероятности, не без колебаний взялся он за перевод произведений Анакреона, так как они не заключают в себе ничего нравоучительного. Во всяком случае, он оговорился заранее: «Хотя из помянутых песней должно бы признать, что Анакреонт был пьяница и прохладного житья человек, однако ж противное из многих писателей старинных усматриваем, почему нужно Удумать, что веселой его нрав к таким сочинениям причину подал» [1]). Переведенные им послания Горация очень нравились ему именно своим нравоучительным содержанием. «Почти всякая строка, — говорит он о них, — содержит какое либо правило, полезное к учреждению жития» [2]). Свои собственные «малые творенийца» он тоже писал потому, что ждал от них пользы к такому «учреждению». Он говорил: «Все, что я пишу, пишу по должности гражданина, отбивая все то, что согражданам моим вредно быть может». Но такую же цель советовал «рогатому пророку» преследовать в своей литературной деятельности «дивный первосвященник». Феофан Прокопович указывал ему:

[1]) Там же, т. I, стр. 342.
[2]) Там же, т. I. стр. 385.

А ты как начал течи путь преславный,
Коим книжные текли исполины,
И пером смелым мещи порок явный,
На нелюбящих ученой дружины,
И разрушай всяк обычай злонравный,
Желая доброй в людях перемены...
Кой плод учений не един искусит,
А дураков злость язык свой прикусит.

Этого благородного взгляда на задачи литературной деятельности держались просветители всех стран [1]). Наши просветители шестидесятых годов XIX столетия, с таким благородным увлечением предававшиеся литературной деятельности, — Чернышевский, Добролюбов, Писарев и другие, — тоже хотели преподать своим соотечественника ряд истин, полезных «к учреждению жития». Возможная тут разница вся сводится к *содержанию* этого ряда истин: Чернышевский и Добролюбов смотрели на вещи совсем не так, как Кантемир и Татищев.

Взгляд, согласно которому литература не есть дело, достойное солидного человека, совершенно не согласит со взглядом на нее, как на орудие устроения человеческого «жития». А между тем оба эти взгляда уживались в голове Кантемира, да и не одного Кантемира. Сначала это кажется странным. Но странность исчезает, если принять во внимание, что, усваивая себе учения западноевропейских просветителей, Кантемир, как и Татищев, не переставал быть идеологом служилого класса. В качестве такого идеолога он, опять подобно Татищеву, мог лишь в известной, довольно ограниченной мере, проникаться названными учениями. Весьма естественно, что далеко не всегда удавалось ему избегать очень заметных теперь для нас противоречий, как в своей жизни и деятельности, так и в своих понятиях.

[1]) О том, до какой степени господствовал этот взгляд в среде французских просветителей XVIII века, было писано очень много. Как на одно из недавних сочинений, укажу на книгу *Ф. Гэффа,* Le Drame en France au XVIII siècle. Paris 1910.

Особенного внимания заслуживает в ней третья часть, посвященная разностороннему выяснению влияния, оказанного просветительными идеями на изящную, — преимущественно драматическую, — французскую литературу.

ГЛАВА III

Непосредственное влияние Петровской реформы на ход развития общественной мысли

Всем известно теперь, какой дорогой ценой пришлось заплатить русскому народу за реформу Петра Первого. Ниже нам еще придется говорить о протесте народной массы против новых тягостей, наложенных на нее суровым преобразователем. Но реформа была вызвана общественной потребностью, назревавшей хотя медленно, но неуклонно. Поэтому народ не мог видеть одни только отрицательные стороны ее. Известные, правда, весьма и весьма немногочисленные представители его рано заметили те выгоды, которые она должна была принести России, и отнеслись к ней с сочувствием, иногда довольно сдержанным, а иногда доходившим до беспредельного восторга. Пока достаточно будет указать на Посошкова и Ломоносова. Потом нам нужно будет познакомиться еще с интересной семьей Каржавиных.

1. И. Т. Посошков

Самое замечательное сочинение Ивана Тихоновича Посошкова — «Книга о скудости и богатстве» — было напечатано в 1842 г. М. П. Погодиным. Когда Погодин ознакомился с его содержанием, то пришел к тому заключению, что ему посчастливилось открыть русского самородка, который [1]), «родясь лет за пятьдесят до Политической Экономик в Европе, постигал живо ее правила», и в некоторых отношениях был предшественником Адама Смита [2]).

[1]) Род. в 1652 или 1653 г., умер 1 февраля 1726 г.

[2]) Предисловие *М. П. Погодина* к первому тому сочинений Посошкова. Москва 1842 г., стр. VIII; см. статью того же историка в «Москвитянине» за 1842 г., кн. 3, стр. 101.

Такой взгляд на Посошкова как на экономиста был, если не во всей полноте, то отчасти принят другими исследователями, например, Брикнером. К этому надо прибавить, что в 40-х годах прошлого века некоторые практические планы Посошкова представлялись такими неслыханно-смелыми, что книга могла быть напечатана лишь с разрешения Николая I. Впоследствии сделалось известным, что он умер в Петропавловской крепости, куда попал, по всей вероятности, за свою книгу. Ввиду всего этого, он приобрел репутацию не только крупного теоретика, «о и смелого новатора. Таким считал его даже Н. П. Павлов-Сильванский, едва ли не наиболее вдумчивый изо всех тех, которые о нем писали.

Однако, на самом деле, Посошков был новатором не в большей мере, нежели консерватором. Притом, с точки зрения теории, ценность его взглядов далеко не так велика, как думали Погоди«, Брикнер, Миклашевский и Павлов-Сильванский. Но все это не уменьшает, а скорее увеличивает значение литературной деятельности его в глазах историка русской общественной мысли.

По словам Павлова-Сильванского, «Посошков был типичным *московским прогрессистом, в* противоположность *западникам* — Петру

и его ближайшим сотрудникам» [1]). Что же означает выражение *«московский прогрессист»?* Разберемся в этом.

Павлов-Сильванский называет мировоззрение Посошкова *старо-церковным,* прибавляя, что оно было «тесно связано с крайним суеверием»[2]). И он вполне прав, как в этом твердо убедится всякий, кто прочтет так« сочинения Посошкова, как «Зеркало, сиречь изъявление очевидное и известное на суемудриа раскольнича» и проч. (закончено в 1708 году) и «Завещание отеческое» (закончено в 1719 или в 1720 году).

Известный ростовский епископ Дмитрий, считавшийся авторитетом по части полемики с раскольниками, находил, что «Зеркало» Посошкова представляет собою «великое раскольников обличение и постыжение». С его точки зрения это, может быть, и верно. Тем не менее «благопотребная книжица» Посошкова является плодом такой же ограниченности кругозора, которая обнаруживается в раскольничьей проповеди и которая могла бы служить одним из самых сильных доводов против старых московских порядков. Ограниченность кругозора допол-

[1]) *Н. П. Павлов-Сильванский.* Сочинения, т. II, стр. 61, статья «Иван Тихонович Посошков».

[2]) Там же, стр. 54.

няется у Посошкова фанатической нетерпимостью. Он прямо говорит, что «Никон Патриарх добре учини, еже развращающих церковь повеле не повелевает имети»[1]). Обращаясь к приверженцам господствующей церкви, он ставит им на вид, что Иоанн Златоуст «никакова содружия... не повелевает имети» с врагами официального православия: «а аще кто с ними будет без боязни вместе пити и ясти, или н иное какое содружие имети, о таковых Златоустый рече, яко постраждут от Бога паче того истого врага Божия. И сего ради для Господа Бога гнушайтеся всех лжеучительствующих и возглаголющих хулу на каковые Святыни, и далече от них бегите, понеже вси сии врази суть Христовы, друзи же Антихристовы: вси бо лжепророцы и хулницы изъидоша от диавола и от сына его Антихриста» [2]). В том же духе высказывается Посошков и в «Завещании отеческом». «И о сем ты, сыне мой, не сумняйся, — говорит он там, — еже Божиих противников и от истинныя веры развратников смерти предавати: Сам бо Господь повелел древо. не творящее плода добра, посекати и во огнь въметати». Московский «прогрессист» не довольствуется советом жечь раскольников. Он облекает свой дикий совет в самую отвратительную форму. «Буде кости их останутца (после сожжения еретиков. — *Г. П.*), то, разбив их, паки изжечь, — настаивает он, — чтобы в пепел претворились; и тот пепел в помет человечь въмесить, или в непроходимое болото разъвеять, чтобы ученикам их собрать и во святые мощи причести им было невозможно» [3]).

Читатель видит, как неизмеримо далек Посошков от той веротерпимости, к которой склоняется, по крайней мере в теории, западник В. Н. Татищев. Но при этом необходимо заметить, что от природы Посошков вовсе не был жестоким человеком. Он советовал своему сыну мягко обращаться не только с людьми, но даже с животными. «И аще ты, сыне мой, лоедеши на кони, — пишет он в своем «Завещании», — блюлись того, дабы ти какова человека, богата или убогого, конем своим не потеснити и з дороги бы пешеходные не стиснутп в грязь... И не токмо человеки люби, но и скоты милуй. Аще и курицу на пути наедеши, в песце рыющуюся, не потесни ее... понеже

и она

[1]) Сочинения *Посошкова.* Москва 1863 г. т. II, стр. 233. В правописании я везде следую печатному подлиннику, оставляя за издателями ответственность за поправки, внесенные ими в рукописях Посошкова.

[2]) Там же, стр. 236.

[3]) «Завещание отеческое», изд. под редакцией и со вступительной статьей Е.М. Прилежаева. СПБ. 1893, стр. 280, 194—195, 295 и др.

тварь есть Божия». Да и это еще не все. Посошков советует, по возможности, щадить жизнь даже в растениях: «Подобие же тому чини, сыне мой, и в лесе. Егда бо внидеши в него, отнюд древа ни великого, ни малого без потребы не съсецы: понеже Бог насадил древеса на потребу человеком, а не на ругание, ни на играние» [1]). При других обстоятельствах этот человек мог бы доразвиться до любовного сознания своего субстанциального родства со всей природой и до соответственных такому сознанию правил поведения, а в Москве из него вышел... автор «Зеркала» и «Завещания».

Легко догадаться, что Посошков был монархистом: в Московском государстве республиканцев не бывало. Но трудно представить себе, как сильно пропитаны были его взгляды — не *только политические* — духом вотчинной монархии. По его словам, у иноземцев короли такой власти не имеют, как народ. «И того ради короли их не могут по своей воле что сотворити, но самовластны у них подданные их, а паче купецкие люди». Не то в России. «У нас самый властительный и всецелый монарх, и не аристократ, ниже демократ». Русский государь может делать все, что захочет: «Яко Бог всем светом владеет, так и Царь в своей державе имеет власть» [2]). Из этой *политической* теории немедленно делается *экономический* вывод, что царь может по произволу определять стоимость денег. Уже отсюда хорошо видно, что сильно ошибались исследователи, считавшие Посошкова глубоким теоретиком и полагавшие, что он предупредил некоторые открытия западноевропейских экономистов. Ход идей соответствует ходу вещей. Так как Московское государство очень сильно отстало от передовых стран Западной Европы в области экономики, то естественно, что и его «первый экономист» весьма значительно отстал от западноевропейских.

Во Франции, социально-политическое развитие которой неизменно направлялось, в течение нескольких столетий, в сторону абсолютизма, публицисты все более и более склонялись к признанию права государя на вмешательство в самые различные стороны народной жизни. Но постепенно складывавшаяся там абсолютная монархия не имела «вот-

[1]) «Завещание», стр. 13, 14.

[2]) Сочинения, т. I, стр. 231 и 254. В другой главе того же сочинения («О скудости и богатстве») он пишет: «Царю неслично на людях своих судом искать; но аще кто винен будет, то вся может имения его взять» (там же, стр. 73 — 74). Убежденный сторонник *французского* монархизма Боссюэ ни за что не согласился бы с этим, как не согласился бы Бодэн.

чинного» характера [1]), вследствие чего взгляды обрели черты, резко отличающие их от взглядов московских теоретиков. Мы видели Бодэна и Боссюэ. Что касается собственно экономических учений, то следует иметь в виду, что Франция уже в XIV веке выдвинула писателей, имевших гораздо более правильное понятие о деньгах, нежели Посошков. Такими были Буридан и, в особенности, Николай

Орезм [2]). Буридан доказывал, что, хотя государь иногда не только может, но бывает обязан изменить вес или название монеты, — например, когда начинает делать ее из более дорогого, чем прежде, металла, — однако он не может произвольно определять ее стоимость. Ученик Буридана Николай Орезм еще решительнее восставал против королевского произвола в области монетного дела. Согласно его учению, монета не составляет собственности государя, хотя и носит на себе его изображение. Она принадлежит всей стране, составляя частную собственность ее жителей. Произвольно изменять ее вес значит нарушать их интересы и, следовательно, совершать преступные деяния. И эти преступные деяния обрушиваются во вред тому, кто их совершает, так как страна, в которой появляется дурная монета, скоро лишается хорошей [3]). Такое соображение и в голову не приходило Посошкову. Не лишен здесь для нас интереса вот какой довод Орезма против порчи монеты королями. По его мнению, она подорвала бы их власть и потому, — заявляет он, — «что никогда весьма благородные французские короли не склонялись к тирании, и галликанский (sic!) народ не привык к рабскому подчинению, так что, если бы короли Франции изменили своей прежней добродетели, то, без всякого сомнения, потеряли бы свое королевство...». Подобные соображения тоже никогда не приходили в голову Посошкову, да и не могли прийти по той вполне достаточной причине, что он родился, жил и мыслил не в «галликанском» королевстве, а в русской вотчинной монархии.

Он решительно осуждает западных купцов, которые, па его словам, пользуясь своим влиянием в государстве, «товары в деньга« числят, а королевскую персону полагают на них вместо свидетеля, что та

[1]) Здесь опять прошу читателя вспомнить терминологию Бодэна.

[2]) Или *Орэм;* по-французски пишется Oresme. Он родился в 1320 или 1325 г. и умер в 1381. Его экономическое сочинение в латинском подлиннике называлось «De origine, natura, jure et mutationibus monetarum». Он сам перевел его на французский язык под названием: «Traicté de l'invention des monnoies».

[3]) Справедливо было замечено, что эта мысль Орезма выражена была впоследствии в знаменитом *законе Грэшема.*

цата (?) имеет в себе толико товару, за что она идет». Русь не Запад, *н* по «нашему простому разумению то стало быть королю бесчестье, а не честь, что не по имени его деньги в себе силу имеют, но по купеческой цене». При столь простом разумении странно было бы и ожидать от Посошкова каких-нибудь открытий а области экономической теории.

Еще Ганиль справедливо сказал, что Италия всегда была страной, имевшей самую дурную монету и самые лучшие сочинения о монете. Если в XIV веке она не выдвинула таких писателей по экономическим вопросам, каким был француз Николай Орезм, то уже в XV столетии в ней является, в лице Диомеда Карафы, замечательный финансист. Его сочинение «De régis et boni principis officio» *) основано на той мысли, что богатство государя обусловливается богатством его подданных: «Subditorum facilitates potentiae regiae fundamentum existimari oportet». Это как раз та мысль, которую развивал Посошков в начале XVIII в, Карафа указывал также, как необходимо правосудие для экономического преуспеяния государств: «Ubi aequum vigeat imperium, ibi florere urbes; contra ubi vi agatur, ibi omnia in deterius ruere ac celeriter evanescere». Посошков отстаивал тот же взгляд в своей «Книге о скудости и богатстве». Но книга эта закончена была в 1724 году, а Д. Карафа умер в 1487.

В шестнадцатом столетии Италия дала выдающихся экономистов —

Гаспара Скаруффи и Бернардо Даванцати. Граф Скаруффи, написавший в 1579 н напечатавший в 1582 г. важное сочинение: «Discorso sopra le monete e della vera proporzione fra l'oro e l'argento», выступил с проектом монеты, общей для всех государств тогдашнего цивилизованного мира (zecca universale). В начале XVII столетия (в 1613 г.) вышло замечательное сочинение Антонио Серры: «Brève Trattato délie cause che possono far abbondare i regni d'oro e d'argento». (Краткое исследование о причинах, могущих вызвать в государствах изобилие золота и серебра.) А. Серру некоторые итальянские писатели называют основателем политической экономии [2]). Это, без сомнения, преувеличено. Но, во всяком случае, верно то, что этот итальянский экономист

[1]) О нем см. у *Дж. Рика-Салерно,* Storia delle dottrine finanziarie in Italia. Palermo 1896, p. 47—56. Названное в тексте латинское сочинение Карафы представляет собою перевод затерянного впоследствии итальянского труда его, сделанный и изданный по приказанию неаполитанской принцессы Элеоноры.

[2]) Смотри «Storia della Economie pubblica in Italia> di *Giuseppe Pecchio.* Torino 1852, p. 52.

начала XVII века роено ничему не научился бы у Посошкова по части теории.

Наконец, если мы сравним экономические взгляды, излаженные в «Книге о скудости и богатстве», со взглядами таких английских писателей, как Уильям Петти и Дедлей Норс, то мы опять увидим, до какой степени ход идей зависит от хода вещей. Англия, далеко опередившая Россию по пути экономического прогресса, уже в XVII веке имела писателей, ставивших и правильно решавших такие важные экономические вопросы, самого существования которых не подозревал да W не мог подозревать Посошков. К числу таких вопросов надо, прежде всего, отнести вопрос о меновой стоимости товаров [1]).

Павлов-Сильванский ставит Посошкову едва ли не в особенную заслугу разъяснение того, что истинное государственное богатство состоит не в полноте казны, а в благосостоянии народа. Но, во-первых, и у нас мысль эта была высказана гораздо раньше Посошкова Ю. Крижаничем. Во-вторых, высказав ее, Крижанич уже не был новаторам, потому что в западноевропейской экономической литературе она не раз повторялась раньше, нежели Юрий Сербенин нашел нужным напомнить о ней московскому царю. Чтобы не заходить очень далеко назад, скажу, что в XV в. ее отстаивали англичанин Джон Фортескью и неаполитанец Диомеде Карафа. В 1613 г. француз Монкрэтьен, в своем «Trakte d'Economie politique», посвященном молодому Людовику XIII и королеве-матери, говорил: «La richesse de vos sujets est vôtre» (богатство ваших подданных — ваше богатство). Благородный Вобан писал, что король относится к своему государству, как голова к телу, и потому существенно заинтересован в том, чтобы подати не отнимали у населения средств, необходимых для его существования [2]). В там же смысле высказывался и Буагильбэр в своих сочинениях «Le Détail de la France» 1695 г. и «Factum de la France» (около 1706). «La richesse des sujets est l'unique base de la richesse des princes, — утверждал он [3]).

[1]) Павлов-Сильванский, вслед за А. Миклашевским, утверждает, что книга Посошкова, по языку и по идейному содержанию, богаче произведений немецких меркантилистов. Но тогдашняя экономическая литература Германии была до такой пени отсталой, что гораздо лучше оставить ее в стороне и вспомнить литературу Франции, Италии и Англии.

[2]) Книга *Бобина* «La dixme royale» была напечатана в 1707 г., но написана е позже 1699 г.

[3]) «Economistes-Financiers du XVIII siècle». Paris 1843 (éd. Guillaumin).

Но хотя для Буагильбэра, Вобана и многих предшественников их было совершенно ясно, что, заботясь о благосостоянии своих подданных, король тем самым ограждает интересы государственной казны, однако, высказывая эту истину, никто из них не пытался подкрепить ее тем доводом, что король *владеет* трудящимся населением своей страны, подобно тому, как средневековый феодал — своими крепостными. *Под их пером* подобный довод не имел *бы* смысла, потому что «е соответствовал бы «галликанским» социально-политическим отношениям. Правда, в одном из своих сочинений Буагильбэр приглашал короля вообразить, что ему, «как в Турции, принадлежит вся земля, а земледельцы не больше как его фермеры» [1]). Но это приглашение вовсе не означало, что Буагильбэр думал, будто Франция, в самом деле, похожа на Турцию, а только то, что ему нужен был какой-нибудь наглядный пример. Он знал, что в действительности французский король не *владеет населением* своего королевства, а только *получает от него средства,* необходимые для управления страною и для ее защиты. Это еще яснее видно у Вобана, который утверждал, что государство не будет в состоянии существовать (se soutenir), если подданные не будут его поддерживать, а для того, чтобы поддерживать его, они должны обладать известной степенью зажиточности. Между тем, когда Посошков ищет доводов в пользу той своей мысли, что и «крестьянское богатство — богатство Царственное», он прежде всего ссылается на то, что *крестьяне* принадлежат *государю.*

«Крестьяном помещики невековые владельцы; — говорит он, — того радо они не весьма их и берегут, а прямый их Владетель Всероссийский Самодержец, а они владеют временно. И того ради не надлежит их помещикам разорять» [2]). И у него эта ссылка была вполне уместна, так как соответствовала социальному строю московской вотчинной монархии.

Посошков прибавляет, что крестьян следует охранять царским указом, чтобы они «крестьянами были прямыми, а не нищими» [3]). Это опять совершенно в духе старых московских порядков.

Вспомним приведенные мною в первом томе слова Котошихина. «А как тем бояром и иным вышеписанным чином даются поместья и вотчины: и им пишут в жалованных грамотах, что им... подати с них (с крестьян своих. — *Г. П.*) имати по силе, с кого что мочно взята,

[1]) Там же, стр. 243.
[2]) Сочинения Посошкова, т. I, стр. 183.
[3]) Там же, та же стр.

а не через силу, чтоб тем мужиков своих из поместей и из вотчин «е разогнать и в нищие не привесть». «Привесть» крестьян в нищие значило нарушить интерес царской казны. Если верить Котошихину, то у «разорителей» отбирались их вотчины и поместья и отдавались их родственникам, «добрым людям» [1]). Мы не знаем, часто ли это случалось: следует думать, что, наоборот, — редко. Но, прекрасный знаток старой московской жизни. Посошков не мог не слышать о том, что не далее как в царствование Петрова отца правительство обнаруживало известную заботливость о крестьянах. Не мог он не понимать и того, что заботливость эта была, в своей сущности, лишь заботливостью об интересах государевой казны. Вот почему, предлагая Петру ограничить эксплуатацию крестьян помещиками, он нимало не изменял своему охранительному образу мыслей. Его план не

противоречил духу старой московской *практики.* И вот почему, выступая с этим плана», он поспешил напомнить, что «крестьянское богатство — Царственное богатство».

Московское правительство наказывало крестьянских «разорителей» только тогда, когда они слишком явно нарушали его собственный интерес. Экономическая *теория* была тут, разумеется, ни при чем.

Но старая московская практика была делам служилого класса. Так как крестьянскими «разорителями» сплошь да рядом являлись те же самые люди, которые, в интересах казны, кое-когда принимали меры к защите крестьян от разорения, то нисколько не удивительно, что меры эти не отличались решительностью и не достигали цели. Посошков не принадлежал к числу «государевых холопов». По своему происхождению он был «государевым сиротою», а по своему классовому положению — «купецким человеком» [2]). Поэтому он мог требовать более решительных мер. Там, где старая московская практика ограничивалась довольно неопределенной, редко исполнявшейся угрозой, он настаивал на необходимости определенных норм.

Чтобы помещики не опустошили царства, Посошков предлагал «учинить расположение указное, по чему им с крестьян оброку и иного чего имать, и по колику дней в неделю на помещика своего работать и иного какого сделья делать, чтобы им сносно было Государеву подать и помещику заплатить, и себя прокормить без нужды» [1]).

[1]) См. т. I, стр. 237.
[2]) Так называется он в одном официальном документе.
[3]) Сочинения, т. I, стр. 183.

Суды должны наблюдать за исполнением указа, определяющего размеры крестьянских податей и повинностей. Никакой помещик не имеет права взыскивать что бы то ни было со свои« крестьян «сверх уреченного числа». Но владелец сохраняет право наблюдать за поведением своего крестьянина, «чтоб он даром не гулял, но какую мочно к прокормлению своему работу бы работал» [1]). Если крестьяне начнут лениться, то «не токмо помещикам иль прикащикам, но и сотским надлежит за ними смотреть и жестоко наказывать» [2]).

Жестоко наказывать! Если Посошков заботился об ограждении *экономических интересов крестьян,* то он вряд ли когда-либо задумывался о том, что не мешало бы также оградить *крестьянскую спину* от побоев. Даже в наиболее доброжелательных для крестьянства проектах своих он щедрой рукой прописывает ему жестокие телесные наказания. Вот, например, он указывает «а то, как много терпят крестьяне от разбоев. Разбойники «многие деревни и села великие разбивают, *а* людей до смерти запытывают». Крестьяне были так напуганы разбойниками, что не смели помогать друг другу в борьбе с ними: «соседы все слышат и видят, а из дворов своих не выдут, и соседа своего от разбойников не выручают». Как же быть? Надо предписать, чтобы соседи выручали один другого. Если же не станут выручать, то бить их кнутам, «а что пограбят разбойники за *их* невыручкою, то править на них соседях сугубо» [3]).

Вот другой пример, еще более выразительный и тесно связанный с вопросом о взаимных отношениях крестьян и помещиков. Настаивая на необходимости указного определения размеров крестьянских податей и повинностей, Посошков прибавляет: «А которые крестьяна ведали, что помещик их берет с них излишние поборы, а умолчат (т. е.

не донесут на помещика. — *Г. П.*), то тех крестьян бить кнутом, кошико ударов уложено будет» [4]). Это опять совершенно в духе старой московской практики.

Посошков был против подушной подати, так как душа — «вещь неосязаемая и умом непостижимая и цены неимущая». Облагать следует, -по его выражению, вещи «грунтованные» [5]). А так как в деревне самой «грунтованной» вещью является земля, то землевладение и должно

[1]) Там же, стр. 185.
[2]) Там же, та же стр.
[3]) Там же, стр. 174.
[4]) Там же, стр. 188.
[5]) Там же, стр. 185.

служить основой для обложения: «По здравому рассуждению надлежит крестьянскому двору положить рассмотрение... по владению земли и по засеву хлеба на том его владении» [1]).

Чтобы оценить значение этого предложения Посошкова, надо принять во внимание, что *подушному окладу* предшествовала у нас *дворовая подать,* которая подала повод к злоупотреблению, выпукло изображенному нашим авторам. При переписях число *дворов* определялось числом ворот. Поэтому помещики стали сводить в один двор по нескольку крестьянских дворов: «Одними воротами ходят, а прочие ворота забором забирают» [2]). Отсюда возникла неравномерность податного обложения, резко осужденная Посошковым. «А у крестьян писцы... ворота числят двором, хотя одна изба на дворе, хотя и с пять-шесть или с десять, а пишут двором же. И то стало быть не разум, но самое безумство и всесовершенная неправда, и убогим и маломочным обида и разорение» [3]).

Зная это, Посошков и высказывался за обложение «по владению земли». Но, как справедливо заметил г. А. Лаппо-Данилевский, обложение дворов согласно их хозяйственным средствам, — т. е. прежде всего по размерам обрабатывавшейся ими земли, — могло породить стремление к *уравнению подворных участков* [4]). И это стремление как будто проглядывает в «Книге о скудости и богатстве». «По моему мнению, — говорит там Посошков, — аще у коего крестьянина целой двор, то надобно ему земли дать мерою толикою, чтобы ему мочно было на всякой год высеять ржи четыре четверти, а ярового осьм четвертей, а сена накосить ему про себя двадцать копен» [5]). Невозможно было бы осуществить эту мысль, не производя *передела земли,* по крайней мере между теми крестьянами, которые владели *«целыми дворами»,* т. е., стало быть, располагали известным количеством средств производства. И если Посошков намекал на такой передел, то он является *первым русским писателем, высказавшим то практическое требование,* которое, найдя себе известное теоретическое обоснование в учениях французского утопического социализма и будучи значительно расширено, заняло весьма почетное место в программах многих русских публицистов XIX века. Однако мысль о земельном равнении не получила у Посошкова дальней-

[1]) Там же, стр. 186—187.
[2]) Там же, стр. 186.
[3]) Там же, стр. 186.
[4]) «Организация прямого обложения в Московском государство, стр. 260.
[5]) Сочинения Посошкова, т. I. стр. 187.

шею развитая. Он, по-видимому, готов был удовольствоваться последовательным проведением принципа обложения дворов согласно размерам их земельных участков. «Буде коему крестьянину отведено земли, что и четверти ржи на ней не высеет, — говорит он, — то того двора не надлежит написать (целым двором. — *Г. П.),* но разве шестою долею двора» и т. д. [1]). Это лишь равнение податной тягости, но не земельных наделов.

Посошков настоятельно советовал произвести всеобщее *межевание* и даже додумался до кадастра.

Все это показывает, что он, в самом деле, был очень умен и хорошо знал тогдашнюю русскую жизнь. Хорошо зная русскую жизнь, этот очень умный человек не забыл о некоторых не безвыгодных для народа сторонах старой московской системы управления и, сам принадлежа к числу «государевых сирот», находил, что следовало бы сохранить и расширить эти стороны. Так как крепостной крестьянин был на Руси еще более бесправным в эпоху М. П. Погодина, чем был он во времена Посошкова, то неудивительно, что «Книга о скудости и богатстве» перепугала очень многих «порядочных людей» в сороковых годах XIX века. Но отсюда еще нельзя заключить, что Посошков был смелым новатором. А если и называть его прогрессистом, то надо всегда прибавлять, что он был именно *московским* прогрессистом, т. е. что, выставляя некоторые действительно полезные для народа и в этом смысле прогрессивные требования, он оборачивался лицом не *к будущему, а к прошедшему.* Мы уже знаем, что так было не с одним Посошковым, и что это объясняется не чем иным, как неразвитостью наших тогдашних социально-политических отношений.

До какой степени пропитан был Посошков старым московским духом. видно, между прочим, из его наставлений сыну о том, как надо вести себя в церкви. Он и небесное царство воображал в виде восточной деспотии. «А и образов святых, не почитай всех за едино равенство», — советует он. — «Но Божиему образу отменную и честь отдавай, и свещу болшую, нежели рабов Его образам поставляй. И образу Пресвятая Богородицы постави свещу таковую же, или мало чим и помнее. А образам святых угодников Божиих свещи подавай меншее Спасителевых и Богородичных свещь. И аще кой и празднуемый святый, обаче не моги болши или лучши Спасителевы свещи подати, но, праздника ради. лостави развее равную; а того не моги учинит, еже бы тебе

[1]) Там же, та же стр.

пред образ раба Божия поставить свеща вящшая, нежели Спасителеву сбразу» [1]).

Поклоны тоже должны быть разные. «Божию образу вящшую и честь твори, — поучает Посошков, — образу же раба Божия поклон твори со уятием, при Спасителеве или и Богородичным образом».

Наконец, не ко всем образам следует одинаково прикладываться «Спасителев образ целуй в нозе, прочиих же святых целуй руце, а не нозе» [2]). В простом народе многие образу божию кланяются в пояс, *а* образу Николая Чудотворца — до земли. Посошков резко осуждал это во имя принципа небесной вотчинной монархии: «И то они творят от самого своего несмыслия, и что творят, того и сами не ведают: какой их разум, еже рабу паче Господни отдают честь?» [3]).

Современник Посошкова, гр. Матвеев с особенным удовольствием заметил, что там дети «от доброго и от острого наказания словесного паче нежели от побоев в прямой воли и смелости воспитываются» [4]).

Но гр. Матвеев еще в Москве испытал на себе смягчающее влияние Западной Европы. В качестве московского прогрессиста Посошков мыслил по старине. Он утверждал, что «древний святии, соблюдая людей от погибели, повелевали детей своих бить нещадно» [5]). Оно, пожалуй, так и было. В «Книге премудрости Иисуса сына Сирахова» говорится:

«Лелей дитя, и оно устрашит тебя; играй с ним, и оно опечалит тебя. Не смейся с ним, чтобы не горевать с ним, и после не скрежетать зубами своими. Не давай ему воли в юности и сокрушай ребра его, доколе оно молодо, дабы, сделавшись упорным, оно не вышло из повиновения тебе» [6]).

Посошков без критики принимает эти «премудрые» педагогические правила и даже от себя прибавляет к ниш еще немножко суровости. Он думал, что отцы грешат непозволительной слабостью, позволяя себе ласкать детей. «Надобно детей учить неоплошно н держать их в великой грозе», — говорит он: «первое, чтобы пред Богом трепетен был; другое, чтоб и вас боялся. Так ведите, чтобы и взгляду вашего боялись. И аще в Божием и вашем страхе возрастут, то они добрые люди будут; а есть ли же в ласкании, и во всякой потачке, и в неге возрастите,

[1]) «Завещание отеческое», стр. 89.
[2]) Там же. стр. 90 (ср. 95).
[3]) Там же, стр. 95.
[4]) «Современник», 1856, т. LVII, стр. 25.
[5]) «Завещание отеческое», стр. 44.
[6]) Назв. кн., гл. 30, стр. 8—12.

то уже в том пути не будет: либо будет пьяница, либо блудник, либо озорник, либо н самый вор» [1]). Он убежден, что у нас в России большая часть народа погибает от «неучения младенческого, то есть от потачки».

Если его учение о деньгах показывает, как наивны были его *экономические* понятия, то его попытка объяснить преступность «потачкой», которая у него отождествляется с ласковым обращением родителей со своими детьми, свидетельствует о неменьшей наивности его социологических воззрений. То правда, что в эпоху Посошкова социологии, как таковой, вовсе не существовало. Но уже в Библии есть места, указывающие на то, что преступления порождаются не только «потачкой». Достойно замечания, что тот самый «Лютор», о котором Посошков отзывается с таким злобным презрением, несравненно шире смотрел на причины преступности [2]). Я уже не говорю о Томасе Море, в «Утопии» которого высказан, в общем, правильный взгляд на происхождение преступности. Но Посошков запоминал преимущественно те места Библии, которые соответствовали его старо-московским взглядам на общественную жизнь, а в этих взглядах отводилось слишком много места «батожью», кнуту или даже виселице, как средствам удержания людей на стезе добродетели.

Эта характеристика взглядов Посошкова осталась бы неполной, если бы я не упомянул об его нелюбви к иноземцам. Уже в записке «О ратном поведении», поданной им боярину Ф. А. Головину в 1701 г. и написанной под впечатлением нарвского поражения, он говорил:

«Я истинно, Государь, не помалу дивлюся и недоумеваюся, что сказываются Немцы люди мудры и правдивы, а учат все нас неправдою... Верить им вельми опасно: не прямые они нам доброхоты, того ради и ученью их не вельми надобно верить. Мню,

что во всяком деле нас обманывают и ставят нас в совершенные дураки» [3]).

В «Завещании отеческом» мы встречаем тот же, полный недоверия, отзыв об иноземцах: «На немец нам смотрить нечего: они нас обманы-

[1]) «Завещание», стр. 43.

[2]) «Wenn es einem wohl geht, - говорит он, — so fürchtet er Gott nicht... Wiederum wenn's übel geht, so kann Fleisch und Blut nichts weniger denn böse Tage leiden... dann versucht der Mensch Gott den Herren» (цит. у *ф.-Кана,* Les causes économiques de criminalité. Paris—Lyon 1913, p. 28 и 38). Это почти буквальное повторение только что приведенных и также указанных ф.-Каном мест из притчей Соломоновых.

[3]) Сочинения, т. I, стр. 272-273.

вают, да денги у нас выманивают, а самыя правды никогда нам не скажут» [1]).

Так же недоверчиво относится Посошков к иноземцам и в «Книге о скудости и богатстве». Другими словами, недоверчивое и неприязненное отношение к ним не покидало нашего автора в течение всей его сознательной жизни. Каждому из нас приходилось читать, а, может быть, и говорить об *«окне в Европу»,* прорубленном Петром Первым. У Посошкова мы находим другое выражение. В своей записке «О ратном поведении» он жалуется на то, что немцы «прорубили из нашего государства во все свои земли *диру»,* которая позволяет им ясно видеть «вся наша государственная и промышленная дела» [2]). Дырою представлялась ему... почта. «Дираж есть сия: сделали почту, а что в ней Великому Государю прибыли, про то Бог весть, а колько гибели от той почты во все царство чииитца, того и исчислить не возможно» [3]). Посошков уверяет боярина Ф. А. Головина, что следовало бы уничтожить почту: «Мне, Государь, мнитца, что лучшиб та дира загородить накрепко; а крепче того не льзя, что почта, буде мочно, то отставить ее вовсе, а не худо, чаю, чтоб и ездаком заповедь положить крепкая, чтобы грамоток в иные земли без приказного свидетельства отнюдь не возили» [4]).

Это очень похоже на «ксенеласию» Ю. Крижанича. Но «ксенеласия» не помешала Юрию Сербянину настаивать на преобразованиях. Не помешало и Посошкову перейти на сторону Петра его недоверчивое и неприятное отношение к иноземцам. Не помешало, потому что он сумел подметить главную причину их превосходства над русскими.

Посошков родился в подмосковном селе Покровском, которое потом вошло в состав столицы. Близость этого села к Москве повела за собою то, что очень многие из тамошних крестьян вовсе не занимались земледелием, находя себе заработок частью в загородном царском дворце, а частью в Москве и, между прочим, тоже во дворце государя. В 1680—1681 г.г. село Покровское было «ведомо» в Мастерской палате. Это обстоятельство, вероятно, не оставалось без влияния на богато одаренного природой Посошкова. В годы его детства дворцовые мастерские были преобразованы и расширены под руководством иностранцев, и г. Прилежаев не без основания предполагает, что Иван Посошков еще мальчиком, сопровождая своего отца, уходившего работать на москов-

[1]) «Завещание», стр. 47.

[2]) Сочинения, т. I, стр. 273. — Курсив мой.

[3]) Там же, стр. 233.

[4]) Там же, стр. 274.

ский Государев двор, забегал в эти *рабочие* палаты и присматривался к мастеровому делу [1]). Во всяком случае, он всегда любил это дело, которое называлось у него *художеством,* — и сам знал несколько ремесл. Руководимые иностранными техниками, царские дворцовые мастерские могли научить смышленого юношу многому из того, что было самою свежею новостью в допетровской Обломовке.

В сочинениях Посошкова, посвященных светским вопросам, обнаруживается большая и вполне осмысленная заботливость о развитии производительных сил России и огромное уважение к техническим занятиям. Это, вероятно, плод впечатлений, вынесенных им из дворцовых мастерских. У него заметна сильная нелюбовь к праздности — черта характера, сложившаяся, может быть, под влиянием тех же впечатлений: западные люди умели дорожить временем. Но что же нужно делать для того, чтобы развить производительные силы России и научить ее жителей чуждаться праздности? Нужно учиться у иностранцев, этого миновать нельзя. И вот, Посошков, несмотря на свое недоверие к иностранцам и на свою нелюбовь к ним, пишет, что надо оказывать хороший прием мастерам, приезжающим в Россию из-за границы. «А буде кто иноземец приедет в Русь художник добрый, мастерства именитого и у нас в России небывалого, — говорит он в «Книге о скудости и богатстве», — и такому надлежит дать дом, и отдать ему в научение человек десяток-места или и больше, и учинить с ним договор крепкой, чтобы он тех учеников учил прилежно и нескрытно. И буде станет учить с прилежанием, и буде выучит против себя, то надлежит ему плата договорная дать и с награждением за то, что он нескрытно учил и скоро выучил, и отпустить его за море с честию, чтобы на то воздаяние зря *н* иные мастеровые люди выезжали, и всякие бы мастерства в Руси размножали» [2]). Петр именно старался размножить мастерства на Руси. Поэтому наш автор не мог не сочувствовать его начинаниям. Но экономический быт Московского государства не развил в его жителях ни сознания важности технических знаний, ни склонности дорожить временем. Московский человек неохотно шел в ученье к иностранцам. Ввиду этого Петр находит, что этого человека надо *заставить* учиться. И точно так же, очевидно, на основании тех же самых наблюдений, то же самое говорит Посошков. По его мнению, нельзя без того, чтобы не «приневолить».

[1]) «Завещание отеческое», вступительная статья, стр. XXXV—XXVI .
[2]) Сочинения, т. I, стр. 145.

Но Петр был государем, а Посошков только «государевым сиротою». В качестве сироты он очень хорошо знал, сколько злоключений выпадало на долю простого русского человека, который поступал, — точнее, которого отдавали, — в науку к иноземцам. Неудивительно, что в той же «Книге о скудости и богатстве» вслед за советом о привлечении в Россию иностранных мастеров идет горькая жалоба на то, что начальство слишком плохо обращается с *русскими* «художниками». В интересах страны им следовало бы учинить «корм довольный», а между тем они терпят крайнюю нужду. «В Российских наших правителях есть рассуждение на сие дело самое нездравое, — сообщает писатель из крестьянской среды, — ибо Русского человека ни во что ставят, и накормить его не хощут, чтобы он доволен был без нужды, и тем стеснением принуждают их к краже и ко всякой неправде и в мастерстве к нерадению» [1]).

Это наблюдение, — что российские правители ни во что ставят русскою человека вообще, а русского человека податного сословия в особенности, — вероятно, было сделано Посошковым еще в юности, при посещении мастерских, работавших «под руководством немцев» на государя И само собою понятно, что оно не могло способствовать развитию у него добрых чувств по отношению к иностранцам, которые с своей стороны не церемонились в обращении с государственными, сиротами, так или иначе попадавшими в зависимость от них. В первом томе я уже обращал внимание читателя на то, что поворот к Западу Московского государства сопровождался усилением нелюбви к иностранцам в значительной часто его жителей. Пример Посошкова как нельзя лучше подтверждает правильность этого указания. Он понял, что надо учиться у иностранцев; но он видел, что иноземцы имеют мало расположения к русским и всеми способами эксплуатируют их. Поэтому, чем выше ставит он их науку, тем меньше любит их и тем меньше доверяет им. В «Книге о скудости и богатстве» мы читаем: «Немцы никогда нас не поучат на то, чтобы мы бережно жили, и ничего б напрасно не теряли, — говорит он, рассуждая о торговой политике, — только то выхваляют, от чего б пожиток какой им припал, а не нам. Они не токмо себя, но и прочих свою братию всякими вымыслы богатят, а нас больше в скудость пригоняют; и того ради надобно нам разумея разуметь о всяких их делах яко о купецких, тако и о военных и о художник делах: не тут то у них правда, что на словах ладогозят; надобно

[1]) Сочинения, т. I, стр. 145.

смотреть их на делах, а не на словах, и смотрить презрительным [1]) оком» [2]).

Московский начетчик доброго старого времени с особенным жаром осуждал в жителях Западной Европы их «латынскую ересь». Но когда Посошков нападает на «немцев», он, как последний и наиболее возвышенный довод против них, выдвигает их приверженность к учению Лютера. В его глазах Лютер — «еретик еретиков». Московский прогрессист уверяет своего сына, что «Мартин Лютор ученикам своим на вся разрешил и от грехов всех свободил», т. е. проповедовал безнравственность [3]). Едва ли можно указать хоть один грех, в котором Посошков не упрекал бы «всескверного блудного расстригу Мартина Лютора». Эти ожесточенные наладки Посошкова на лютеранство приобретают особый интерес ввиду того, что птенцы Петровы, вышедшие из среды служилого класса, за весьма редкими исключениями, охотнее сближались с протестантами, нежели с католиками. Но эти птенцы меньше страдали от той беды, которая постоянно заботила Посошкова. «Люторы» сделали русских людей — и, разумеется, преимущественно простых русских, — предметом своей экономической эксплуатации. Это особенно возмущает Посошкова. «Они того и в грех не вменяют, еже нас обманывают и деньги выманивают». Посошков так негодует на них за это, что предпочитает им татар, хотя те «и магометанскую веру держат». Да что татары! «Люторы» хуже скота, «понеже скот аще и бессловесен, обаче помнит, кто его кормит, а они подобны токмо волкам: волка колико не корми, а он к лесу смотрит». Само собою разумеется, что католики не меньше протестантов склонны были эксплуатировать русского человека, попадавшего в экономическую зависимость от них, но протестанты занимали гораздо более влиятельное положение и их было больше между иноземцами, нахлынувшими на Русь во время Петровской

реформы и даже в эпоху, ей непосредственно предшествовавшую. Поэтому идеолог Посошков гремит именно против «люторов», почти забывая о том, что существуют на свете также и «римляне».

Нападки на «люторов» обнаруживают еще одну весьма достойную замечания черту взглядов Посошкова. Упрекая иноземцев в стремлении эксплуатировать русского человека, он почти всегда рассуждает, держась точки зрения *купца,* а не точки зрения «земледельца», ка-

[1]) В другом списке: пронзительным.
[2]) Сочинения, т. I, стр. 126—127, ср. стр. 212.
[3]) «Завещание отеческое», стр. 124.

ним он называет себя однажды. Это объясняется тем, что по своему классовому положению он совсем не был пашенным крестьянином. Он занимался разными «художествами» (т. е. ремеслами) и в разное время, а иногда одновременно, стоял во главе нескольких торгово-промышленных предприятий. У него был дом в Петербурге и два двора в Новгороде. А не позже 1718 г. он стал землевладельцем, купив на свое имя деревню Матвеева и полдеревни Закарасенье. В 1719 г. к этим имениям присоединил сельцо Марьино, а в 1724 г. — несколько пустошей, купленных у дворянина Унского. Как видит читатель, Посошков был далек от «мизирности» (его собственное выражение); хотя он и советовал Петру ограничить указом крестьянские оброки и повинности, однако мы не видим у него большого сочувствия к крестьянам: он утверждает, что они бедствуют, главным образом, *от своей лени.* Да и не мог очень сильно сочувствовать земледельцу «купецкий человек», у которого были свои собственные беглые крестьяне. Самое полное и искреннее сочувствие его на стороне купечества. «Царство воинством расширяется, а купечеством украшается», — заявляет он. [1]). Ввиду этого его надо признать идеологом не крестьянства, а торгово-промышленного класса. Его жалобы на эксплуатацию русских людей иноземцами коренятся, главным образом, в торгово-промышленном засилье этих последних. В э гам очень легко убедиться. Так, советуя загородить «диру», Посошков говорит (не забудьте: в записке «О ратном поведении»!): «И почты ради иноземцы (осведомленные о положении русского рынка. — *Г. П.*) торгуют издеваючись, а Русские люди жилы из себя изрьваючи». В «Книге о скудости и богатстве» он возмущается тем, что иностранные купцы, приезжая к нам «с своими безделками», устанавливают на них высокую цену («двойную, а иным товарам и выше двойныя цены»), стишкам низко расценивая в то же время наши «матерьяльные» товары. Вопрос о том, какие меры следует принять, чтобы изменить к выгоде русских торговцев отношения, установившиеся между ними и иностранными купцами, *является главнейшим изо всех занимавших собою Посошкова.* В тесной связи с ним стоят и те мероприятия, которые он всего настойчивее подсказывает Петру. Мало того, сочувствуя Петровой реформе, он, собственно, высказывает сочувствие делу царя, умеющего дорожить интересами купечества. До Петра иноземцы, приезжавшие к нам, подносили подарки боярам и, затратив на это сотню-другую рублей, наживали огромную прибыль: «Бояре неставили купечества ни в яичную

[1]) Сочинения, т. I, стр. 112.

скорлупку; бывало на грош все купечество променяют». Но теперь прошли те печальные времена, «когда сами наши Монархи в купеческие дела не вступали, но управляли бояре» [1]). Петр «вся сия рассмотрил», н теперь иностранным торговцам уже нельзя «подлезть»

к боярам с целью эксплуатации русских людей.

Мы имеем здесь перед собою один из тех бесчисленных случаев, в которых антагонизм между государевыми холопами и государевыми сиротами шел на пользу центральной власти, которая, надеялись сироты, исправит, наконец, положение дел, гак сильно испорченное нерадением и корыстолюбием служилого класса. Мы видим также одно из тех побуждений, благодаря которым узкий националист Посошков сочувствовал преобразованию, шедшему вразрез со стремлениями огромного большинства московских националистов. Далее Посошков, опять возвращаясь к той мысли, что у нас в России стоимость денег должна определяться волею царя, прибавляет, что у нас «волен наш Монарх; а по его Монаршеской воле и мы имеем некую часть воли» (стр. 123). Податные сословия потому и отстаивали беспредельность царской воли, что через нее надеялись и сами получить часть воли в борьбе с служилым классом. Однако этим еще не исчерпываются побуждения, вызвавшие в Посошкове сочувствие Петру.

Посошков был лет на двадцать старше Петра. Его воззрения уже сложились к тому времени, когда Петр начал свою преобразовательную деятельность. Тем важнее для нас тот факт, что, несмотря на господство консерватизма в этих воззрениях, в них с разных сторон проникало сознание негодности существовавшего тогда порядка. Это видно из любопытнейшего «Доношения о исправлении всех неисправ», написанного Посошковым ранее 1704 г.

«Аще кто восхощет умныма очима воззрети на житие наше православно российское и на вся поведения и дела наша, то не узрит ни во единой какой любо вещи здравого деда, — говорится там... — Ни во церквах прямого порядка не обрящеши, ниже во чтении и пении, ниже во гражданском, ниже в поселянском, ни в воинском, ни в судейском, ни в купецком, ни в художном... и не вем такового дела или вещи какой, еже б пороку в ней не было. Несть в нас в целости от главы даже и доногу, и живем мы всем окрестным государствам в смех и в поношение. Вменяют они нас вместо мордвы, а и чють что и не правда их, понеже везде у нас худо и непорядошно».

[1]) Сочинения, т. I, стр. 122.

Когда человек пришел к тому печальному убеждению, что в его стране все худо и непорядочно, то у него, естественно, возникает вопрос, можно ли поправить положение дел или же оно совершенно безнадежно. Посошков был убежден, что все и вполне поправимо. «А за помощию Божиею вся б неисправы исправити было возможно, — утверждает он. - И так нам русь свою мочно исправити во утверждении веры, что никакие воды не поколеблют ее, ниже лвы, а не то что волченята вредити могут; и во благочинии духовном, и делех воиских, и во гражданских, и в поселянских, и вся яже суть ныне в нас кривины исправити и насадити правду, что всем во удивление будет» [1]).

Пренебрежительное отношение иноземцев к русским вызывало в Посошкове сильное недоверие и нерасположение к ним. Но в то же самое время оно пробуждало в нем такое сознание своею *национального* достоинства, которое уже не было похоже та *свойственное* варварам самомнение. Убеждение в том, что все у нас худо и непорядочно, между тем как иноземцы живут по сравнению с нами очень хорошо, не оставляло места для такого самомнения, а только властно подсказывало желание поскорее догнать опередившие нас чужие страны. «Много Немцы нас умнее науками, а наши остротою, по благости Божией, не хуже их, а они ругают нас напрасно». Посошков говорит это в записке

о ратном поведении, поданной им Головину еще в 1701 г. и заключающей в себе указанную мною выше жалобу на то, что немцы посредством почты прорубили «дару» в Европу. Он сам должен был признать, что без «диры» того или другого вида не обойдешься.

Характерна для «московского прогрессиста» последовательность, в которой рассматриваются у него желательные преобразования. Прежде всего нужны такие реформы, которые утвердили бы *веру.* Участившиеся сношения с иноземцами показали, что московские люди не имеют никакой возможности защитить православие с помощью духовного оружия. Посошков признает это без оговорок: «Хотя малой ребенок вопросит нас о вере и мы, и в летех сущие, ответу дать не знаем, и в чем их веру уличить, того и на мысль нашу не нахаживало, понеже не знаем их ересей». Ясно поэтому, что надо учиться. Но когда речь идет о том, чтобы отстоять свою веру, учиться надо тому, что поможет разобраться в религиозных вопросах. И вот, с первых же строк своего «Завещания» Посошков дает такой совет своему сыну: «В начале отро-

[1]) «Доношение» Посошкова перепечатано у *Павлова-Сильванского,* соч., т. II . стр. 77—79.

чества своего, сыне мой, паче всех наук прилежи книжному научению, не токмо славенскоаду одному, но и греческому, или латинскому, или хотя полскому, понеже и на полском языце много таковых книг есть, кои у нас на славенском языце не обретаются; а и к науке полской язык иных языков поемнее». Петр и его птенцы нашли, что «немецкие» языки гораздо нужнее для нас, нежели польский и древние. Но они судили, держась светской точки зрения, а Посошков подходил к «науке» с теми требованиями, которыми определилась программа Греко-латино-славянской академии: ему важнее всего было отстоять православие.

Однако иноземцы показали свое превосходство над русскими не только в области прений о предметах веры. В ноябре 1700 г. Карл XII наголову разбил русских под Нарвою. Как уже оказано выше, печальный для нас исход Нарвской битвы произвел сильное впечатление на Посошкова. В «Доношении о исправлении всех неиеправ» находится прямое указание на непорядки в воинском деле. А в записке «О ратном поведении», относящейся к 1701 г., т. е., стало быть, написанной после Нарвской битвы, содержится горькая жалоба на то, что мы терпим поражения даже тогда, когда превосходим неприятеля численностью. «Я истинно... сего не могу разуметь, что в том силы или что похвалы, что многочисленны наши полки на брань исходят, а неприятель малыми людьми побивает и в подан берет. И сие... не бесчестиель наше, что во множестве нашем от малых людей стоять не можем» [1]). При глубоком недоверии Посошкова к иностранцам, ему, естественно, приходит мысль о недобросовестности тех из них, которые обучали русских военному искусству. В тесной связи с этой мыслью и находится совет закрыть «диру» в Европу, пробитую немецким зломышлением. Но в том-то и дело, что Посошков не ограничивается этим реакционным советом. Он желает преобразований и верит, что русские могут успешно бороться с иноземцами. «У наших... Русских людей руки есть такие ж, что и у кноземцов... и иноземцы не от небеси пришли, но такие ж люди, яко и мы; всему тому навычка, да добрая расправа...» [2]).

Распространяясь о «навычке», Посошков указывает на неуменье русских стрелять в цель и по этому поводу делает, однако, важное замечание. «По моему мнению, — говорит он, — дружная стрельба (т. е. стрельба залпами. — *Г. П.*) только что красиво смотреть, а неприятелю нестрашна она; а цельная стрельба (стрельба в цель. — *Г. П.*) хотя не-

[1]) Сочинения, т. I, стр. 278.
[2]) Там же, стр. 282.

красива стрельбою, только неприятелю страшна будет» [1]). Более полутораста лет спустя, один из наших военных писателей так определил теоретическую правильность этого замечания:

«Он, вопреки мнениям лучших тактиков того времени, восстает против бессознательных действий плотно сомкнутого строя и высказывает мысль об одиночном развитии солдата, мысль, которую стали осуществлять не только у нас, но и во всей Европе, еще в слишком недавнее время» [2]).

Недостаток места не позволяет мне входить здесь в рассмотрение того, в чем состоял жизненный опыт, позволявший «купецкому» человеку Посошкову взглянуть на один из вопросов военного дела более правильно, нежели смотрели на него иные специалисты по тактике. Вынужденный идти дальше, я поэтому попрошу читателя принять в соображение, что для стрельбы нужны были ружья, а для приготовления хо*роших* ружей необходимо было упражнение в «художествах», знакомых иноземцам гораздо больше, чем русским. Ясно поэтому, что как ни беспокоила Посошкова «дира» в Европу, а все-таки н он должен был одобрить призыв иностранных «художников» в Россию. Ход его мыслей очевиден в рассуждении о пушечной стрельбе: «А буде... в Руси такова человека не изыщется, кой бы мог пушечную стрельбу устроить, чтоб даром пули не пропадали, ин хотяб великою ценою из тех земель мастеров добыть, в коих таковые обретаются» [3]).

Итак, без иностранцев не обойдешься. Но смогут ли они исправить все наши неислравы? Уже записка о ратном поведении показывает, что Посошков не считал возможным удовольствоваться призывом иностранных мастеров.

Защита России от неприятеля составляла обязанность государевых холопов, из которых составлялась многочисленная конница. Недостатки этого войска были уже в XVII веке очевидны для некоторых дворян, очень неблагоприятно отзывавшихся, как помнит читатель, о московском военном «плюгавстве». Но у дворян было много поводов снисходительно смотреть на плохую службу их собственной «братьи». У Посошкова таких поводов не было. И он неустанно твердит, что дворяне из Рук вон плохо исполняют свою служебную обязанность. Они заботятся не о том, чтобы неприятеля убить, а о том, чтобы поскорее вернуться

[1]) Там же, стр. 267.
[2]) «Военный сборник» 1859 г., № 4, стр. 365. (Цит. во вступ. статье Е. М. Прилежаева к «Завещанию», стр. XLV).
[3]) Сочинения, т. I, стр. 269.

домой. Да и на поле битвы они далеко не показывают себя героями: «И на службе того и смотрят, чтобы где во время бою за кустом притулиться; а иные такие прокураты живут, что и целыми ротами притуляются в лес или в долу, да того и смотрят, как пойдут ратные люди с бою, и они такожде будто с бою в табор приедут» [1]).

В «Книге о скудости и богатстве» содержится много таких обвинений против служилого класса. Ознакомившись с ними, мы видим, что хотя Посошков и очень крепко держится старого московского образа мыслей, однако не мог не приветствовать тех мер Петра, которые устранили старый способ отбывания дворянами своей военной повинности.

В военном деле нужна «навычка да добрая расправа». Добрая расправа предполагает предъявление дворянству таких требований, с которыми оно не привыкло считаться. Кто же предъявляет их ему? При московском социально-политическом порядке это мог сделать только представитель центральной власти. Посошков прямо высказывает это. Для исправления всех неисправ «надобна воля со желанием великого государя». И чем решительнее обнаруживал Петр такую волю, тем более сочувствовал его мероприятиям наш «купецкий человек».

Дворянство не только защищало Россию, оно и управляло ею. Посошков видел, что защищало оно ее весьма плохо. Он видел также, что и управляло оно ею не очень хорошо. В роли правящего класса оно обнаруживало жестокий произвол. Посошков на себе испытал это.

«На что бодряе и разумнее господина Князь Дмитрия Михайловича, — пишет он. — В прошлом 719 году подал я ему челобитную, чтоб мне завод построить винокурной и водку взять на подряд; и не ведомо чего рада велел меня за караул посадить; и я сидел целую неделю, и стало мне скучно быть, что сижу долго, а за что сижу, не знаю». Ну, еще бы не скучно! Освободился Посошков благодаря все тому же произволу. Он уговорил урядника замолвить о нем слово перед князем. Выслушав урядника, Голицын сейчас же приказал освободить его [2]). Но освобождение, конечно, не избавило его от опасности стать жертвой новых притеснений. В 1721 г. капитан Невельский опечатал его именье и выгнал его из дому. Жена Посошкова была так напутана при этом, что «по чужим дворам больше дву недель скиталась». В том же году полковник Порецкой бранил его «скверней бранью», называл вором, н «похвалялся по-

[1]) Там же, стр. 287.
[2]) Там же, стр. 48—49.

садить... на шпагу». Посошков жаловался на него в суд, но полковник не признал компетенции обыкновенною суда: «Я де судим в военной коллегии» [1]). Обращаясь так с «купецкими людьми», дворяне налагали на свои« крестьян «бремена неудобь носимая», а что они позволяли себе с духовенством, видно из следующих слов нашего автора: «...Дворяня презвитеров сельских ни во что ставят и хуже холопей своих их ведут; и тыи презвигери, боящеся их, служат у них и всякую работу рабью на них работают, паче последнего челединца». Посошков рассказывает, как дворянин Хоныков бил священника по лицу «и крест святый из рук у него вышиб, и с крылца его спехнув, почал его во всем облачении с людми своими бить, и по грязе волочить, и топтать, и чуть жива его оставил, и бьючи приговаривал: «ты де меня променял на Посошкова». Вина священника состояла в том, что он на Пасху раньше, нежели к помещику, зашел с образами к Посошкову, жившему ближе к церкви. Жестоко избитый служитель алтаря не осмелился жаловаться на Хоныкова [2]). Короче, от «государевых холопов» очень худо приходилось всем тем, которые не принадлежали к их сословию. Не удивительно, что когда несколько расшевеленная поворотом к Западу податная Русь выставила в лице Посошкова своего идеолога, он потребовал «правды». Планы преобразования, выработанные им, не заключали в себе ровно ничего революционного или радикального. Но даже одно го обстоятельство, что Посошков придумывал их, между прочим, для того, чтобы положить хоть некоторый предел своеволия «государевых холопов», делало его опасным в их глазах. Да и сам он понимал, что его проекты не могут понравиться служилому классу. Его «Книга о скудости и богатстве» была не публицистическим

произведением, предназначенным для более или менее широкой публики, а тайным докладом царю о разных «неисправах» в его царстве. В обращении к Петру, сопровождающем этот доклад, Посошков просил: «Да не явится мое имя ненавистливым и завистливым людям, паче же ябедникам и обидникам и любителям неправды, понеже не похлебуя им писах. И еще уведят о моей мизирности, то не попустят меня на свете ни малого времени жити, но прекратят живот мой». Так оно и вышло. «Книга о скудости и богатстве» помечена 24 февраля 1724 г., а 29 августа следующего года он был арестован будто бы потому, что «явился е важной креминальной вине». Состав «криминальной вины» его виден из того, что Тайная Канцелярия спрашивала подьячего Шишкина, за-

[1]) Там же, стр. 34—35.

[2]) «Завещание отеческое», стр. 283 - 284.

вешанного в деле архиепископа Феодосия, не было ли у этого последнего книги, «зовомой Скудость с богатством» [1]). В тюрьме Посошков и умер (1 февр. 1726 г.) [2]).

Посошков больше всего сочувствовал купечеству. Но, как мы видели выше, он осуждал порядки тех государств Запада, где «самовластны подданные, а паче купецкие люди». Он хочет, чтобы власть государя была гак же неограниченна, как власть бога. Он возмущается поведением дворянства и даже говорит, что «Царю паче помещиков надлежит крестьянство беречи». Но из дальнейшего развития этой мысли видно, что и она была в сущности очень скромна.

Посошков был далек от требования, высказанного идеологами французской буржуазии: чтобы она сделалась «всем». «Царю яко великородных н военных, тако н купечество и крестьянство блюсти, — говорит он, — дабы никто в убожество не входил, но все бы по своей мерности изобильны были» [3]). Блюсти крестьян значило определить указом их оброки и повинности. А что касается купечества, то Посошков напоминает Петру, как берегут людей, — «а наипаче купецких людей», -в немецких землях, н жалуется на то, что «наши судьи нимало людей не берегут» [4]). И это недовольство нашими «судьями» определяет собою значительную часть его программы. Он требует *правосудия* и, сообразно характеру своего миросозерцания, подкрепляет это требование доводом от религии: «Бог правда; правду он любит». Но как добиться правды в судах? «Ради общежительства любовного, — отвечает Посошков, — аще Великий наш Монарх повелит суд устроити един, каков земледельцу, таков и купецкому человеку, убогому и богатому, таков и солдату, також и офицеру, ничим же отменен, и полковнику и генералу, — и чтоб и суд учинить близостной, чтоб и всякому и низкочинному человеку легко бы его доступать, како на простолюдина, тако и на служивого» [5]). Говорится это, положим, по поводу обид, которые наносились жителям военными, стоявшими у них на «квартирах». Но, по убеждению Посошкова, равный суд должен быть применяем отнюдь не только к случаям столкновений обывателей с их военными постояльцами. Посошков счи-

[1]) *С. М. Прилежаев,* назв. соч., стр. LXII.

[2]) Странно, что А. А. Кизеветтер ставит арест Посошкова в вину Петру; ведь Петр умер 28 января 1725 г., т. е. *семь месяцев до этого ареста.* Идеолог податной России пал жертвой Петровых птенцов из среду служилого класса.

[3]) Сочинения, т. I, стр. 189.

[4]) Там же, стр. 71.

[5]) Там же, стр. 42.

тает нужным выставить на защиту этого требования также и довод от вотчинной монархии: «Царь — судья и подобен он Богу... и в суде у Царя, яко у Бога, нет лица ни богату, ни убогу, ни сильну, ни маломочну — всем суд един» [1]). Очень достойно замечания, что Посошков доходит до идеи *мирового суда* [2]).

Новый, для всех равный, суд предполагает и новые юридические нормы. Посошков доказывает, что надо составить новое уложение, так как уставы все обветшали и от неправых судей все исказились. Для составления нового уложения надо созвать выборных ото всех чинов. «А мнится мне, — прибавляет он, — не худо бы выбрать из крестьян, кои в старостах и в сотских бывали». Чтобы оправдать эту свою мысль, он говорит: «Я видал, что и в Мордве разумные люда есть, то како во крестьянех не быть людем разумным» [3]). У Татищева и у Кантемира мы встретили гораздо более презрительный взгляд на «бессмысленных мужиков».

Когда новое уложение будет написано, следует его «всем народом освидетельствовать самым вольным голосом..., дабы в том изложении как высокородным, так и низкородным, и как богатым, так и убогим... и самым земледельцам, обиды бы и утеснения... не было» [4]).

Написав это, Посошков чувствует страх и оговаривается: Не надо думать, что, рекомендуя прибегнуть к «народосоветию», он «снижает» царскую власть. Народосоветие нужно единственно только ради самыя истимныя правды, а не для ограничении «Его Величества самодержавия». И совершенно ясно, что он остается вполне искренним в этой своей оговорке. Мысль о народосоветии была у этого «московского прогрессиста» простым воспоминанием о старине, т. е. о земских соборах [5]). К тому же «народошветие» отнюдь не отнимает у центральной власти права решать дело в последнем счете по своему усмотрению. Поэтому огромную и странную ошибку сделал Брикнер, когда вообразил, что, заговорив о народосоветии, Посошков выставил политическое требование, подобное тому, которое выставлено было потом во Франции Монтескье и другими просветителями. Посошков и тут остался *«московским прогрессистом»,* т. е., вырабатывая план преобразования, ои смотрел не *вперед,*

[1]) Там же, стр. 257.
[2]) «Завещание отеческое», стр. 184—185.
[3]) Сочинения, т. I, стр. 76.
[4]) Там же, та же стр.
[5]) Об участии выборных в составлении Уложения 1648 г. см. у *В. Н. Латкина,* Земские соборы древней Руси. СПБ. 1885 г., гл. IV.

а *назад,* в прошлое, все более и более отжившее, благодаря внутренней логике общественных отношений в московской вотчинной монархии.

Что «правители» из служилого класса возлагали «бремена неудобоносимые» на всю податную Русь, это легко было заметить всякому, кто не был ослеплен интересами и предрассудками этого класса [1]). Беда в том, что заметить зло еще не значит указать средства к его устранению. Предположим, что «народосоветие» подарило бы русское государство новым уложением. Но ведь «правители» попрежнему выбирались бы из служилого класса, а он крепко сжился с неправдой. Кто и что помешает ему восстановить старые злоупотребления? В старой московской практике нельзя было найти ответа на этот вопрос. Поэтому Посошков отвечает на него неудовлетворительно. Прежде всего он советует судьям усердно молиться богу. Затем он, подобно Пересветову, рекомендует

жестокость. «А прямо рещи — и невозможно правому суду установитися, аще сто другое судей не падет: понеже у нас на Руси неправда велыми застарела» [2]). Однако ведь карать неправедных судей будет тот же служилый класс, из которого они назначаются. Захочет ли он строго отнестись к ним? Посошков сильно сомневается в этом и, чтобы хоть несколько помочь беде, советует назначать низкородных, а не высокородных судей: у высокородных больше связей, способных обеспечить им безнаказанность.

Известно, что наше крапивное семя никогда не отличалось высотою породы. Но известно также, что, несмотря на это, оно всегда умело «наступать на законы». Основной причиной *«неправды» в* Московском государстве было полное *бесправие* его жителей, а именно этой-то причины Посошков и не касается в своих рассуждениях о правосудии. В тех преданиях, которыми руководствовался он, предлагая свои реформаторские планы, и не было ничего похожего на понятие о сколько-нибудь опреде-

[1]) Что социально-политические порядки, установившиеся в России, сильно затрудняют ее экономическое развитие, это видел не один Посошков. Кильбургер писал, что русские не извлекают и десятой доли той пользы, которую они могли бы извлечь из удобного положения своей страны и из своей склонности к торговле. И он сравнивал торговую деятельность с птицей, зажатой в человеческой руке: «Если сдавить ее слишком сильно, то птица непременно умрет, а если разжать руку, то она улетит, что опять-таки принесет убыток ее обладателю. Но, по его словам, русским никогда еще не давали чересчур большой свободы, и слишком часто давили их («Kurzer Unterricht и проч., в «Büching's Magazin für die neue Historie und Geographie». Hamburg 1769, 3 Theil, p. 249).

[2]) Сочинения, т. I, стр. 85—86.

ленных правах обывателей. Оставалось молиться богу да проповедовать жестокость по отношению к неправедным судьям.

Посошков хотел бы, чтобы истцы и ответчики сами защищали свои интересы. Он — большой враг «наемных ябедников», которые своим многословием правду затирают и вводят в заблуждение судей. Но так как ом требует устного судопроизводства, то судьям ставится у него в обязанность приходить на помощь «бессловесным» истцам.

«Правители» имеют возможность притеснять трудящееся население еще и потому, что оно *безграмотно*. Посошков советует учить грамоте крестьянских детей. Это, несомненно, прогрессивная мера. Но, кажется, впадают в преувеличение те, которые приписывают ему требование всеобщего *обучения* крестьянских детей. Он говорит: «Не худо бы было так учинить, чтобы не было и в малой деревне без грамотного человека» [1]). По точному смыслу этих слов выходит, что даже в малой деревне должен быть хоть один грамотный человек. Это еще не всеобщее обучение. Правда, Посошков, не всегда точно выражает свои мысли. К тому же покойный Погодин счел нужным изменить его правописание, чем создал серьезное препятствие для исследователей, лишенных возможности ознакомиться с рукописью Посошкова. Но как бы там ни было, мы знаем, что общественно-политические порядки, господствовавшие в восточных деспотиях, далеко не всегда исключали заботу о распространении грамотности в трудящейся массе.

От грамотности перейдем к вопросу, вовсе не имеющему прямого отношения к ней, но довольно сильно занимавшему Посошкова и послужившему для него поводом к выработке очень характерного законопроекта.

В целях развития производительных сил России он советует учинить указ, «чтобы нищих, по улицам скитающихся... хватать» и, обучив

ткацкому и прядильному делу, отдавать на казенные фабрики. Частным предпринимателям тоже следовало, по мнению Посошкова, предо:тавить право «гулящих робят мужеска пола и женска имать учить, и науча, владети ими вечно, чьи бы они до поимки ни были» [2]).

Это пожелание напоминает западноевропейские постановления о бродягах и нищих. В Англии, по закону 1530 г., здоровых бродяг наказали плетьми и заставляли присягать, что они примутся за работу.

[1]) Сочинения, т. I, стр. 175—176.
[2]) Там же, стр. 151.

Закон 1547 г. предписывал отдавать праздношатающегося в рабство тому, кто на него донесет. Хозяин мог принуждать такого раба к самым отвратительным работам. Во Франции, согласно ордонансу 1777 г., всякий здоровый мужчина был осуждаем на каторжные работы, если не имел ни определенной профессии, ни средств существования. Сходное содержание имеют статьи Карла V для Нидерландов (1537 г.), первый эдикт Голландских штатов и городов, плакат Соединенных провинций 25 июня 1649 г. и т. д. [1]).

В этом случае желание Посошкова совпало с тем, что было на Западе. Ни о каком *упреждении* мысли западноевропейских законодателей здесь, конечно, тоже нельзя и заикаться, так как в Англии XVI века уже было действительностью то, к чему стремился Посошков в начале XVIII. Но любопытно, что здесь Посошков отступил от старого московского взгляда, согласно которому нищие были «красою церковною, христовою братиею, богомольцами за мир» и т. д. [2]), и что к отступлению от этого взгляда его побудила забота о развитии производительных сил [3]). Эту работу не всегда можно было согласить со старыми московскими понятиями.

Не следует думать, однако, что она способна была далеко завести Посошкова в деле критики ветхозаветного московского миросозерцания. Как человек, проникнутый исключительно *практическими* стремлениями, он, не мудрствуя лукаво, задумывался только о ближайших экономических нуждах России. А средства, которыми располагало правительство для удовлетворения *этих* нужд были те же, которые находились в распоряжении русских царей XVII в. Посошков находил, что государство обязано методически вмешиваться в хозяйственную деятельность народа ради его воспитания. В этом он вполне сходился с меркантилистами Запада. Но в его проектах государственное вмешательство сразу получает старо-московский отпечаток. Вот, например, в «Книге о скудости и богатстве» он советует правительству настаивать на том, чтобы купцы брали за свои товары настоящую цену. Возникает вопрос: как поступать с купцами, не исполняющими этого требования? Ответ подсказывается старой московской привычкой: «А буде взял цену не противо настоящия цены излишнюю, то за всякую излишнюю копейку взять на нем штрафу

[1]) *Карл Маркс,* Капитал, изд. О. Н. Поповой, т. I, стр. 693—694.
[2]) См. *И. Прыжов,* Нищие на святой Руси. Москва 1869, стр. 58.
3) В «Завещании отеческом» Посошков высказывает (стр. 169) старый московский взгляд на нищенство. «Кто есть Бог, Иже владеет небом и землею, и иже есть, вся суть Его, а на земли в нищете велицей пребывал» и т. д.

по гривне или по две, и высечь батоги или плетьми, чтобы впредь так не делал» [1]).

За купцами надзирают десятские, пятидесятские и сотские. Если это начальство начнет мирволить купцам, так или иначе обманывающим

своих покупателей, то «взять штраф на десятском в десять мер, а на лятидесятском в пятьдесят мер, а на сотском в 100 мер, и наказание чинить кнутом, по колику ударов уложено будет» [2]).

Так как «европейские жители», пользуясь отсутствием солидарности между нашими торговцами, прижимали их, то Посошков хотел, чтобы русские продавали свои товары иноземцам не иначе, как по цене, установленной с их общего согласия, а также с одобрения начальства. Мысль, по-своему, весьма практичная. Нечто подобное придумал и пытался осуществить А. А. Ордин-Нащокин, когда был воеводой в Пскове [3]). Но и она пришла в голову Посошкову в сопровождении кнута: «А буде кто хотя на один рубль дерзнет приезжим иноземцам продать какого нибудь товару без воли вышнего своего коммандира, то взять с него штраф сторично... и наказание учинить кнутам» [4]).

Во взгляде на кнут, как на самого надежного помощника правительства в деле просвещения русского народа, Посошков совершенно сходился с Петром и его птенцами из среды служилого класса.

Он был убежден, что иностранцы такие же люди, как и мы, но у них лучше «гражданство». И он задумался над лучшим устройством «гражданства» в русском государстве. Некоторые из предложенных им мероприятий заслуживают очень большого внимания. Но даже и эти мероприятия написаны кнутовищем, подобно просветительным указам Петра. Старая Москва неизменно накладывала свой отпечаток даже на тех, которые стремились преобразовать ее.

Ставя перед собой задачу развития производительных сил России, Посошков держался того убеждения, что мы можем обойтись без иностранных товаров, между тем как иностранцы не будут в состоянии и десяти лет прожить без наших. «И того ради, — говорит он, — подобает нам над ними господствовать, а им рабствовать пред нами, и во всем упадок пред нами держать, а не гордость» [5]). Но он сам очень хорошо понимал, что в действительности русским еще далеко до экономического господства над

[1]) Сочинения, т. I, стр. 117—118.
[2]) Там же, стр. 118.
[3]) *Ключевский,* Курс, ч. III, стр. 449—450.
[4]) Сочинения, т. I, стр. 119.
[5]) Там же, стр. 122.

иноземцами. Поэтому в своих проектах он предлагал только такие меры, которые ослабили бы нашу зависимость от немцев, ушедших дальше нас «науками». Что касается торговли, то он советует своим землякам держаться дружно и принимать чужие товары, «по рассмотрению и по согласию общему, к с воли ксммандира своего». Кроме того, он рекомендует вовсе запретить привоз к нам предметов роскоши [1]). А если полное запрещение невозможно, то надо, чтобы покупать эти товары имели право только высокопоставленные лица [2]). Точно так же не следует покупать у иноземцев таких товаров, «кои у тс в России обретаются... соль, железо, иглы, стеклянная посуда... скипидар»... детские игрушки и пр. Главное дело в том, чтобы «...Немецкие затейки и прихоти их... приостановить, дабы напрасно из Руси богатства не тащили». В этом отношении Посошков опять сходился с западными меркантилистами, гораздо раньше его выдвинувшими тот же самый принцип. Но чтобы иностранцы «не тащили» денег из данной страны, она должна по возможности сама производить те товары, которые ввозятся из-за границы. Еще более

нужно ей позаботиться о производстве у себя товаров, выделываемых за границей из ее же собственного сырья. Посошков вполне сознательно защищает это правило. Он пишет: «О сем же всячески надлежит потщиться, чтобы завести в Руси делати те дела, кои делаются из льну и из пеньки, то есть трипы, бумазеи, рубки, миткаля, камордки и порусиные полотна и прочие дела, кои из Русских материялго делаются: сие бо вельми нужно еже кои материалы где родятся, тамо бы они и в дело происходили» [3]). И Посошков опять задумывается о завоевании иностранных рынков: «Я чаю, что мочно нам на всю Европу полотен наготовить, и пред их нынешнею ценою гораздо уступнее продавать им мочно» [4]). И опять действительность напоминает ему, что сначала надо научиться ходить на собственных ногах. «Трудно нам те заводы завести», — признается он. Но если трудно, то правительство должна взять на себя почин. «И ради царственного обогащения, — говорит Посошков, — надлежит на такие дела в начале состроить домы из Царския

[1]) «Нам надобно не парчами себя украшать, но надлежит добрым нравом, и школьным учением, и христианскою правдою». Сочинения, т. I, стр. 127.

[3]) Посошков стоит за то, чтобы всякий чин свое определение имел. Даже внутри каждого сословия, например, купеческого, проектируются им особые «чины», которые, смотря по степени своей зажиточности, могут позволять себе более или менее роскошный образ жизни.

[3]) Сочинения, т. I, стр. 148—149.

[4]) Там же, стр. 150.

казны на пространных местех в тех городех, где хлеб и харч дешевле... и наложить на них оброк, чтобы люди богатились, а Царская казна множилась» [1]). Само собою разумеется, что не следует отказывать в поддержке и частным предпринимателям. Маломочных надо ссужать деньгами «из ратуши или откуды Его Императорское Величество повелит, дабы всякие дела расширялись» [2]). Наконец, надо как можно старательнее исследовать естественные богатства России, которые Посошков считает очень большими: «Я не знаю, чего бы у нас в Руси не сыскать; да мы не знаем, потому что за морем не бывали и в таковых местах, что обретается, не видали и не слыхали, а иноземцы, кои и знают, да не хотят нам объявить» [3]).

Короче, Посошков выработал целую программу экономической политики. Программа эта заключает в себе все главные требования меркантилизма, приспособленные к русской социально-политической обстановке того времени. Весьма знаменательно, что программа эта была выставлена *«купецким человеком».* Конечно, меркантилистами были тогда все русские люди, интересовавшиеся экономической политикой: сам Петр был убежденным меркантилистом. Но вряд ли кто-нибудь из помощников Петра имел такую стройную экономическую программу, как Посошков. Брикнер заметил, что никто из птенцов Петра не был писателем-экономистом, каким можно назвать Посошкова [4]). И это справедливо. Ошибка Брикнера заключается лишь *в* том, что он приписал Посошкову такие передовые взгляды, до каких он решительно не мог додуматься при данных общественно-политических условиях. Посошков не сделал ровно никаких открытий в *экономической теории,* а что касается *экономической практики,* т. е. экономической политики, то он выставил только ряд таких требований, которые *гораздо раньше его* формулированы были западноевропейскими меркантилистами, при чем облек их в форму, соответствовавшую социально-политической обстановке русской вотчинной монархии. Когда Брикнер говорит, что ни Виниус, ни Курбатов, ни Геннинг, ни Кириллов, ни Татищев не могли бы написать

такое сочинение, как «Книга о скудости и богатстве», он опять прав. Но прав совсем не в том смысле, в каком он думает.

Такой человек, как Татищев, наверно, обнаружил бы больше способности к обращению с экономическими понятиями, нежели Посошков,

[1]) Там же, та же стр.
[2]) Там же, стр. 150—151.
[3]) Сочинения, т. I, стр. 153.
[4]) «Иван Посошков». — Ч. I. Посошков как экономист. СПБ. 1876, стр. 67.

если бы захотел внимательно вдумываться в них. Силой мысли он, несомненно, превосходил Посошкова (об образовании, разумеется, нечего и говорить). Но касательно *«правды»,* т. е. управления и правосудия, которой посвящена значительная часть «Книги о скудости и богатстве», точка зрения «шляхтича» помешала бы Татищеву заметить очень многое из того, что заметил «купецкий человек» Посошков. Самые сильные стороны книги Посошкова обязаны своим существованием именно тому, что он по самому положению своему не расположен был смотреть сквозь пальцы на «бремена неудобоносимые», наложенные служилым классом на работавшую и торговавшую Русь. Взглянув на наши тогдашние порядки с точки зрения *этой* Руси, *наш* московский прогрессист, т. е., значит, консерватор по преимуществу, сделал такие наблюдения, за которые его посадили в каземат и которые казались нашим бюрократам опасными вплоть до эпохи реформ Александра II.

Мы уже знаем, что Посошков никаких основ не потрясал, а только хотел утвердить, — правда, расширив их со стороны, полезной трудящемуся населению, — старые основы Московского государства. Но тот факт, что он принадлежал не к числу «государевых холопов», а к числу «государевых сирот», оказал очень большое *отрицательное* влияние как на ход его умственного развития, так и на судьбу его проектов. Его общественное положение помешало ему усвоить себе европейские знания, хотя бы в том объеме, в каком усваивали их птенцы Петровы. Он на всю жизнь остался самоучкой старого московского типа. И когда этот самоучка придумывал какую-нибудь меру, полезную, по его мнению, для всего государства, ему надо было преодолеть невероятное множество препятствий только для того, чтобы довести о ней до сведения власть имущих. Еще М. П. Погодин отметил рассказ Посошкова о том, как тщетно пытался он добиться свидания с кабинет-секретарем Макаровым. «В 718 году, — повествует Посошков, — написал я доношение Е. И. В. о тех новоначинающихся деньгах... и для подания приходил к Господину Алексею Васильевичу Макарову, и за жестокими караульщики не мог получить, ежебы то доношение его милости вручить, и поехал он к лекарственным водам. И тако то доношение мое и осталось у меня, и я последи того времени отдал кучеру Куриеву [1]), Егору Сергееву, который в доме его Алексея Васильевича пребывает, и просил его, дабы по времени вручил ему. И вручил ли он то мое доношение... или нет, про то не вем» [2]).

[1]) По предположению издателя, курьеру.
[2]) Сочинения, т. I, стр. 250—251.

По этому поводу покойный историк воскликнул: «Курьер Макарова был вожделенным меценатом для нашего политика!». Это было в самом деле так. И это показывает, как трудно было прийти на помощь к Петру тем сторонникам его реформы, которые не были

«шляхтичами». Если Петр желал, как я напомнил об этом выше, чтобы «порода» уступила дорогу *«чину», «выслуге»,* то практическое значение желание это могло иметь только в пределах служилого класса, для лиц же других классов пути к выслуге были почти совершенно закрыты.

Реформа Петра совершилась силами дворянства. В лице Посошкова мы имеем дело с человеком, сочувствовавшим этой реформе, но лишенным возможности принять деятельное участие в ней. Это вынужденное положение *сочувствовавшего* наблюдателя, а не деятельного участника преобразовательных усилий позволяло ему судить об их результатах, не вдаваясь ни в какие преувеличения на их счет. И надо признать, что было много-много пессимизма в его отзывах об этих результатах.

«Видим мы вси, как Великий наш Монарх... трудит себя, да ничего неуспеет, — писал Посошков, — потому что пособников по его желанию не много: он на гору аще и сам-десять тянет, а под гору миллионы тянут; то како дело его споро будет?» [1]).

Надо заметить, что этот, так часто цитируемый, отзыв относится у Посошкова, собственно, к стараниям Петра водворить правосудие в России. Но даже введенный в эти сравнительно узкие пределы, он лишний раз напоминает о том, что далеко не все обстояло благополучно в «обновленной» России. И тем самым он выгодно отличает Посошкова от тех безусловных панегиристов, к числу которых, к сожалению, принадлежал даже Ломоносов.

2. М. В. Ломоносов

То обстоятельство, что Россия была самодержавно-шляхетским государством, определило, между прочим, как ход просвещения в нашей стране, так и степень его доступности для различных общественных классов. «Шляхетство», особенно в лице тех своих представителей, которые «теснились у трона», имело сравнительно легкую возможность удовлетворить потребность в знании, раз она возникала у него. В России XVIII века оно даже обязано было учиться и подвергалось ответственно-

[1]) Сочинения, т. I, стр. 95.

сти за неисполнение этого своего долга [1]). Наоборот, тяглая Русь обязана была доставлять средства для дворянского просвещения; пребывая в той же темноте, в какой прозябала она до Петровской реформы. Правда, правительство вынуждено было привлекать в школы не только шляхетских детей: образованных «шляхтичей» не хватало для служения многочисленным нуждам государства. Но даже на школьной скамье разночинцы не смешивались с дворянами. Когда в Москве возник университет, там же основаны были для подготовки слушателей две гимназии: одна для *дворян, а другая* для *разночинцев.* В Петербурге, где была одна только гимназия при Академии Наук, правилами 1750 г. предписывалось «обучающимся в гимназии из шляхетства и других знатных чинов людей детям сидеть за особенным столом, а которые незнатных отцов дети, тех особливо отделить» [2]). По всему видно, что дворянство очень дорожило этими отличиями. Мы знаем, как заботился просвещенный Татищев о том, чтобы, в деле ученья, шляхетство «от подлости отделено было».

Наконец, необходимо помнить, что к числу счастливцев, имевших хотя бы и очень нелегкий доступ в среднюю и высшую школу, не принадлежали дети *многочисленных крепостных людей.*

Выходит, что Некрасов слишком оптимистически представлял себе

положение дел на нашей родине, когда писал в своем стихотворении «Школьник»:

Не бездарна та природа,
Не погиб еще тот край,
Что выводит из народа Столько
славных, то и знай...

Что русская «природа» отнюдь не бездарна, об этом нечего и говорить. Но, к сожалению, даровитые люди из русской народной среды слишком часто лишены были возможности развить свои духовные силы и сделаться «славными». Общественно-политический строй загораживал русской народной массе дорогу к знанию. Это до такой степени верно, что возникло предание, согласно которому «архангельский мужик», упоминаемый в том же стихотворении Некрасова, отворил себе дверь в школу только посредством обмана.

[1]) Кто по той или по другой причине стоял близко к трону, имел возможность не только просвещать самого себя, ко и «командовать» просвещением. Кирилл Разумовский в 18 лет был назначен президентом Академии Наук.

[2]) *В. В. Каллаш,* Очерки по истории школы и просвещения. Москва 1902, стр. 96.

Рассказывают, что, стремясь попасть в Славяно-греко-латинскую Академию, Ломоносов выдал себя за сына священника (по другому известию — дворянина), так как туда принимали учеников только из среды дворянства и духовенства. Потом, опасаясь наказания за эту ложь, он будто бы открылся Феофану Прокоповичу, который сказал ему: «Не бойся ничего; хотя бы со звоном в большой колокол стали тебя публиковать самозванцем, я твой защитник».

С фактической стороны этот рассказ сомнителен. Однако se non è vero, è ben trovato. В нем есть своя правда. Верно то, что «ученая дружина», к которой принадлежал Прокопович, больше, нежели кто-нибудь, должна была сочувствовать успехам просвещения в России. В рассказе позабыто одно: эта дружина тоже совсем не чужда была сословных предрассудков. И уже «совсем верно изображено в рассказе крайне затруднительное положение даровитых молодых людей, рвавшихся к свету, но не имевших счастия принадлежать к сословиям более или менее привилегированным. Ввиду этого крайне затруднительного положения возникает вопрос: как же все-таки вышло, что крестьянское происхождение не помешало молодому Михаилу Ломоносову сделаться наиболее выдающимся русским ученым XVIII столетия?

Само собою разумеется, что ему помогла «природа», одарившая его огромными способностями. Однако одних способностей было мало: необходимо было добиться возможности *применить их к* делу. Откуда вырвал ее даровитый крестьянский юноша?

Тут, прежде всего, надо вспомнить ту «благородную упрямку», о которой не без гордости говорил впоследствии сам Ломоносов и которая действительно была ему в высшей степени свойственна. В письме к И. И. Шувалову он так рассказывал о своей жизни в «Спасских школах» (т. е. в названной выше московской Академии).

«Обучаясь в Спасских школах, имел я со всех сторон отвращающие от наук пресильные стремления, которые в тогдашние лета почти непреодоленную силу имели. С одной стороны, отец, никогда детей кроме меня не имея, говорил, что я, будучи один, его оставил... С другой стороны, несказанная бедность: имея один алтын в день жалованья, нельзя было иметь на пропитание в день больше, как на денежку хлеба и на денежку квасу, протчее на бумагу, на обувь и

другие нужды. Таким образом жил я пять лет и наук не оставил. С одной стороны, пишут, что, зная моего отца достатки, хорошие тамошние люди дочерей своих за меня отдадут, которые и в мою бытность предлагали; с другой стороны, школьники

малые ребята кричат и перстами указывают: смотри-де, какой болван лет в двадцать пришел латыне учиться».

Что и говорить! Много «благородной упрямки» обнаружил тогда юный «архангельский мужик». Но и она ничего не объясняет. Остается непонятным, как же мог попасть в школу хотя бы и очень даровитый крестьянский сын при тогдашнем положении крестьянской массы.

Чтобы понять это, мы должны принять в соображение, что Ломоносов родился на севере, где крестьянство издавна жило не совсем так, как в других частях русского государства. Нельзя сказать, чтобы там совсем не было крупного землевладения: север имел немало *монастырей,* владевших землею и располагавших рабочей силой подчиненных им крестьян. Но это было только полбеды. Другая, горшая половина отсутствовала: там не было *поместного* землевладения. Это не могло не оказать благотворного влияния на характер и привычки местного населения, которое, кроме того, еще от времен «господина Великого Новгорода» вело очень подвижный образ жизни и отличалось более независимым характером, чем жители коренных московских областей. Независимость характера сопровождалась более высокой культурой. Ломоносов научился читать еще у себя на родине. Правда, его мать была дочерью дьякона, однако учился он не у нее, потому что она умерла слишком рано. Правда и то, что, подстрекаемый мачехой, отец часто журил его за «пустую» трату времени на книги. Но не все его односельцы относились к ученью так пренебрежительно. Есть известие о том, что грамоте выучил его крестьянин Шубный, который будто бы и внушил ему мысль об отходе в Москву. У другого крестьянина той же деревни, Христофора Дудина, Ломоносов достал сделанное Симеоном Полоцким стихотворное переложение Псалтыри, грамматику Смотрицкого и арифметику Магницкого. Подмосковный крестьянин Посошков мечтал о том, чтобы не было ни одной деревни без грамотного человека. В Денисовке эта мечта была действительностью. И то, что она была там действительностью, значительно облегчило первый шаг гениального крестьянина-мальчика на его пути к свету — знанию.

Но еще прежде, нежели научиться читать, юный Ломоносов научился путешествовать и выносить лишения, всегда связанные с тем родом путешествий, который выпадал на долю трудящегося народа. Отец его занимался морскими рыбными промыслами и, уезжая из дому, часто брал сына с собой. Некоторые исследователи думают, что величественные явления северной природы впервые заронили в душу гениального юноши нередко повторявшуюся им впоследствии мысль о божьем могуществе.

Это, конечно, возможно, хотя, как увидим ниже, мысль эта могла иметь другое происхождение. Но что кажется неоспоримым, так это то, что ранние, богатые трудностями и приключениями путешествия Ломоносова закаляли его характер и сообщали ему «благородную упрямку». Еще более вероятным считаю я то соображение, что, родись Ломоносов в какой-нибудь помещичьей деревне центральной России, ему, пожалуй, не пришлось бы сопровождать своего отца дальше, как до господской усадьбы и до господской пашни, и тогда отход из дому в

Москву, — если бы Ломоносов и стал задумываться о нем, — показался бы ему слишком затруднительным или даже прямо несбыточным. Наконец, если бы он все-таки ушел, то правило, запрещавшее принимать в школы крепостных детей, явилось бы, может быть, самым большим препятствием на его пути, к свету.

Мы видим отсюда, что архангельский мужик стал разумен и велик не только по своей и божьей воле.

Ему чрезвычайно помогло то обстоятельство, что он был, именно, *архангельским* мужиком, мужиком-поморцем, не носившим крепостного ошейника.

Теперь взглянем на дело с другой стороны. Там, где отсутствовал служилый класс, не могло быть и борьбы с ним, а следовательно, — не могло быть и настроения, создаваемого классовой борьбою. В Смутное время, когда Болотников поднимал крепостных крестьян и холопов, поморцы не только не пошли за ним, но, напротив, поддержали московское • правительство царя Василия. Да и потом их усилия способствовали восстановлению старого, расшатанного Смутой, социального строя Московского государства. В одушевлявшем их духе независимости не было ничего бунтовского, ничего, толкающего на «потрясение» каких-либо «основ».

Ровно ничего похожего на склонность к потрясению каких-либо основ не заметно и во взглядах Ломоносова. Юношеские годы, проведенные им на родине, оставили в его душе богатый запас впечатлений. Но впечатления эти порождены были преимущественно картинами природы и борьбою с нею за существование. Взаимные отношения людей в обществе, т. е. взаимные отношения общественных классов, никогда не возбуждали в нем такого интереса, с каким относился к ним Посошков. В высокой степени свойственная Ломоносову «благородная упрямка» сделала из него человека, умевшего охранять свое достоинство в то печальное время, когда образованные разночинцы, — вспомним несчастного Тредьяковского, покорно гнули шею перед разного рода «милостивцами». Правда,

и Ломоносову приходилось искать покровительства Ив. Ив. Шувалова: без покровителей тогда нельзя было обойтись. Но. ища покровительства, он умел охранять свою гордую независимость. «Не только у стола знатных господ или у каких земных владетелей дураком быть не хочу, — писал он тому же Шувалову, заподозрив его в желании поиздеваться над ним, — но ниже у самого Господа Бога, который мне дал смысл, пока разве отнимет» [1]). Можно ли не согласиться с тем, что «упрямка», подсказавшая эти слова, была поистине *благородной* упрямкой? Но дух личной независимости очень хорошо уживался у Ломоносова с почти полным, — чтобы не сказать просто полным, — равнодушием к основным вопросам общественного устройства. Н. Булич заметил, что Ломоносов не видел темных сторон Петровской реформы. Он мог бы сказать больше того: Ломоносов не видел также и темных сторон современного ему русского общественного порядка. В этом отношении чрезвычайно даровитый и разносторонне ученый *поморец* далеко отстал от *подмосковного* «купецкого человека», самоучки Посошкова, так страстно искавшего доступной его уму «правды» в социальных отношениях.

Казалось бы, что запрещение принимать в школы крепостных детей должно было вызывать со стороны Ломоносова самое решительное осуждение. Ведь он по собственному опыту знал, как трудно было попадать на школьную скамью детям тяглой Руси.

Прекрасно знал он и то, что на Западе тогда не существовало сословных перегородок в деле образования. «Другие европейские государства, — писал он, разбирая академический регламент 1747 года, — наполнены людьми учеными всякого звания, однако не единому человеку не запрещено в университетах учиться, хто бы он ни был, и в университете тот студент почтеннее, кто больше научился; а чей он сын, в том нет нужды. Здесь в российском государстве ученых людей мало; дворянам для беспорядку рангов нет ободрения; в подушный оклад положенным запрещено в Академии учиться. Может быть, сочинитель думал, что государству великая тягость, ежели оно 40 алтын (подушной подати. — *Г. П.*) в год потеряет для получения ученого россиянина»... Но, критикуя «сочинителя» регламента, Ломоносов не говорит, как, наверно, сказал бы Посошков, — что надо позволить «положенным в подлинный оклад» учиться, где они пожелают. Он не идет так далеко, он хотел бы только добиться известных послаблений для более зажиточных слоев народа. Он спрашивает: «Чем те виноваты, которые,

[1]) Материалы для биографии Ломоносова, собранные академ. *Билярским* стр. 487.

состоя в подушном окладе, имеют такой достаток, что на своем коште детей своих в науку отдать могут? И для чего выключены все глухо, не различив хороших (sic!) людей посадских от крепостных помещичьих?».

Что это значит? То ли, что Ломоносов, не надеясь добиться всего, предпочитал получить от начальства хоть что-нибудь? Или же то, что «хорошие люди посадские» были ближе сердцу гордого поморца, нежели помещичьи крепостные крестьяне? Очень может быть, и то и другое.

Г. Сухоплюев писал недавно, что в своей известной записке «О размножении и сохранении российского народа» Ломоносов «по существу требовал ограничения прав дворян над их крепостными» [1]). Какой характер имело это требование, показывает то место названной записки, где говорится о крестьянских побегах.

Из пограничных областей крепостные уходили за границу и тем самым переставали существовать для государства, превращаясь для него в живых покойников, по образному выражению Ломоносова. Правительство множило караулы на русском рубеже. Ломоносов находит, что эта мера цели не достигает, так как, — опять по его же образному выражению. — столь великой скважины силою не запрешь. Остается только прибегнуть к мерам кротости.

«Побеги бывают более от помещичьих отяготений и от солдатских наборов, — говорит Ломоносов. — И так, мне кажется, лучше пограничных с Польшею жителей облегчить податьми и снять солдатские наборы, расположив их по всему государству» [2]).

Во всей записке это единственное место, где наш автор касается положения крепостных крестьян. Но касается он его, как видам, не «по существу», а единственно по тому побочному поводу, что крестьянские побеги уменьшают население государства. Но замечательно, что Ломоносов не решается выступить с проектом каких-нибудь ограничений помещичьих прав, хотя бы только в пограничных местностях. Он только советует облегчить там гнет податей и тяжесть солдатских наборов. Это как нельзя более осторожно. Правда, он обещает предложить еще другие «способы» в записке о просвещении и об исправлении народных нравов. Записка эта до нас не дошла. Однако чет никакого основания предполагать, что Ломоносов высказывал в ней

более широкий взгляд на задачи государства по отношению к крепостному крестьянству.

[1]) «Взгляды Ломоносова на политику народонаселения» в «Ломоносовском сборнике», 1911 г., стр. 193.

[2]) См. третий выпуск «Бесед в Обществе любителей российской словесности при Московском университете», стр. 85—86. Москва 1871 г.

Редакция «Москвитянина», еще в начале 40-х годов напечатавшая записку о размножении российского народа, тогда же заметила от себя: «Великий ученый и литератор не оставлял ни одного государственного и народного вопроса без внимания! Обо всем думал и обо всем имел собственные мысли и предположения» [1]). Это верно. Нельзя не удивляться широте умственных интересов Ломоносова. В Письме к И. И. Шувалову, сопровождавшем записку о народном размножении, он говорил, что у него есть еще много заметок, «простирающихся к приращению общей пользы», и что они могут быть распределены по таким отделам:

1) о размножении и пр. (уже известная нам записка);
2) о истреблении праздности;
3) о исправлении нравов и о большем народа просвещении;
4) о исправлении земледелия;
5) о исправлении и размножении ремесленных дел и художеств;
6) о лучших пользах купечества;
7) о лучшей государственной экономии;
о сохранении военного искусства во время долговременного мира.

Когда он находил время думать обо всех этих вопросах? Хорошо выразился Пушкин, назвав его нашим первым университетом. Однако не все факультеты этого университета работали с одинаковым прилежанием и с равным успехом. Призванием Ломоносова являлось естествознание. Тут он был глубок и оригинален. Наоборот, в общественных вопросах он разбирался не очень хорошо, и потому «мысли, простирающиеся к приращению общей пользы», не были ни глубоки, ни оригинальны.

Кто внимательно прочтет записку о народном размножении, тот с уверенностью скажет, что в этого рода заметках Ломоносова вообще не могло быть критических взглядов на основы нашего общественного строя. Мы уже видели, как поверхностно решал он вопрос о положении крепостных крестьян в порубежных губерниях России. Теперь обратим внимание на нечто еще более замечательное.

Предложенное им решение крестьянского вопроса сопровождается такой фразой: «Для расколу много уходит российских людей на Ветку; находящихся там беглецов не можно ли возвратить при нынешнем военном случае?» [2]).

[1]) «Москвитянин», 1842 г., кн. 1. Материалы для истории российской словесности, стр. 126, примечание. Записка Ломоносова напечатана там с пропусками.

[2]) «Беседа», вып. III, стр. 85. Записка помечена первым ноября 1761 г., т. е. относится ко времени Семилетней войны.

Очень похоже на то, что Ломоносов советовал правительству воспользоваться «военным случаем» для насильственного возвращения наших беглецов, поселившихся на Ветке. Надо сознаться, что «по существу» это было бы не весьма умной мерой борьбы с побегами раскольников. От Ломоносова можно было бы ожидать другого. Но в том-то и дело, что в вопросах этого рода он разбирался весьма плохо [1]).

Делая оценку соображений, заключающихся в записке

Ломоносова, г. Сухоплюев говорит, между прочим, что ее автор был убежденным сторонником эвдаймонистической философии, будто бы впервые систематизированной Хр. Вольфом. «Содействовать достижению общего счастья, доставлять благосостояние всеми полицейскими мероприятиями во имя естественного права составляет обязанность и право государственной власти, — поясняет г. Сухоплюев, — таково было убеждение Хр. Вольфа. Подобно Вольфу, Ломоносов стремится к достижению общего счастья, убежден в незыблемости велений естественного права, возлагает преувеличенные надежды на всемогущество правительственной деятельности» [2]).

На основании этих слов г. Сухоплюева можно подумать, что эвдаймонизм, будучи приведен в систему, непременно должен держаться точки зрения полицейского государства. Это — огромное и даже весьма комичное заблуждение [3]). Но верно то, что Вольф был сторонником полицейского государства и что в этом отношении, как и во многих других, Ломоносов шел за ним. Если бы это было иначе, то наш великий ученый не дал бы совета возвращать домой беглых раскольников с помощью военной силы. И если бы его общественные взгляды проникали за пределы полицейского государства, то он и на положение крестьян взглянул бы не только под углом казенного интереса.

Как и для Вольфа, идеалом для Ломоносова являлось полицейское государство, руководимое просвещенным абсолютным монархом. В про-

[1]) «Московский Сборник», стр. 209.

[2]) Ломоносов намекал на средство, уже испытанное нашей администрацией. В 1733—1734 г.г. русских крестьян, бежавших в Польшу, силой возвращали оттуда, пользуясь пребыванием на польской территории наших войск, поддерживавших кандидатуру Августа III вопреки явно выраженной воле огромнейшего числа законных избирателей. Мысль о некотором облегчении участи крестьян пограничных местностей тоже высказывалась раньше, нежели к ней пришел Ломоносов. 3 1735 г. смоленский губернатор А. Бутурлин предложил ее правительству, придав ей поистине комическую форму *(Соловьев,* История России, кн. 4, стр. 1435).

[3]) Надо еще прибавить, что Вольф не был таким безусловным сторонником эвдаймонизма, как это думает г. Сухоплюев.

ектах тех мероприятий, которые рекомендует Ломоносов для сохранения и размножения народа, видна непоколебимая вера во всемогущество попечительного и просвещенного начальства. Вера эта подкреплялась у Ломоносова примером недавнего царствования Петра Первого.

Он признает, что много препятствий стоит на пути к исправлению указанных им недостатков, но не надо этим смущаться. Препятствия эти «не больше опасны, как заставить брить бороды, носить немецкое платье, сообщаться обходительством с иноверными, уничтожить боярство, патриаршество и стрельцов, и вместо их учредить Правительствующий Сенат, Святейший Синод, новое регулярное войско, перенести столицу на пустое место и новый год в другой месяц! Российский народ гибок!» [1]).

Интересен ближайший повод, по которому он выражает свою уверенность в гибкости нашего народа. Ломоносов находил, что наши посты и сопровождающие их разговенья приносят большой вред народному здоровью: «Бедный желудок, привыкнув чрез долгое время к пищам малопитательным, вдруг принужден принимать тучные и сальные брашна в сжавшиеся и ослабевшие проходы и, не имея требуемого довольства жизненных соков, несваренные ядения по жилам посылает: они спираются, пресекается течение крови, и душа из

тесноты тела прямо улетает». В доказательство он ссылается на церковные записи, из которых можно, по его словам, узнать, в какое время года у попов выходит всего больше меда на кутью. Обычай поститься возник в теплом климате, делавшем известное воздержание от пищи безвредным для здоровья. Наш климат — совсем другой. Кроме того, мы должны помнить, что богу приятнее, «когда имеем в сердце чистую совесть, нежели в желудке цынготную рыбу», и что злой человек, обижающий своих ближних, не получит прощения от бога, «хотя бы он вместо обыкновенной постной пищи в семь недель ел щепы, кирпич, мочало, глину и уголье и большую бы часть того времени простоял на голове вместо земных поклонов» [2]). Это рассуждение вполне одобрили бы все просветители.

Просветителем является перед нами Ломоносов и в остальных частях записки. Так, например, он осуждает обычай крестить младенцев зимою в холодной воде. Он советует «принудить властию, чтобы всегда крестили водою летней в рассуждении теплоты равною». Жалуется он еще на то, что у нас в народе не имеют понятия о повивальном искус-

[1]) «Записка», стр. 81.

[2]) Там же, та же страница.

стве и о лечении детских болезней. Большое препятствие к размножению народа видит он также в «насильном» и в «неравном супружестве». Под неравным супружеством он понимает большую разницу в возрасте между брачущимися. Он думает, что невеста не должна быть старше жениха больше, чем двумя годами, а жених не должен быть старше ее на пятнадцать лет. «Насильное» супружество есть супружество вопреки воле одного из брачущихся лиц или обоих. «Где любви нет, не надежно н плодородие», — замечает Ломоносов [1]).

Запомним еще его протест против пострижения в монашество молодых людей обоего пола. Он советовал «клобук запретить мужчинам до 50-ти, а женщинам до 45-ти лет».

Наконец, он хотел бы, чтобы правительство учредило «богаделенные домы» для незаконнорожденных.

Исходной точкой для всех этих, — *в своем роде* весьма разумных,— проектов, служит государственный интерес. Собственный интерес жителей уходит из поля зрения Ломоносова. Да и забота о государственном интересе подсказывает ему только такие меры, которые решительно ни в чем не изменили бы установившихся на Руси общественных отношений.

Ломоносов мог возмущать духовенство своими свободными рассуждениями о постах или своим насмешливым гимном бороде. Но в общественном смысле он всегда оставался полным и, конечно, вполне искренним консерватором.

Вольф тоже был консерватором, хотя его ненавидели протестантские ортодоксы и пиетисты. Но мы ошиблись бы, если бы приписали влиянию Вольфа консерватизм нашего гениального поморца. В нем было слишком много самостоятельности для того, чтобы он без критики подчинился чьему-нибудь влиянию. Более основательным представляется то предположение, что Ломоносов усвоил консервативное миросозерцание Вольфа именно потому, что у него самого не было никакой склонности критиковать существовавший у нас тогда общественный порядок.

В отличие от французских просветителей, немецкие были полны Духа компромисса. Взгляды Вольфа надо рассматривать как всесто-

ронне обдуманную попытку устранить из просветительной философии все то, что могло бы привести ее в сколько-нибудь серьезное противоречие с германской действительностью. Но для того, чтобы избежать такого столкновения, освободительная философия непременно должна

[1]) Там же, стр. 84.

была, между прочим, провозгласить мир между религией и наукой: мир этот был провозглашен еще Лейбницем, затратившем очень много ума на безнадежное дело его теоретического оправдания. Вольф высказывался за такой мир, пожалуй, еще энергичнее, нежели Лейбниц. Он категорически и настойчиво утверждал, что рассказы, содержащиеся в книгах Ветхого и Нового Завета нисколько не противоречат разуму. В своей теологии он отводил широкое место физико-теологическому доказательству бытия божия. И во всем этом Ломоносов твердо шел по следам своего учителя. Его «Утреннее размышление о Божием величестве» заканчивается таким обращением к богу:

Творец, покрытому мне тьмою
Простри премудрости лучи,
И что угодно пред Тобою
Всегда творити научи,
И, на Твою взирая тварь,
Хвалить Тебя, бессмертный царь.

Положим, сам Вольтер охотно прибегал к физико-теологическому доказательству бытия божия и нередко принимался хвалить творца, указывая на «тварь». Вольтер был убежденным деистом. Однако фернейский патриарх всю жизнь стремился «écraser l'nfâme», между тем как Ломоносов, подобно Вольфу, никогда не задавался подобной целью. Его рационалистические рассуждения о посте могли не нравиться духовенству, но, на самом деле, в них не заключалось ничего опасного для церкви.

Если в своем отношении к ней Ломоносов не был безусловным консерватором, то лишь постольку, поскольку не был им сам Петр Первый, его идеал монарха-просветителя. Петр без церемонии наложил свою железную руку на русское духовенство. Но, окончательно подчиняя церковь центральной власти, он не потерпел бы никаких нападок на ее догматы. Никогда не нападал на них и никогда не сомневался в них и Ломоносов.

Он и тут нимало не расположен был к потрясению каких-либо основ. Он высказывал твердое убеждение в том, что научная истина и религиозная вера «суть две сестры родные, дщери одного Всевышнего родителя» и что они «никогда между собою в распрю прийти не могут, разве кто из некоторого тщеславия и показания своего мудрования на их вражду всклепнет». Нужно ли было ему в детстве видеть величественные картины северной природы, чтоб в зрелые годы составить себе такое убеждение? Нет! Убеждение это разделяли тогда все немецкие про-

светители, никогда не бывавшие на севере. Чтобы прийти к нему, нужно было только не иметь того оппозиционного настроения, которое в тогдашней Франции так часто и так сильно ссорило науку с верой. А его-то и не имел Ломоносов.

Что его стихотворные размышления о божьем величии проникнуты полной искренностью, это доказывается тем духом поэзии, который, бесспорно, пропитывает их. В этих своих произведениях

Ломоносов обнаруживает несравненно больше поэтического вдохновения, нежели в своих одах. Но поэтом несомненным, глубоко чувствующим поэтом, он становится тогда, когда смотрит «а вселенную не с точки зрения того или другого мифа, а с точки зрения современного ему естествознания, так хорошо ему знакомого. Он восклицает:

Когда бы смертным толь высоко
Возможно было возлететь,
Чтоб к солнцу бренно наше око
Могло, приблизившись, воззреть;
Тогда б со всех открылся стран
Горящий вечно океан
Там огненны валы стремятся
И не находят берегов,
Там вихри пламенны крутятся,
Борющись множество веков;
Там камни, как вода, кипят,
Горящи там дожди шумят.

Язык тут, разумеется, тяжел, как тяжел он нередко даже в наиболее удачных стихотворениях той эпохи. Но дыхание космической поэзии чувствуется здесь в такой же мере, как и в «Вечернем размышлении о Божием величестве»:

Лицо свое скрывает день;
Поля покрыла мрачна ночь,
Взошла на горы черна тень;
Лучи от нас склонились прочь.
Открылась бездна звезд полна. Звездам
числа нет, бездне дна.
Уста премудры нам гласят:
Там разных множество светов;
Несчетны солнца там горят,
Народы там и круг веков и т. д.

Странно, что Пушкин, обладавший таким тонким критическим чутьем и, в общем, судивший так поразительно верно о стихотворной

деятельности Ломоносова, не обратил внимания на эту ее сторону. Если, как заметил он сам, вдохновение есть расположение души к живейшему принятию впечатлений, то надо признать, что именно научное представление о космосе располагало душу Ломоносова к живейшему принятию впечатлений, получавшихся им от картин природы.

Горячий сторонник просвещения, Ломоносов не мог не преклониться перед монархом, который «предусмотрел за необходимо нужное дело, чтобы всякого рода знания распространить в отечестве, и людей искусных в высоких науках, также художников и ремесленников размножить» [1]). Неприятно действуют на нынешнего читателя только огромные преувеличения в похвальных отзывах его о первом русском императоре. Он заявляет, например: «Ежели человека, Богу подобного, по нашему понятию, найти надобно, кроме Петра Великого не обретаю» [2]). Кажется, что дальше идти в этом направлении невозможно. Но Ломоносов идет дальше.

«За великие к отечеству заслуги — читаем мы в том же похвальном слове, — назван он (Петр. — *Г. П.*) отцом отечества. Однако мал ему титул. Скажите, как Его назовем за то, что Он родил Дщерь всемилостивейшую Государыню нашу, которая на отеческий престол мужеством вступила, гордых врагов победила, Европу усмирила, благодеяниями своих подданных снабдила?» [3]).

Громкий титул отца отечества «мал» для Петра, потому что он «родил» Елизавету! Это уже слишком даже с точки зрения собственной риторики Ломоносова, согласно которой «штиль в панегирике, а особливо в заключении должен быть важен и великолепен, и при том уклонен и приятен» [4]). Надо прямо сказать: «штиль» похвальных слов Ломоносова неприятен. Он заставляет вспоминать не только о панегирике Плиния Младшего Траяну, на который указывали наши исследователи как на образец, избранный Ломоносовым, но и о тех панегириках IV столетия, в которых римские ораторы времен упадка превозносили тогдашних владык Рима. Неприятно чувствуешь себя, когда невольно приходят в голову такие невыгодные для великого «архангельского мужика» сравнения. Конечно, царствование Елизаветы дало кое-кому возможность облегченно вздохнуть после тирании Бирона. Но мы знаем те-

0 Сочинения М. В. Ломоносова, изд. Ак. Наук, т. IV, стр. 368.
[2]) Там же, стр. 390. (Похвальное слово Петру.)
[3]) Там же, та же страница.
[4]) Сочинения, т. III, стр. 70.

перь, что общее положение страны очень мало улучшилось и при Елизавете. Это очень хорошо видели наблюдательные современники [1]). Неужели не видел этого очень наблюдательный Ломоносов? А если видел, то откуда почерпал он свой восторг? Как мог он *воспевать «блаженство дней своих»?* Можно сказать, пожалуй, что не один он готов был писать панегирики власть имущим. Однако это не ответ. Своими редкими дарованиями Ломоносов так сильно возвышался над окружавшею его средою, что мог бы хоть немного отклониться от установившегося в ней обычая. Ведь умел же он говорить с И. Шуваловым таким языком, каким не имели обыкновения говорить с «милостивцами» другие образованные разночинцы того времени. Разгадка в том, что иное дело Шувалов, а иное дело Петр и его «дщерь». Чтобы написать знакомое нам письмо к Шувалову, достаточно было духа личной независимости и «благородной упрямки», а чтобы усмотреть черные стороны Петровской реформы и царствования Елизаветы, нужна была такая склонность к обдумыванию важнейших общественных явлений, какой никогда и ни в чем не обнаруживал Ломоносов. Ученый естествоиспытатель, он сохранил большую наивность в области политики [2]).

Ломоносов высказывает то мнение, что у нас музы могут найти себе более безопасное убежище, нежели где бы то ни было. Подкрепляется это мнение ссылкой на то исключительное спокойствие, которым будто бы пользуется Россия благодаря «прозорливости Монархини нашея», а также указанием на обширность русского государства и на вытекающее отсюда разнообразие его физических особенностей. «Ибо де удобнее совершиться может звездочетная и землемерная наука, как в обширной Ее Величества державе, над которою солнце целую половину своего течения совершает, и в которой каждое светило восходящее и заходящее в едино мгновение видеть можно?» [3]), — спрашивает, например, Ломоносов. Излишне доказывать, что с точки зрения истории куль-

[1]) В 1757 г. голландский посланник писал: <Общество в России представляет ужасающую картину распущенности и беспорядка, распадение всех связей гражданского общества. Императрица видит и слушает только Шувалова (очевидно, П. П. Шувалова. — *Г. Я.*), не беспокоится ни о чем и продолжает свой привычный образ жизни. Она буквально покинула свое государство на разгромлена» («Русский двор сто лет тому назад», СПБ., стр. 73).

[2]) Прежде чем превозносить Елизавету, Ломоносов превозносил ее ближайших предшественников: Анну в «Оде на взятие Хотина» и других. Большой запаснаивности нужен был хотя бы для того, чтобы совершенно спокойно позабыть об этом после ноябрьского переворота 1741 года.

[3]) Сочинения, т. IV, стр. 268.

туры такие доводы слабы [1]). Но интересно, что здесь мы едва ли не в первый раз встречаемся с той мыслью, что положение России имеет такие исключительные преимущества, которые позволяют ей опередить со временем западноевропейские страны. Мысль эта высказывалась потом весьма часто. Больше всего дорожили ею наши новаторы, мечтавшие о тех или других социально-политических реформах, хотя она и не была их исключительным достоянием. Ломоносов совсем не попы тался дать ей какое-нибудь филоофско-историческое обоснование. Но, как увидим, уже Фон-Визин отстаивал ее с помощью соображений, которые даже и в XIX веке представлялись убедительными всем сторонникам! идеалистического взгляда на историю.

Читая «Книгу о скудости и богатстве», чувствуешь, как сильно болел Посошков бедствиями тяглой Руси. Такой боли незаметно ни в одном сочинении Ломоносова. Что он любил Россию и русский народ, в этом никакое сомнение невозможно. Но впечатления детства у него были иные, нежели у Посошкова, и ом стремился служить России не посредством исправления важных *общественных* «неисправ», а распространением в ней *просвещения.* В этом направлении мысль его работала неутомимо. Даже преувеличенные похвалы его дщери Петра придумывались им, по крайней мере, отчасти, для того, чтобы как можно более расположить ее в пользу просвещения. В. похвальном слове, произнесенном 26 ноября 1747 г., в годовщину ее воцарения, Ломоносов, превознося ее до небес, наметил широкую программу просветительной деятельности.

«Не токмо мы довольствуясь Ее Величества щедротами, — говорит он, — иные в откровении естественных тайн, и в исследовании пречудньгх дел премудрого Создателя в спокойстве услаждаемся, иные преподая наставление учащимся с радостию чувствуем являющиеся плоды трудов наших; не токмо учащиеся питаемы обыльною Ее рукою без попечения о своих потребностях, только о научении стараться могут: но общее благополучие предлагается. Нет ни единого места в просвещенной Петром России, где бы плодов своих не могли принести науки; нет ни единого человека, который бы не мог себе ожидать от них пользы» [2]).

[1]) Ломоносовский довод от географии напоминает обращенное к России восклицание Гоголя (в первой части «Мертвых Душ»): «Здесь ли в тебе не родиться беспредельной мысли, когда ты сама без конца? Здесь ли не быть богатырю, когда есть место, где развернуться и пройтись ему?».

[2]) Сочинения, т. IV, стр. 266.

Взятая в таком общем виде, — принесение пользы родине путем распространения в ней света науки, — это есть та программа, которую ставили себе все просветители всех стран. Но в каждой отдельной стране конкретная формулировка ее видоизменялась под влиянием социально-политической обстановки. Наши просветители первой половины XVIII века не примешивали к ней никаких пожеланий по части общественных реформ. В этом отношении Ломоносов, которого по его же собственным словам часто попрекали его крестьянским происхождением, был, пожалуй, самым типичным между ними. Он усердно просвещал жителей своей страны, но никогда не позволял себе «учить»

ее правительство. В сравнении с этим петербургским просветителем «московский прогрессист» Посошков, требовавший исправления неисправ и за то окончивший дни свои в каземате, является поистине беспокойным человеком. Однако и Ломоносову случалось вызывать неудовольствие начальства.

Россия только недавно выступила на путь западноевропейского просвещения. Правительство приглашало иностранных ученых в Россию. Но приглашенные им ученые не все бескорыстно любили науку, да не все были настоящими учеными. Они смотрели на русских людей сверху вниз и старались подчинить их себе, сделать образование своей монополией. Ломоносов видел, как видел Посошков, эти эксплуататорские поползновения иностранных торговцев, и опять, подобно Посошкову, стремился избавить русских от подчинения иностранцам. Это стремление не вызвало, и при данном ходе его умственного развития не могло вызвать, националистической реакции в его миросозерцании, но причинило ему много неприятностей. Спокойно смотревший на «отяготения» крепостных крестьян помещиками, он выходил из себя, доказывая, что иностранцы своекорыстно и недоброжелательно относятся к делу русского просвещения. Раздражительный и несдержанный, он придавал иногда такой оборот борьбе своей за это дело, что поднимался вопрос о наказании его «на теле» и даже о «лишении живота». Если он избежал и того и другого, то единственно благодаря своему «довольном» обучению».

В цитированном мною выше похвальном слове Елизавете он обращался к «российским юношам» от имени императрицы, приглашая их учиться в интересах России.

«Я видеть Российскую Академию из сынов Российских состоящую желаю; поспешайте достигнуть совершенства в науках: сего польза и

слава отечества, сего намерение. Моих Родителей, сего Мое произволение требует».

Потом от ее же имени он указывал учащейся русской молодежи целый ряд задач, ожидающих своего решения.

«Не описаны еще дела Моих Предков, и не воспета по достоинству Петрова великая слава. Простирайтесь в обогащении разума и украшении Российского слова». Это — темы для будущих историков и литераторов. А вот, насущное дело для будущих техников: «В пространной Моей державе неоцененные сокровища, которые натура обильно произносит, лежат потаенны, и только искусных рук ожидают: прилагайте крайнее старание к естественных вещей познанию, и ревностно старайтесь заслужить Мою милость» [1]).

Мысль о том, что русские люди должны научиться ходить на своих собственных ногах, сделаться самостоятельными работниками в области науки и техники, редко покидала Ломоносова. Ода Елизавете, написанная в 1747 г., содержит знаменитую строфу:

О вы, которых ожидает
Отечество от кедр своих
И видеть таковых желает,
Каких зовет от стран чужих,
О ваши дни благословенны!
Дерзайте ныне ободренны
Раченьем вашим показать,
Что может собственных Платонов
И быстрых разумом Невтонов
Российская земля раждать.

В той же оде Елизавете повторяется та не менее дорогая Ломоносову мысль, которая, без сомнения, была бы горячо одобрена Посошковым, — мысль, что приобретение русскими людьми научных знаний должно способствовать развитию производительных сил России:

И се Минерва ударяет
В верьхи Рифейски копнем,
Сребро и злато истекает
Во всем наследии Твоем.
Плутон в расселинах мятется,
Что Россам в руки предается
Драгой его металл из гор,
Который там натура скрыла;
От блеску дневного светила
Свирепой отвращает взор...

[1]) Сочинения, т. IV, стр. 269.

Уже страдая предсмертной болезнью, Ломоносов продолжал заботиться об отправке за границу русских студентов, окончивших университетский курс. Вообще надо заметить, что к вопросам науки и просвещения он относился с гораздо большим увлечением, нежели сама ученая дружина. Кантемир думал, что служебная деятельность важнее литературной. А для Ломоносова служить и значило неустанно работать для русской науки и русского просвещения. Читатель согласится, что эта особенность взглядов «архангельского мужика» делает ему большую честь.

В мой план не входит оценка литературных произведений Ломоносова. Тем не менее я не устоял перед искушением указать на склонность его к «космической поэзии» [1]). Теперь я позволю себе напомнить замечание Белинского, что стихи Ломоносова были необыкновенно хороши по своему времени и что никто из его современников не писал таких хороших стихов. Белинский прибавлял, что Державин сделал очень малый шаг вперед после своего великого предшественника, и то лишь в наилучших своих стихотворениях, значительно уступая ему в менее удачных [2]). Между тем мы знаем, что литература никогда не была главным призванием Ломоносова.

Никогда не была не только главным, но вообще серьезным его призванием и история, хотя он и находил, что ученые русские люди обязаны описать дела предков Елизаветы, особенно же, конечно, Петра Первого. Когда Елизавета лично выражала ему свое желание «видеть российскую историю, его штилем написанную», он, следуя своему всегдашнему обыкновению, постарался хорошо ознакомиться с источниками. Но из его обработки источников не вышло ничего замечательного. Его мысль не очень хорошо разбиралась во всем, относившемся к настоящей или прошлой жизни общества. Он не понял задачи историка; как говорит С. М. Соловьев, он смотрел на историю, с чисто-литературной точки зрения и таким образам создал литературное направление в русской исторической науке, господствовавшее в ней долго после него [3]). Ломоносов счел себя обязанным «открыть древность российского народа и

[1]) Джордано Бруно имел большую склонность к космической поэзии. Но, в отличие от Ломоносова, он был *пантеистом,* что придало особый оттенок и его космическому вдохновению.

[2]) См. статью о сочинениях Державина. Сочинения Белинского, Москва 1883 г., ч. VII, стр. 87.

[3]) *С. М. Соловьев,* Сочинения, кн. 5, стр. 1351. Ср. «Главные течения» *Л. Н. Милюкова,* стр. 24.

славные дела наших государей». Вследствие этого его «Древняя российская история» вышла чем-то вроде нового похвального слова. Впрочем, в ней можно найти, по словам С. М. Соловьева, правильные и даже блистательные замечания о некоторых частных вопросах истории славян [1]).

Предаваясь своим историческим занятиям, Ломоносов не забывал о так больно обижавшем его высокомерном взгляде образованных иноземцев на Россию и русский народ. Он хотел хорошо разукрасить нашу историю, надеясь, что «всяк, кто увидит в Российских преданиях равные дела и Героев Греческим и Римским подобных, унижать нас пред оными причины иметь не будет». Посошков, думается мне, и тут вполне понял бы и вполне одобрил бы Ломоносова. Сравнивая русскую историю с историей Рима, Ломоносов находил между ними следующее, правда, по его же собственным словам, небольшое, «подобие». Эпоха («владение») римских королей соответствует «самодержавству первых самовластных Великих Князей Российских». Период республики («гражданское правление») подобен «разделению нашему на разные княжения и на вольные городы, некоторым образом гражданскую власть составляющему». Наконец, период императорский представлялся Ломоносову «согласным самодержавству Государей Московских». Разница только в том, что римское государство гражданским владением возвышалось, а самодержавством пришло в упадок. Наоборот, Россия разномысленною вольностью едва не была доведена до крайнего разрушения, между тем как самодержавство умножило ее, укрепило и прославило. Как видит читатель, в этой исторической параллели очень много наивного и очень мало поучительного. С. М. Соловьев, по справедливости, назвал ее странной.

По словам Ломоносова, Петр поднял Россию на вершину славы. При таком взгляде естественно было приурочить все свои дальнейшие упования к просвещенной деятельности русских государей. Как и «ученая дружина», Ломоносов считал, что только правительству может принадлежать у нас почин прогрессивной деятельности. Так думали долго после него многие русские прогрессисты.

Повторяю, главным призванием Ломоносова были естественные науки, от занятия которыми он никак не хотел отказаться даже тогда, когда от него требовали изложения подходящим «штилем» истории России. В XIX веке наши естествоиспытатели приписывали Ломоносову много крайне важных открытий. Писали, например, что он первый вы-

[1]) Там же, стр. 1355.

сказал правильный взгляд на образование каменного угля и на происхождение янтаря. Профессор Любимов утверждал, что, занимаясь воздушным электричеством, Ломоносов составил теорию, которая превышала, может быть, все современные ему понятия об этом предмете. Но несравненно важнее всех остальных его физических теорий было отвержение им гипотезы теплорода и учение о теплоте, как об особом виде движения. Было бы желательно, чтобы специалисты вновь подвергли критической оценке естественно-научные заслуги Ломоносова. Но и теперь уже очевидно, что Ломоносов был чрезвычайно выдающимся естествоиспытателем. «Все записки Ломоносова по части физики и химии не только хороши, но превосходны, — писал один из его современников, знаменитый Эйлер, — ибо он с такою

основательностью излагает любопытнейшие, совершенно неисследованные и необъяснимые для величайших гениев предметы, что я вполне убежден в верности его объяснений».

Впрочем, вопрос об естественно-научных заслугах Ломоносова должен быть рассмотрен *историками естествознания* в России. *В истории русской общественной мысли,* а также в истории европеизации нашего отечества, гораздо уместнее вопрос о не совсем понятной на первый взгляд судьбе, выпавшей на долю ученых работ Ломоносова.

Его поставил Н. Булич, с грустью отметивший, что работы эти не оказали влияния на ход нашего научного развития и привлекли к себе внимание русских естествоиспытателей только по случаю чествования памяти Ломоносова в 1865 году (столетие со дня его смерти.) «Почему современная европейская наука не воспользовалась его гениальными открытиями? — спрашивал г. Булич. — Почему русские ученые, шедшие по одной дороге с Ломоносовым, не обратили внимания на труды его, изучение которых разом дало бы им здравые лонятия в науке и избавило бы от тяжелой и ненужной необходимости изучать плохие зады Европы?» [1]).

Рассмотрению этого вопроса не мешает предпослать несколько общих соображений.

Представим себе две страны, находящиеся на неодинаковых ступенях культурного развития. При этом отсталая страна учится у передовой и постепенно выдвигает своих собственных деятелей в различных областях науки и литературы. Иные из этих деятелей могут отличаться большими дарованиями. Но, в общем, научные и литературные при-

[1]) Статья «Михаил Васильевич Ломоносов» в изданном С. А. Венгеровым сборнике «Русская поэзия», СПБ. 1893, стр. 94.

обретения *отсталой* страны будут в течение некоторого времени по необходимости очень скромными и потому совсем неинтересными или очень мало интересными для интеллигенции *передовой* страны. Так, например, известно, что после Тридцатилетней войны Германия сильно отстала от других государств Западной Европы и должна была много учиться у них в течение всего XVIII века, а особенно первой его половины. Вследствие этого немецкая философия и литература оставались мало известными интеллигенции этих государств даже тогда, когда и в литературе и в философии уже сделаны были огромные успехи. Другой пример: западные читатели, включая сюда и германских, совсем не знали русской литературы в такое время, когда в ней уже действовали таланты первой величины. Это не все. Пока выдающиеся люди *отсталой страны* не получат признания в *передовых странах,* они не добьются полного признания и у себя дома: их соотечественники будут питать более или менее значительное недоверие к своим «доморощенным» силам («где уж нам!»). Ведь нельзя же отрицать, что русские люди оценили все колоссальное значение своей литературы только после того, как перед ней преклонился Запад [1]). Я не спрашиваю: хорошо это или дурно? Я только говорю: так было, так будет. Так было и так будет по весьма понятной социально-психологической причине. И если мы примем во внимание эту причину, то нам станет ясно, почему, как спрашивает г. Н. Булич, ученая деятельность Ломоносова не оказала влияния на дальнейший ход западной науки и почему она мало обратила на себя внимания даже

русских ученых, шедших с ним по одной дороге. Он был *первым* русским человеком, не получившим ни за границей, ни у себя дома того влияния, которое, казалось бы, по праву принадлежало ему, *как* человеку редких способностей. Но он был, как говаривали у нас в старину, «в роде своем не последний».

Выдающиеся умы, подобно книгам, имеют свою судьбу. И нельзя сказать, что судьба их «куется» ими самими. Она *определяется тон ролью, которую играет их родина в* ходе культурного развития человечества.

Но и это еще не все. Естественно-научные работы Ломоносова были очень замечательны; но он далеко не сделал всего, что мог сделать для естествознания. Обстоятельства его жизни вынуждали его разбрасываться. Я уже не говорю о тех заказных восторгах, которые он обязан

[1]) Давно ли мы убедились, благодаря лорду Кельвину, что наш Лебедев был очень большой величиной в физике.

был выражать и прозой и стихами при разных высокоторжественных оказиях, хотя оды, похвальные слова и разные «надписи», конечно, отнимали у него не мало времени. Но даже серьезные занятия его нередко мешали ему всецело отдаваться тому делу, которое было для него дороже всех других. А он был не только *ученым.* Он был также *просветителем.* «Мое единственное желание, — писал он однажды И. И. Шувалову, — состоит в том, чтобы привести в вожделенное течение университет, откуда могут произойти бесчисленные Ломоносовы». Известно, как усердно хлопотал он об основании Московского университета и как много сделал для того, чтобы упорядочить преподавание в нем. Несколько позже Ломоносов стал добиваться коренного переустройства Петербургского университета, влачившего самое жалкое существование при Академии Наук. Он хотел, чтобы и этот университет сделался независимым от Академии учреждением. Мысль его была осуществлена только при Александре I. Но для учебных заведений нужны были учебники и руководства. И вот, Ломоносов принимается за их составление. Он пишет «Краткое руководство к риторике», (1744 г.) «Краткое руководство к красноречию» (1748 г.), «Российскую грамматику» (1755 г.), «Рассуждение о пользе книг церковных в российском языке» [1]). Всем этим далеко не исчерпывается его просветительная деятельность, но всякий понимает, что для всего этого нужно

[1]) Какого мнения был он о русском языке, показывают следующие его строки: <Карл пятый Римский Император говаривал, что Ишпанским языком с Богом, Французским с друзьями, Немецким с неприятельми, Италиянским с женским полом говорить прилично. Но естьли бы он Российскому языку был искусен; то конечно к тому присовокупил бы, что им со всеми оными говорить пристойно. Ибо нашел бы в нем великолепие Ишпанского, живость Французского, крепость Немецкого, нежность Италиянского, сверьх того богатство и сильную в изображениях краткость Греческого и Латинского языка. Обстоятельное всего сего доказательство требует другого места и случая. Меня долговременное в Российском слове упражнение о том совершенно уверяет. Сильное красноречие Цицероново, великолепная Виргилиева важность, Овидиево приятное витийство не теряют своего достоинства на Российском языке. Тончайшие философские воображения и рассуждения, многоразличные естественные свойства и перемены, бывающие в сем видимом строении мира и в человеческих обращениях, имеют у нас пристойные и вещь выражающие речи. И ежели чего точно изобразить не может; не языку нашему, по недовольному своему в нем искусству приписывать долженствуем». (Соч., т. IV, стр. 10, в посвящении «Грамматики» вел. князю Павлу Петровичу) Эти строки напоминают восторженный отзыв о русском языке И. С. Тургенева. Ломоносов выражался не так просто, как Тургенев, но. конечно, был так же искренен.

было много времени, которое при других условиях досталось бы естественным наукам. Просветитель боролся в Ломоносове с ученым и мешал ему развернуть во всей полноте свои гениальные научные способности. А между тем Ломоносов не мог отказаться от своей деятельности просветителя; этого не позволяла ему его горячая любовь к родине.

Главными деятелями во всей истории нашей общественной мысли являются именно просветители. Некоторые из них обладали огромной силой теоретической мысли. Но собственно просветительная деятельность почти всегда отвлекала их от занятий «чистой наукой». И они сами хорошо сознавали это. Н. Г. Чернышевский, сам занимающий такое почетное место в ряду русских просветителей, высказал интересный взгляд на то, как именно должны передовые русские люди служить своей стране.

«Многие из великих людей Германии, Франции, Англии заслуживают свою славу, стремясь к целям, не имеющим прямой связи с благом их родины, — писал он в «Очерках Гоголевского периода русской литературы», — и, например... многие из величайших ученых, поэтов, художников имели в виду служение чистой науке или чистому искусству, а не каким-нибудь исключительным потребностям своей родины». У нас это невозможно. «Со временем будут и у нас, как у других народов, мыслители и художники, действующие чисто только в интересах науки или искусства; но пока мы не станем по своему образованию наравне с наиболее успевшими нациями, есть у каждого из нас другое дело, более близкое сердцу — содействие, по мере сил, дальнейшему развитию того, что начато Петром Великим [1]). Это дело до сих пор требует и, вероятно, еще долго будет требовать всех умственных и нравственных сил, какими обладают наиболее одаренные сыны нашей родины» [2]).

Эти рассуждения объясняют многое не только в судьбе Ломоносова но и других наших просветителей, между прочим и самого Чернышевского. Полезно вспомнить о них, когда возникает вопрос, почему не так много сделал для «чистой» теории тот или другой весьма даровитый русский человек: очень часто окажется, что у него было другое дело, более близкое его сердцу, нежели занятие «чистой» теорией.

[1]) Т. е. деятельность просветителя, распространяющего в России богатые приобретения западноевропейской науки и философии.

[2]) Сочинения Н. Г. Чернышевского, СПБ. 1906, т. II, стр. 120—122.

3. Жалобы крестьянства. — Крестьянские и казацкие волнения

В плане похвального слова Ломоносову, составленном Штелином, находятся такие замечания о «характере» Ломоносова: «Образ жизни, общий плебеям, исполнен страсти к науке; стремление к открытиям», «мужиковат; с низшими и в семействе суров; желал возвыситься, равных презирал» [1]).

Это — только краткие замечания, сделанные в плане, не приведенном в исполнение. Если бы Штелин написал свое похвальное слово Ломоносову, то эти краткие замечания, вероятно, получили бы надлежащее развитие, и нам стало бы яснее, *каких* именно «равных» *презирал* гениальный поморец, и в *каком именно смысле желал он возвыситься.* Сослуживцы, *равные* Ломоносову в *чинах,* были *неравны* ему *по*

дарованиям. Они редко понимали его и часто мешали ему работать для русского просвещения. Как же было ему не презирать их? Что касается желания возвыситься, — т. е. подняться выше по лестнице чиновной иерархии, — то оно вполне естественно было у человека, который стремился служить своей родине, но благодаря своему «подлому происхождению» не мог осуществить это благородное стремление без поддержки «высоких особ». Чем больше возвысился бы он сам, тем меньше нуждался бы он в таком покровительстве. Таким образом, желание возвыситься могло быть порождено самыми идеальными побуждениями. Но само собой разумеется, что оно могло корениться отчасти в тщеславии Влияние среды всегда очень сильно, а Ломоносов жил в среде, привыкшем судить о людях по табели о рангах. Несмотря на свой «образ жизни, общий плебеям» и на свою «мужиковатость», он сделался членом служилого класса. Служа по «ученому» ведомству, Ломоносов умер статским советником и даже землевладельцем: Елизавета пожаловала ему за одно из его похвальных слов мызу Коровалдой. По отношению к народу он стал отрезанным ломтем. И долго после него образованные разночинцы оставались чуждыми народной массе, не отличавшей их от настоящих «господ». Впоследствии образованные разночинцы и примкнувшие к ним «кающиеся дворяне» начали мучительно сознавать свою оторванность от народа и страстно искать путей, ведущих к сближению

[1]) См. вторую статью о Ломоносове во второй части третьего тома Сочинений Н. С. Тихонравова, стр. 30—31.

с ним. Но при Ломоносове об этом никто еще не задумывался. Образованные разночинцы более или менее усердно служили по разным ведомствам; дворяне ровно ни в чем не каялись, а трудящаяся масса была предоставлена самой себе и собственными средствами разбиралась в новых для нее обстоятельствах, созданных Петровской реформой. Правда, «там, в глубине России», почти все оставалось по-старому. Но реформа наложила новые тягости на народ, и прежде лишь через силу тянувший свою крепостную лямку. Поэтому он стал роптать чаще и громче, нежели роптал при Алексее Михайловиче. Между бумагами страшного Преображенского Приказа сохранилось много любопытных человеческих документов, проливающих яркий свет на тогдашнее настроение народа. Мы видим из них, что крестьяне жаловались, например, в следующих выражениях: «Как его (Петра. — *Г. П.)* Бог на царство послал, так н светлых дней не видали, тягота на мир, рубли да полтины, да подводы, отдыху нашей братии, крестьянству, нет». Им вторили соломенные вдовы, солдатки: «Какой он царь? — он крестьян разорил с домами, мужей наших побрал в солдаты, а нас с детьми осиротил и заставил плакать век». Не отставали от крестьянства и холопы. Один из них говорил так: «Если он (Петр) станет долго жить, он и всех нас переведет; я удивляюсь тому, что его по ся мест не уходят: ездит рано и поздно по ночам малолюдством и один... Какой он царь? — враг оморок мирской; сколько ему по Москве ни скакать, быть ему без головы» [1]).

Откуда происходило народное недовольство, это ясно показывает уже цитированное мною в одной из предыдущих глав «возмутительное письмо» Лариона Докукина:

«Древеса самые нужные в делех наших повсюду заповеданы быша, рыбные ловли и, торговые и завоцкие промыслы отняты многие и везде бедами погружаемы, на правежех стоя от великих и несносных податей... и многие от того умерщвляеми, домы и приходы запустели,

святые церкви обветшали древоделей и каменосечцов отгнали... пришелцев иноверных языков щедро и благоутробно за сыновление себе восприяли и всеми благими их наградили а христиан бедных бьючи на правежех и с податей своих гладом поморили и до основании всех разорили» [2])

Соловьев справедливо заметил, что при Алексее Михайловиче народ щадил особу царя, складывая вину на бояр, а теперь о царе стали

[1]) Цит. у *Соловьева,* История России, кн. 3, стр. 1368—1369.

[2]) Письмо это напечатано у *Есипова,* Раскольничьи дела XVIII столетия, СПБ 1861, т. I, стр. 182 — 184. Оставляю правописание в том виде, какое оно имеет в книге Есипова.

отзываться весьма непочтительно. Однако следует иметь в виду, что изменившееся отношение к *царской особе* вовсе не означало перемени в *политических понятиях народа.* В глазах многих представителей народной массы Петр не был *настоящим царем,* т. е. таким, каким должен был быть главный представитель центральной власти в Московском государстве. На такого царя можно было роптать, нисколько не теряя уважения к царизму. А еще более позволительным казался ропот при том предположении, что Петр вовсе не был царского происхождения. По сведениям того же Преображенского Приказа, бабы, стирая белье, толковали:

«Какой-де он царь! — родился от Немки беззаконной, он замененный, и как царица Наталья Кирилловна стала отходить сего света, и в то число ему говорила: Ты-де не сын мой, замененный».

Иногда история «замены» царя принимала в воображении народа другой оборот. Петра признавали законным сыном Алексея Михайловича, а при этом рассказывали, что он погиб во время своего путешествия за границу, а на его место приехал в Россию немчин. Но какой бы оборот ни принимала эта история, выходило так, что Россией правит «замененный» царь, царь-самозванец, в отзывах о котором можно дать волю своему языку... если близко нет царских сыщиков.

На Дону вспоминали о времени двоевластия. Говорили, что царь Иван Алексеевич жив и живет в Иерусалиме «для того, что бояре воруют». «Он любит чернь», между тем как Петр полюбил бояр. Таким образом, здесь *воображение* массы противопоставляло одного царя другому, но и здесь ее *мысль* не касалась царизма как учреждения.

Если та или иная «замена» давала объяснение склонности Петра к немцам, т. е. отвечала на вопрос о том, чем вызван был обременительный для народа, — и такой решительный при Петре, — поворот к Западу, то она не устраняла, разумеется, связанных с этим поворотом новых тягостей. Крестьянские бунты вспыхивали то там, то тут. Петр видел, где лежит и« причина. Усмиряя крестьян с обычной своей «жесточью», он принимал известные меры к облегчению их тяжелой участи. В 1719 г. он писал воеводам:

«Понеже есть некоторые непотребные люди, которые своим деревням сами беспутные разорители суть, что ради пьянства или иного какого непостоянного житя вотчины свои не токмо снабдевают, или защищают в чем, но и разоряют, налагая на крестьян всякие несносные тягости, и в том их бьют и мучат, и от того крестьяне, покинув тягла свои, бегают и чинится от того пустота, а в Государевых податях

умножается доимка; того ради Воеводе и Земским Комисарам смотреть того накрепко, и до такого разорения не допускать».

Это распоряжение было в духе того старого московского правила,

о котором сообщал Котошихин и которое внушило Посошкову его проект законодательного ограничения повинностей крестьян по отношению к их помещикам. Правило это слабо приводилось в исполнение в прежнее время. Можно было бы, пожалуй, ожидать, что при своей железной энергии Петр сумеет добиться точного исполнения его. Однако вышло не так. Петр предписал отдавать помещиков, разорявших свои деревни, на исправление их ближним родственникам и свойственникам, которые и должны были управлять этими деревнями впредь до исправления разорителей. Можно с уверенностью сказать, что такая мера не исправила никого. Во всяком случае, она не могла повысить общий, весьма низкий, уровень благосостояния крестьянской массы. Положение крепостного крестьянства ухудшалось все более и более. Сам Петр говорит в одном из своих указов: «Обычай был в России, который и ныне есть, что крестьян и деловых, и дворовых людей мелкое шляхетство продает врознь, кто похочет купить, как скотов, чего во всем свете не водится, а наипаче от семей, от отца или от матери дочь или сына помещик продает, от чего немалый вопль бывает». Что же предпринял энергичный преобразователь для прекращения вопля? Он приказал «оную продажу людям пресечь» [1]).

Но он и сам не верил в возможность ее пресечения: в основу его реформы положено было еще большее, чем прежде, закрепощение крестьянской массы. Поэтому за приказанием о прекращении «оной продажи людям» у него непосредственно следовало такое добавление: «а ежели невозможно того будет вовсе пресечь, то-б хотя по нужде и продавали целыми фамилиями или семьями, а не порознь» [2]). Известно, что крепостных людей продавали врознь, «как скотов», вплоть до отмены крепостного права в 1861 году.

Логика этого права была сильнее железной воли Петра. Но тяжелая цепь крепостной зависимости давила крестьян не только на помещичьих и на монастырских землях. Государство тоже привыкло смотреть на них, как на свою живую собственность, и уж, разумеется, не Петр мог отказаться от этой привычки. Он считал себя полным господином над всей тяглой массой и распоряжался ее рабочею силой един-

[1]) *Соловьев.* История России, кн. 4, стр. 172.
[2]) Там же, та же стр.

ственно по своему усмотрению. Если он признавал тут чьи-нибудь права, то разве только права помещиков. Это с ясностью показывает следующее распоряжение:

«Димитрию Шулепникову за крестьянина его Ивана Фомина с женою и детьми, который взят к городовым делам в кузнецы, выдать 35 рублей» [1]). Помещика удовлетворили деньгами, а его крестьянина не спросили, хочет ли он идти к городовым делам в кузнецы. И этот крестьянин, конечно, не был исключением из общего правила. К городовым и всяким другим государевым делам «гнали» тогда целые толпы невольных работников. А так как им очень плохо жилось на этих невольных работах, то естественно, что они не переставали роптать и, по своему старому обыкновению, искать спасения в бегстве. Крестьяне бежали в Польшу, но еще больше бежало их на юго-восток, в ту «прекрасную мати-пустыню», которая давала такой широкий простор всем недовольным элементам тяглого населения Московского государства.

Кроме крестьян были еще *посадские* люди. Им тоже приходилось нести «бремена неудобоносимые» в виде разного рода податей и обязательных служб. Они должны были служить: у подушного сбора, у полавочного сбора, у оброка с гостиного двора, у сбора с дворов и

других оброчных мест, у банного оброка, у сбора с мостов, у сбора с торговых бань и т. д. И это еще не все. Кроме постоянных служб, были еще чрезвычайные, а кроме служб на местах, еще службы «отъезжие». В 1727 г. петербургское купечество ходатайствовало об его увольнении от всех этих служб, потому что они приводят его в крайнее убожество. В Москве от служб разорялись не только многие купеческие дома, но целые слободы. Такие же жалобы приходили и из других мест. Они были уважены [2]). Конечно, посадские люди умели бегать не хуже крестьян. Беглецы из посадов тоже брали направление на юго-восток. В царствование Петра там собралось немало горючего материала, и уже тогда вспыхнул пожар сначала в Астрахани (1705 г.), потом на Дону (1707 — 1708 г.г.).

Нам известны имена и происхождение тех, кого считали «заводчиками» астраханского бунта. Между ними было два «синбирянина», один ярославец, один «москвитин», три нижегородца, два павловца и несколько астраханских жителей. Иными словами, волновались не только местные жители, но люди, собравшиеся со всего Поволжья.

[1]) Там же, та же страница.

[2]) *А. А. Кизеветтер,* Посадская община в России X — VIII ст. Москва 1903, стр. 174—175.

К бунтовщикам пристали также многие стрельцы и солдаты. Стрельцы не забыли, как жестоко расправлялся с ними Петр. «Стрельцов разорили, - роптали они, - платье переменили и тягости в мире стали потому, что на Москве переменный государь». Война со шведами дала им повод надеяться, что «подменный» царь на этот раз не будет в состоянии оправиться с ними. Некоторые агитаторы, вышедшие из их же среды, распространяли слух, будто Москвою завладели четыре боярина столповые и хотят Московское государство разделить на четыре четверти. Возможность возникновения такого слуха показывает, как твердо было, даже в недовольной тяглой массе, убеждение в необходимости государственного единства. По мнению этой массы, только в головы ненавистных ей бояр могла забрести мысль о разделении Московского государства. Но то самое государство, единством которого она так дорожила, выжимало из нее последние соки и тем толкало ее на побеги, на бунт и даже на соединение с инородцами, вроде башкир, заинтересованными гораздо больше в нарушении единства, нежели в его сохранении. Астраханские жители и низший слой находившихся в Астрахани служилых людей составили целый список обид, нанесенных им воеводой Ржевским и другими начальными людьми. Он очень-очень длинен!

«Ржевский у стрельцов ружья обобрал, хлебного жалованья давать им не велел, с бань брал по рублю и по 5 алтын, с погребов по гривне, подымных по 2 деньги с дыму, валешных по 2 деньги, от точенья топоров по 4, с ножа по 2, от битья бумаги по 4 с фунта, с варенья пив и браг с конных по 5 алтын, с солдат и пеших стрельцов по гривне, с малолетних, со вдов и которые в Свейском походе, и женам их и детям платить было нечем, и тех сажал за караул и бил на правеже, и многие дворишки продавали и детей закладывали; у служилых людей и у всех градских жителей дворам спрашивал купчих, и которые дворы... в моровое поветрие крепости утерялись и в пожар сгорели, и с тех крепостей брали пошлины вдвое и втрое; а с рыбных и соляных и с иных всяких промыслов брали откупщики с стругов и с посадов привального по рублю и по два, и по три, и по пяти, а с мелких стружков по полтине; а в тех откупах он, Ржевский, с начальными людьми

были товарищами... Он же посылал... зимним путем для рубки дров к селитряному варенью, и многие служилые люди от стужи помирали и на плаву с плотами тонули и в полон взяты... Велел брать крепостных дел подьячим сверх указу лишних денег, и те деньги брал себе, и о тех поборах к Москве и в Казань посылали они челобит-

ников, а указу о том не учинено, а о вышеписанных всех обидах хотели они для челобитья из Астрахани послать, и их не пустили»... [1]). Это еще далеко не конец, но выписка становится слишком длинной, и я предпочитаю прекратить ее. Кто знает, как хозяйничали воеводы во вверенных ям областях, тот без труда поверит тому, что бедным астраханцам плохо приходилось от Ржевского, хотя, может быть, они кое-где изобразили его подвиги слишком яркими красками. Если они отказались повиноваться своему попечительному воеводе, то единственно по той причине, что всякому терпенью бывает иногда конец. Казалось бы, что им так и следовало говорить: «Восстали потому, что уж очень много приходилось нам выносить, и охотно подчинимся законной власти, когда будет облегчено наше положение». Но бесконечный список обид, нанесенных астраханцам их воеводой, начинается словами: «Междоусобие учинилось за брадобритие и немецкое платье», а одним из ближайших поводов к бунту послужил слух о том, что астраханцам скоро запрещено будет играть свадьбы в течение семи лет, а их дочерей и сестер будут выдавать замуж за немцев. В грамоте, посланной ими казанцам, астраханцы утверждали, что решились постоять *за старину:* «Стали мы в Астрахани за веру христианскую и за брадобритие (т. е., собственно, против него. — *Г. П.*), и за немецкое платье и за табак». Тут же написано было, что воеводы и начальные люди поклонялись болванным богам «и нас кланяться заставляли». Болванными или кумирскими богами бунтовщики называли «столярной работы личины деревянные, на которых у иноземцев и у русских начальных людей кладутся накладные волосы (парики. — *Г. П.*)... чтобы не мялись» [2]). И тут уж нельзя не предположить, что против Ржевского и его помощников выдвинуто было совершенно неосновательное обвинение. Ясно, что ни сам этот хищный администратор, ни другие, столь же хищные начальные люди *таким* «богам» не поклонялись и ни от кого не требовали поклонения. Как же это вышло, что действительные, — и поистине достаточные, — причины астраханского бунта перепутались в изложении (и, вероятно, также в воображении) его руководителей частью со смешными небылицами, а частью с такими фактами, которые сами по себе не могли повредить жителям: например, с брадобритием и с немецким платьем [3]).

[1]) *Соловьев,* История России, кн. 3, стр. 1384—1385.

[2]) Там же, стр. 1383.

[3]) Один из деятельных участников астраханского бунта показал впоследствии в Преображенском Приказе, что он и другие бунтовщики собирались идти на

Что касается немецкого платья, то вопрос становится еще более интересным ввиду того, что удалые добрые молодцы, искавшие воли в тогдашних украйнах, одевались, как кому захочется. Донские казаки утверждали, что у «их «иные любят носить платье и обувь по-черкесски и по-калмыцки, а иные обыкли ходить в русских старо-древнего обычая платьях, и что кому лучше похочется, тот так и творит, и в том между ними, казаками, распри и никакого посмеяния друг над другом нет». Это совсем хорошо! Одевайся, как тебе вздумается! Неужели

астраханцы держались другого взгляда? А если нет, если у них тоже не было исключительной приверженности к платью одного какого-нибудь «обычая», то почему же так раздражало их «немецкое» платье?

Во-первых, одно дело носить такое платье, какое *нравится,* а другое дело одеваться так, как *прикажут.* Те же донцы, которые говорили, что у них всякому вольно усваивать какой ему угодно «обычай», с благодарностью заявляли: «Тем они перед иными народами (sic!) от великого государя пожалованы и взысканы, что к ним до сих пор о бородах и о платьи указу не прислано». Во-вторых, если астраханский воевода Ржевский не поклонялся тем деревянным личинам, служившим подставками для париков, то он очень чтил золотого тельца и сумел создать себе доходную статью из царского указа о немецком платье, действуя с той изобретательностью и с тем натиском, которые всегда были свойственны в подобных случаях начальным людям Московского государства.

Астраханские обыватели писали: «Воевода не дал срока в деле немецкого платья для своей корысти, посылал по многие праздники и воскресные дни капитана Глазунова да Астраханца Евреинова к церквам и по большим улицам и у мужска и у женска полу русское платье обрезывали не по подобию и обнажали перед народом, и усы, и бороды, ругаючи, обрезывали с мясом». При таких условиях поневоле восстанешь «за брадобритие и немецкое платье», т. е., как уже замечено, *против* того и другого.

Москву, «а пришед к Москве, немцев всех ктоб где попался мужеска и женску полу побить было до смерти и сыскать было государя и бить челом, чтоб старой вере быть по прежнему, а немецкого бы платья не носить, и бороды и усов не брить. А буде бы он государь платье немецкое носить и бород и усов брить перестать не велел, и его б государя за то убить до смерти» *(Есипов,* Раскольничьи дела, т. II, стр. 103). Правда, обвиняемый объявил потом все это вымышленным, но показания других свидетелей заставляют думать, что вымышленного тут было очень мало.

Разумеется, можно и должно было провести разделительную черту между энергичными приемами Ржевского (обрезывание с мясом усов и бороды) и брадобритием, как обычаем, принятым у немцев. Но астраханцы не имели привычки к строгому логическому мышлению, да и сами «немцы», от которых заимствовано было брадобритие, своим обращением с русскими увеличивали их раздражение. По словам астраханцев, иноземцы, поставленные начальниками над местными жителями, притесняли их еще «горше», нежели природные русские начальники. «Полковник Дивигней (Девинь) с иноземцы начальными людьми брали к себе насильством из служилых домовых людей в деньщики и заставляли делать самые нечистые работы, они и жены их по щекам и палками били, и кто придет бить челом, и челобитчиков бил и увечил на смерть, и велел им и женам, и детям их делать немецкое платье безвременно, и они домы свои продавали и образа св. закладывали, «и усы и бороды брил и щипками рвал насильством» [1]).

Ржевский не считал нужным защищать жителей Астрахани от притеснений со стороны иноземцев, которых, к слову сказать, сам же он и ставил начальниками над ними, и которые так хорошо подражали его просветительным приемам [2]). Посошков жаловался: наши правители ни во что ставят русского человека и сами унижают его перед иностранцами. Читатель видит, что он был прав. И то, что он был прав, то, что начальники пренебрегали русскими людьми и унижали их перед иностранцами, усиливало националистическую реакцию, явившуюся одним из последствий поворота России к Западу. Эта националистическая реакция и вела *к* тому, что тяглые русские люди, спокойно смотревшие на усвоение их соотечественниками черкесского

или калмыцкого платья, стали считать грехом ношение ими «немецкого» кафтана. Представление о «немецком» платье сочеталось в умах простых русских людей с представлением *о тягостях, неприятностях н обидах,* которые испытывали они, попадая в более или менее тяжелую зависимость от «немцев». А так как в Московском государстве религия налагала свою санкцию не только на общественный строй, но и на все обычаи, то неудивительно, что указанным сочетанием лред-

[1]) *Соловьев,* кн. 3, стр. 1385—1386.

[2]) Понятно, что в жалобах астраханцев на обиды, наносимые им иноземцами, тоже не обошлось, может быть, без преувеличений. Но в них много совершенно очевидной правды. Боярин Головин, разбиравший в Москве жалобу астраханцев, так потрясен был ею, что решился просить царя о безусловном помиловании бунтовщиков. (*Соловьев,* кн. 3, стр. 1386).

ставлений порождено было у его жителей еще другое: представление о «немецких» обычаях сочеталось с представлением о грехе. А раз возникло это последнее сочетание представлений, ссылке на грех, — *доводу от* благочестия, — стало отводиться первое место во всех рассуждениях русских людей, так или иначе восстававших против Петровских нововведений. Его поставили в первую голову и астраханцы, пытавшиеся получить поддержку от других городов: «Стали мы за веру христианскую, и за брадобритие, и за немецкое платье».

При наличности известных условий, указанные сочетания представлений были совершенно неизбежны. Мы убедились в этом, изучая происхождение раскола старообрядчества. И тогда же мы убедились и в том, что весьма неблагоприятна была для дальнейшего хода развития общественной мысли та психологическая аберрация, в силу которой московские люди, стали считать грехом усвоение западных обычаев. Заподозрить иноземцев в поклонении «кумирским богам» вовсе не значило выяснить себе причину превосходства их над русскими людьми во всем, касавшемся промышленности или торговли, точно так же как уличить служилый класс в пристрастии к «немецкому» платью вовсе еще не значило понять, где лежит причина столь многочисленных «неисправ» в русской общественной жизни.

Неудобства этой аберрации обнаружились, между прочим, и во время астраханского бунта. Восставая против обид, наносимых им Ржевским и другими начальными людьми, астраханцы поспешили объявить, что они борются «за» *брадобритие и* «за» немецкое *платье.* Поддержать их могли, главным образом, донские казаки. Но донским казакам не было «указу» насчет ношения немецкого платья и бритья бород. Они прямо говорили, что этим они от великого государя пожалованы не в пример «иным народам» (см. выше). Поэтому у них не было основания считать дело астраханцев своим собственным делом. Разумеется, государственная власть не оставляла и их в покое. Донцы имели свои основания жаловаться на распоряжения царя и на действия его чиновников. Но о том, что затрагивало насущные интересы донцов, ничего не говорилось в воззваниях астраханцев. Таким образом довод от благочестия способствовал здесь не сплочению, а разъединению сил в оппозиционно настроенной части населения.

То же мы видим и в Поволожье. Астраханцы послали туда Ивана Дорофеева с войском. Подойдя к Царицыну, Дорофеев звал жителей на восстание «за брадобритие» и проч. Но те отвечали:

«Пишешь к нам, чтоб пристать к вашему союзу, и мы к вашему союзу пристать не хотим; с кем вы думали в Астрахани, так себе и

делайте... Да вы ж к нам писали, будто стали за Православную Христианскую веру; и мы, Божиею милостью, в городе Царицыне все христиане и никакого раскола не имеем и кумирским богам не поклоняемся». Вопрос о кумирских богах заслонил собою действительные причины неудовольствия на правительство. Кроме того, на жителей Царицына подействовал пример донцов. «И казаки Донские к вам приезжали из разных станиц, — писали они Дорофееву, — и к вашему приобщению приставать не хотят, и вам отказали» [1]).

Терские и гребенские казаки внимательнее отнеслись к доводу от благочестия, но они были слабы. Они извинялись, что не могут идти на помощь астраханцам: «Живым Богом клянемся, невозможно нам войска к вам прислать; сами вы знаете, что нас малое число, и с ордою со всею не в миру; чтобы нам по-прежнему от орды жен и детей не потерять» [2]).

Если уж Алексей Михайлович умел справиться с «гилевщиками», то тем легче было усмирять их его сыну, располагавшему по-европейски обученным войском. Фельдмаршал Шереметев без больших усилий положил конец астраханскому бунту. С бунтовщиками, как водится, жестоко расправились. Но жестокая расправа с ними не устранила причин народного неудовольства, и два года спустя Петру пришлось усмирять тех самых донцов, которые не нашли нужным «пристать к приобщению» астраханцев.

Донцам не было «указу» насчет бороды и немецкого платья. Они благодарили за это. Но они были недовольны тем, что Петр запрещал им принимать беглых, целыми толпами устремлявшихся на Дон. Среднего решения этого старого вопроса быть не могло. Надо было решить его или в пользу русского государства или в пользу земли Войска Донского. Решение могло быть только делом силы. И тут интересы этого последнего совпадали с интересами всех тех многочисленных представителей тяглого населения, которые не уживались в пределах государства.

За укрывательство беглых Петр, всегда щедрый по части наказаний, грозил донцам каторгой и лишением живота, но угрозы не достигали, да и не могли достигнуть своей цели; казаки продолжали при-

[1]) *Соловьев,* История России, кн. 3, стр. 1382.

[2]) Там же, стр. 1381.

нимать беглых. Для возвращения этих последних на места их прежнего жительства, Петр послал в 1707 г. князя Ю. Долгорукого с войском. Это и послужило сигналом к восстанию. Атаман Кондратий Булавин напал ночью на Долгорукого и убил его, истребив весь его отряд.

Булавин говорил казакам о себе: «Я прямой Стенька, не как тот Стенька без ума своего голову потерял, и я вож вам буду». Он вошел я сношения с казаками других «земель», *в том числе и с запорожцами.* Для него, как для казака, важнее всего были старые казацкие вольности. В своих «письмах» он приказывал, «чтобы пришлых с Руси принимали безовзяточно». Но он недаром вспомнил о Разине. Опыт Степана Тимофеича подсказывал, что при подходящих условиях тяглое русское население охотно поддержит восставших против «Москвы» казаков. Булавин приглашал всех «черных людей» стоять вкупе за одно и уверял, что от него не будет им никакой обиды, так как ему «до них дела нет», а есть дело до князей и бояр, и прибыльщиков, и немцев. Эта мысль еще сильнее выражается в «прелестном письме» другого казацкого «вожа», Голого. «Нам до черни дела нет; нам дело до бояр и которые неправду делают, а вы, голутьба, все идите со всех городов,

конные и пешие, нагие и босые, — идите, не опасайтесь! Будут вам кони и ружья, и платье, и денежное жалованье». Не подлежит сомнению, что эти воззвания производили впечатление на черных людей. Когда тамбовский воевода, опасаясь нападения казаков, уже появившихся в его уезде, готовился к обороне и звал посадских людей в «город» (в крепость), они говорили: «Что нам в городе делать, — не до нас дело!». В том же Тамбовском уезде жители некоторых деревень «склонились к воровству», т. е. завели у себя казацкое устройство. Это повторилось и в Козловском уезде. На Дону дела Булавина шли еще лучше. К нему со всех сторон стекались охотники, станицы переходили на его сторону одна за другой. В мае 1708 г. он овладел Черкаском. На Волге булавинцы взяли Царицын, а жители Камышина сами перешли на их сторону, побросав в воду офицера, полкового писаря и бурмистров соляной продажи. Словом, возобновлялось именно то, что происходило при Разине. Этому радовались казаки и черные люди; это беспокоило правительство. «Воровство Булавина отчасу множится», — писал Петр Меншикову. А к«. В. В. Долгорукому, брату убитого Булавиным кн. Ю. В. Долгорукого, он, посылая его пропив бунтовщиков, советовал читать в старых «Книгах» о том, как усмиряло правительство Алексея Михайловича Разинский бунт. Однако он очень преувеличивал опасность: силы боровшихся сторон были слишком неравны.

173

В одном из своих писем к Петру В. В. Долгорукий в следующих выражениях жаловался на ленивое исполнение своих обязанностей служилыми людьми высшего круга: «Царедворцы, которым велено со мною, не токмо что (не. — *Г. П.*) отправлены ко мне, и имян их не прислано, а они, государь, люди молодые и богатые, тем было и служить, а они отбывают от службы... а они, государь, зело нужны на этих воров: известно тебе самому, каковы Донские казаки, не легулярное войско, а царедворцы на них зело способны, на Шведов они плохи, а на этот народ зело способны» [1]).

Этими его словами прекрасно характеризуется соотношение между силами правительства, с одной стороны, и силами бунтовщиков — с другой. Даже то войско, которое не годилось «на Шведов», способно было защитить существовавший в русском государстве порядок от нападений со стороны «нелегулярного войска» донского и бежавших на Дон тяглых людей. Булавин был побежден и застрелился, не желая живым попасть в руки Петра. Бунтовщики были усмирены; некоторые непокорные казаки ушли под предводительством Некрасова на Кубань. Казачество притихло.

Если Разин так плохо разбирался в вопросах веры, что, стараясь привлечь к себе недовольных, выдавал себя за приверженца патриарха Никона, то Булавин, очевидно, хорошо знал, как дорого было многим недовольным «древлее благочестие». Он объявил себя его защитником, хотя сам он, может быть, мало дорожил им и, по-видимому, плохо понимал, чего собственно требуют староверы. В своих воззваниях он обещал бороться с теми, которые «вводят всех в Еллинскую веру и от истинной веры христианской отвратили своими знаменьми и чудесы прелестными». На староверов довод от благочестия едва ли производил впечатление большой определенности.

Не производят впечатления определенности и социально-политические требования приверженцев Булавина. В одном из его «прелестных писем» содержится такая программа: «А между собою добрым начальным, посадским и торговым и всяким черным людям отнюдь бы вражды никакой не чинить, напрасно не бить, не грабить и

не разорять, и буде кто станет кого напрасно обижать или бить, и тому чинить смертную казнь» [2]). Посошков готов был удовольствоваться, в случае таких неправд, нещадным телесным наказанием виновных.

[1]) Там же, кн. 3, стр. 1457—1459, 1463—1464. [2]) Там же, стр. 1454.

Казаки обнаружили больше решительности. Но программа, сводящаяся к тому, чтобы никто никого напрасно не бил, не грабил и не разорял, есть не более как ряд добрых пожеланий. Какие *учреждения* нужны и возможны были тогда для того, чтобы оградить тяглую Русь от «напрасного» разоренья, грабежа и битья, этого не знал Посошков, и это оставалось неизвестным всей многострадальной тяглой Руси. Для Булавина или для Голого этот вопрос решался очень просто: введением в России казацкого устройства. И мы видели, что, восставая против поставленных царем начальных людей, тяглые жители деревень и посадов не прочь были сделаться казаками. Но усвоение казацких порядков разве лишь на время устранило бы в России те общественные «неисправы», которые толкали ее черных людей на восстание: разделение общественного труда при данных экономических условиях опять привело бы к порабощению трудящейся массы. При этом, вероятно, исчезли бы некоторые, наиболее тяжелые и унизительные последствия ее порабощения. И это, разумеется, было бы чистым выигрышем для нее. Но и об этом можно было разве лишь мечтать. Соотношение общественных сил заранее обрекало на неудачу всякую попытку сломить установившийся на Руси общественно-политический строй. «Нелегулярное» казацкое войско не могло выдержать сколько-нибудь серьезного столкновения с правительственной армией. А от «черных» людей русского государства сами Булавин и Голый, старавшиеся поднять их на восстание, вряд ли ждали значительной военной поддержки. Жестоко угнетенный народ сильно роптал на Петра и охотно слушал рассказы о том, что он не настоящий царь. Мы видели это выше. Но достойно внимания, что даже Булавин и его сподвижники не решились открыто выступать против царской власти. Убив Ю. Долгорукого, они оправдывались тем, что он поступал «не против государева указа». А в одном из Булавинских воззваний прямо сказано, что он хочет постоять за христианскую веру «и за благочестивого царя». Несмотря ни на какие испытания и при всем ее недовольстве своею участью, тяглая Русь в огромном большинстве не расположена была поддерживать царских недругов. С этим ее настроением считался Булавин, как считался прежде него Разин и после него Пугачев.

Вполне естественное желание тяглой массы оградить себя, — здесь на *земле,* — от побоев, грабежа и разоренья превращалось у нее, конечно, не без остатка, в фантастическое стремление постоять за старую веру. Чем менее осуществимым оказывалось ее естественное желание, тем сильнее должно было упрочиваться у нее это ее фанта-

стическое стремление. Раскол приобрел много новых последователей в царствование Петра [1]). Раскольники повторяли обычные тогда жалобы на то, что Петр «не печется о народе, а печется о немцах» [2]). Они готовы были объяснять это тем, что он — царь «подменный». Но они не довольствовались этим и объявили Петра антихристом. «Книгописец» Григорий Талицкий приглашал православных не слушаться государя-антихриста и не платить ему податей. Это звучит очень резко не надо ни платить податей, ни повиноваться государю. Но этого не надо

потому, что он антихрист, и что наступили последние времена. Значит, в обыкновенное время, не знающее таких ужасов, как пришествие антихриста, платить царю подати и повиноваться ему следует не только за страх, но и за совесть. Даже в крайних своих выводах народная масса показывала себя совершенно неспособной отказаться от тех своих социально-политических представлений, которые сложились и окрепли в исторических условиях развития Московского государства. Это интересное социально-психологическое явление, совершенно ускользнувшее от внимания теоретиков народничества, подробно рассмотрено мною в главе, посвященной возникновению раскола и общей его характеристике. Там же я показал, что, борясь с антихристом, раскольники прибегали преимущественно к старому, испытанному народному средству: бегству из центральных местностей на окраины, в «прекрасную пустыню», где крайне замедлялось дальнейшее развитие народной мысли. Не желая повторяться, я приведу здесь лишь несколько новых примеров [3]), подтверждающих справедливость сказанного там мною и относящихся именно к эпохе Петра.

Расколоучитель Кузьма Андреев, допрошенный в Преображенском Приказе жестоким князем Ф. Ю. Ромодановским, сообщил, что с детских лет он проживал в Москве со своим отцом, монастырским крестьянином, и братьями. Сначала они сильно бедствовали и кормились «мирским подаянием», потом нашли кое-какие занятия: летом паяли медную и оловянную посуду, а зимой торговали на Москве-реке «вся-

[1]) В 1718 г. известный ренегат раскола Питирим сообщал Петру, что «раскольшков во всех городах более 200 тысяч; число их увеличивается: в Балахонском и в Юрьевецком Повольском уездах их более 20 тысяч» *(Есипов,* Раскольничьи дела, т. II, стр. 219). На самом деле число их было еще значительнее, как это явствует из того же сообщения Питирима (там же, стр. 220).

[2]) «Государь наш принял звериный образ и носит собачьи кудри», — говорили раскольники.

[3]) Там же, т. I, стр. 60

кими саньми». Однако в городе они навсегда не остались: «сошли в Керженские леса и жили в пустынях, ради спасения душ своих, для того, что, стало быть, в Москве вере переменение, началась святая служба неправильно, по новоизданным книгам; литургию стали служить на пяти просфорах, а по требнику старой печати... служили литургию на семи просфорах; и в том стала убавка» и т. п. [1]).

А вот показание по тому же делу другого раскольника, Никиты Никифирова.

Посадский человек города Шуи, он «сошел в Балахонский уезд в Керженские леса, для спасения души своей, присмотря в божественном писании о пустынных жителях, для того что он грамоте умеет, и, построя в тех лесах келью, жил с пришлым человеком, со стариком Федором Андреевым» и т. д. [2]).

Допрошенный по другому раскольничьему делу, Иван Андреев сообщил о себе следующее:

«Прежде сего был он домовой вотчины святейшего Патриарха слободы Благовещенской, что в Нижнем Новегороде, бобыльской сын и живучи с отцом своим изучился иконному письму. И отец его умре, а он Иван после смерти его, тому лет с 20, из той слободы сошел, скитался по разным городам и селам и деревням и в пустыне за Нижнем, в Керженце Бога ради...» [3]).

Можно было бы привести много таких же примеров. Но они так похожи один на другой, что это было бы ненужной тратой места и времени. Мы поступим лучше, кинув взгляд на документ, позволяющий

нам судить о том, в какую сторону направлялась работа мысли этих людей, недовольных тем, что давала им окружавшая их действительность, и искавших «нового града».

Вот составленный в Преображенском Приказе список рукописей, отобранных у приверженных к расколу обитателей Керженской «пустыни»:

«1) Патерик азбучный. 2) Патерик скитский. 3) Две тетрадки... о вере. 4) Тетрадь... об иноке, впадающем в блуд. 5) Тетрадь Символ 6) Три тетрадки... Евсевия епископа самосальского. 7) ... месяца Декабря в 18-й день слово Опондока (?) о благоречии. 8) ... о житии Алексея человека Божия. 9) ... о страшном суде Христове. 10) ... исповедание мирянам. 11) ...праздники Тихвинския Богородицы. 12)... «Скитское по-

[1]) *Есипов,* там же, т. I, стр. 594.
[2]) Там же, стр. 603.
[2]) Там же, т. II, стр. 61.

каяние». 13) ...«Поучение св. отцев ко всем спящим». 14) ...«Марта в 24-й день слово не просто прощати грехи». 15) ...Канон богородицы, тропари воскресни и богородичны, с кондаки дневными и полунощными. 16) ...О покаянии и исповедании...»

Список далеко не кончен, но приведенная мною часть его дает нам вполне достаточное понятие о том, какую духовную пищу находили в «пустыне» беглецы, искавшие «нового града». Они знакомились там с литературой, исключительно посвященной вопросам веры и богослужебного обряда; «Иерусалим небесный» привлекал к себе все их внимание. Да и с этой стороны поле зрения расколоучителей было до крайности ограничено. Когда священник Авраам Иванов, перейдя в раскол, согласился служить по «раскольнической вере», его заставили присягнуть по присяге, в которой написано в двух местах: *первое:* «все еретицы противомыслящие святым всея вселенный семи собором да будут прокляты. *Второе:* вси еретицы да будут прокляты, отрицаюбося их и заповедей их и иже изволит с ними, и по их еретическому преданию бороду брити, и иноверных одеяние носити и всего заповедания еретического» [1]). Нельзя было идти вперед по этой дороге, можно было только топтаться на одном месте.

Раскол старообрядства явился, как один из видов националистической реакции против поворота Московского государства к Западу. Но при Петре у нас возник другой вид раскола, находившийся в непосредственной причинной связи именно с Петровской реформой. Я говорю о тех *«новых философах», с* которыми так упорно, хотя вовсе не доблестно, боролся до конца своих дней местоблюститель патриаршего престола Ст. Яворский. Самым видным между ними был Дмитрий Евдокимович Тверитинов.

В начале девяностых годов XVII века тверской «чернослободец» Тверитинов пришел в столицу с несколькими своими родственниками. Он был тогда в «самой мизирноста» и, чтобы найти работу, обратился к иноземцам, которые населяли в Москве целую слободу немецкую. Как видно, ему удалось получить занятие в первой частной московской аптеке. Умный и любознательный, он начал «искать науки у дох-туров и лекарей». Но тогдашняя практическая медицина не удовлетворила его духовных запросов. Между тем как большая часть московских жителей с враждебным недоверием относилась к религиозным взглядам населявших немецкую слободу иноземцев, он заинтересовался

[1]) Там же, т. I, стр. 619—620.

учением протестантов и захотел понять его. В этом Тверитинову отчасти пришла на помощь религиозная литература *Литовской Руси.* Ему попался напечатанный еще в 1562 г. в Несвиже, *по-белорусски,* «Лютеранский катихизис, то есть наука стародавняя христианская от светого писма, для простых людей языка русского». Кроме того, он достал себе «Краткий лютеранский катихизис с молитвами», вышедший в Стокгольме в 1628 г. Книги эти сильно подействовали на него. О белорусском катехизисе он говорил, что написанное в нем есть правда, которую надобно «содержать всякому человеку», а лютеранские молитвы он «зело хвалил и целовал». По обычаю протестантов, он стал усердно читать Библию, из которой делал много выписок [1]). Трудно сказать теперь, сделался ли он вполне убежденным лютеранином. Но неоспоримо, что его религиозные понятия совершенно разошлись с учением православной церкви. Он осуждал поклонение иконам и посты, отвергал церковное предание и находил ненужной церковную иерархию. Все эти новые взгляды были для него делом глубокого убеждения. Про него говорили, что он называл себя апостолом, проповедником истины. И замечательно, что проповедь этого апостола встретила сочувствие в некоторой части передового населения Москвы. В числе его последователей называли сапожника Михаила Чепару, часового мастера Якова Иванова, торговца из овощного ряда Андрея Александрова, цырюльника Фому Иванова, тяглеца котельной слободы Никиту Мартынова и Михаила Андреева Косого, бывшего прежде тяглецом той же слободы.

Михайло Косой принимал участие в стрелецком бунте 1682 г.; за это его сослали в Сибирь. Лет через десять после того он вернулся в Москву, но уже тайно, и, опасаясь быть узнанным, вращался больше между иноземцами. Влияние иноземцев и подготовило его к усвоению новых религиозных взглядов Тверитинова. Начитанный «дохтур» произвел на «его сильное впечатление. «То-то бы патриарх-от был!», - говорил он о Тверитинове.

Пусть читатель простит мне маленькое отступление. Когда открыт был (в 1908 г.) восьмой спутник Юпитера, то оказалось, что в его движении есть интересная особенность. Он так далек от своей планеты, что сила притяжения его ею только немногим сильнее, нежели притяжение его солнцем. Поэтому очень велики возмущения, вызываемые

[1]) Он читал ее не только в славянском переводе, но также на латинском языке, усвоенном самоучкой, неправильным учением».

солнцем в движении этого спутника, а орбита, по которой движется он вокруг Юпитера, постоянно изменяется, так что каждое новое обращение совершается уже по новой орбите и с новым периодом.

Это явление, очень интересное с точки зрения небесной механики, само собою приходит на память, когда задумываешься о ходе духовного развития Михаила Косого. В 1682 г. он бунтует вместе со стрельцами; в ту пору его, как и огромное большинство стрельцов, притягивает к себе московская старина; может быть, очень немного нужно было для того, чтобы сделать из него сторонника «древлего благочестия» и вызвать в нем готовность «умереть за аз». Но обстоятельства, — «нелегальность» его пребывания в Москве после тайного возвращения ив Сибири, — вырывают его из-под старого влияния и подчиняют новому. И 'вот он восстает против старых понятий и восхищается религиозным вольнодумством Тверитинова. Однако новая орбита движения его мысли вовсе не отличается определенностью. Увлечение идеями

Тверитинова, не видевшего никакой надобности в церковной иерархии, приводит ело к тому неожиданному вывощу, что этого противника иерархии следовало бы сделать патриархом. Очевидно, его мысль нередко снова попадала в сферу старого влияния. И Михайло Косой, наверно, был не один. Мы имеем все основания думать, что в том меньшинстве русского трудового населения, которое вследствие тех ищи других обстоятельств попало в эту переходную эпоху под влияние Запада, отнюдь не составляли исключения личности, плохо сводившие концы с концами в своем новом мировоззрении и попеременно уступавшие то одной, то другой силе культурного притяжения.

Защитники «старой веры» видели в Петре исчадие ада; Тверитинов горячо сочувствовал Петровской реформе. «Как Левин, Талицкий, Докукин и целая вереница подобных им староверов отыскивала в Священном Писании тексты в обличение скверны нового направления, в доказательство того, что Петр — антихрист, — говорит Н. С. Тихонравов, — так и Тверитинов вписывал в свои тетрада ив Библии все то, чтó, казалось ему, доказывало необходимость новых, коренных преобразований в русском обществе и особенно в духовенстве» [1]). Он думал, что Петр дал своим подданным свободу совести. «Ныне у нас на Москве, слава Богу, повольно всякому, кто какую веру изберет, такую и верует», — утверждал Тверитинов. И сам он в противность

[1]) См. статью «Московские вольнодумцы начала XVIII века и Стефан Яворский», во втором томе сочинений *Н. С. Тихонравова,* стр. 161. Из этой статьи заимствованы все приводимые данные о Тверитинове.

старообрядцам был убежденным сторонником терпимости. Он учил, что «можно спастись во всех верах», а защитникам старины с упреком говорил: «Только у вас и разума — грозите огнем и кнутом».

Знакомые Тверитинова называли его «человеком неглупым в политике». Но, должно быть, отзываясь о нем так, они имели в виду его «политичное» обращение с людьми. Его все считали большим мастером по части такого обращения. Политикой в настоящем смысле этого слова он, по-видимому, совсем не интересовался. Критическая мысль его едва ли выходила когда-нибудь за пределы религиозной области. Но зато в этих пределах Тверитинов мыслил так смело (для своего времени и для своей среды), что, при свойственной ему склонности проповедовать, не мог не озлобить против себя духовенства. Да и не много-нового нужно было усвоить тогда, чтобы прослыть опасным еретиком. Он находил ненужной церковную иерархию. Стефан Яворский сказал о нем, что он восставал «contra ordinem ecclesiasticum ejusque po-testatem et decorum». Уже этого было достаточно. Но главное, — Тверитинов доказывал, что «иереем подобает от своих рук пищу себе востяжати, якоже и Павел сотвори». Этим он снова поднимал, *решая его в отрицательном смысле,* старый вопрос о церковных имуществах. Духовенство тем более должно было досадовать на него за это, что в лице Петра светская власть и так очень сильно расположена была к бесцеремонному обращению с названными имуществами. Тверитинов был обвинен во многих ересях сразу.

В указе от 1702 г. Петр говорил: «Мы, по дарованной нам от Всевышнего власти, совести человеческой приневоливать не желаем и охотно предоставляем каждому христианину на его ответственность пещись о спасении души своей». На самом же деле раскольники подвергались при нем, особенно в конце его царствования, суровым преследованиям. И не только те, которые называли его антихристом и учили, что грешно платить подати и повиноваться ему.

Тверитинов, всеми силами души сочувствовавший его реформе, тоже испил весьма горькую чашу за свое религиозное вольномыслие. Ему пришлось бы совсем плохо, если бы не вражда Яворского с фискальным ведомством. В числе членов «богопротивной компании» [1]) Тверитинова оказался один фискал, благодаря усилиям и служебным связям которого Петр велел перенести дело в Сенат. Между сенаторами были люди, мало расположенные поддерживать претензии Яворского, твердившего им о том,

[1]) Так называл Яворский Тверитинова с его последователями.

что иное дело власть светская, а иное духовная. Они не упустили случая дать ему почувствовать всю неосновательность этих претензий, а Петр охотно оказал им при этом свою личную поддержку. Испуганный гневом царя, местоблюститель патриаршего престола униженно просил у него прошения, однако не переставал преследовать свою жертву. Дело Тверитинова тянулось мучительно долго. Арестованный в 1713 г. и преданный анафеме Яворским, он был выпущен на свободу лишь через пять лет, а «прощения» и «разрешения от клятвы» добился он от Синода только в 1723 г., да и то, главным образом, благодаря тому, что тогда уже не было в живых упрямого «блюстителя». Прибавлю, что и тогда он не был бы «прощен и разрешен», если бы не отрекся ото всех своих новых религиозных взглядов.

Петр энергично поддерживал своих фискалов в их столкновениях с Яворским. Хорошо сумел он напомнить этому последнему пословицу: «всяк сверчок знай свой шесток» [1]). Но свобода совести, *как таковая,* не имела цены в его главах, а *если и имела,* то весьма небольшую. Раздражать из-за нее хотя бы того же Яворского и его сторонников он не находил нужным. Тверитинов имел о нем неправильное представление.

[1]) Об этом см. в первой книге, стр. 151.

ГЛАВА IV

Политическое настроение дворянства при ближайших преемниках Петра. - Замысел верховников. - Оппозиция против него со стороны рядового дворянства. — Отношение к нему «ученой дружины»

Все более и более частые сношения с Западом открывали русским людям такие стороны европейской жизни, которые прежде оставались недоступными для их умственных взоров. Мы уже видели, как поражали передовые западные страны некоторых наиболее толковых русских путешественников эпохи Петра тем, что их граждане, «наслаждаясь вольностью, живут без страха и без обиды и без тягостных податей» [1]). Московские обыватели не имели о такой жизни роено никакого представления. Но тем более должна была она интересовать тех из них, которые по своему развитию или уму были выше других и, попадая на Запад, получали возможность учиться не одной только «навигации». В 1712 г. Федор Салтыков писал Петру из Англии: «Доношу вашему величеству... в свободные времена, будучи здесь, прилежно потщился выбрать из правления уставов здешнего английского государства и прочих европейских». Ф. Салтыков делал это по желанию царя, имевшего нужду в западноевропейских образцах. Притом «из правления

уставов» западных стран он «выбирал», собственно, то, «которое приличествует токмо самодержавствию, а не так как республикам или парламенту» [2]). Имея дело с Петрам, нельзя было и поступать иначе. Однако, выбирая для царя то, что «приличествует самодержавствию».

[1]) См. цитированный выше путевой дневник П. А. Толстого.

[2]) *Павлов-Сильванский,* Проекты реформ в записках современников Петра Великого. СПБ 1897, стр. 18.

он, в ходе своей работы, знакомился с «уставами» более свободных государств, и в его уме возникал, быть может, вопрос: почему бы не перенести на Русь тот или другой из этих уставов? Павлов-Сильванский называет Ф. Салтыкова *крайним западником* и приводит его слова о том, что «российский народ такие же чувства и рассуждения имеет, как и прочие народы, только его довлеет к таким делам управить» [1]). Исходя из этого убеждения, можно было придумать целый ряд таких реформ, которые не совсем хорошо уживались бы с «самодержавствием». И действительно, Салтыков делал Петру такие «пропозиции», дух которых совсем не соответствовал политическим вкусам и преданиям московских царей.

Ему хотелось создать в России влиятельную аристократию. Он предлагал сохранить привилегию землевладения за дворянским сословием и наделить это сословие аристократическими «титулами» ландграфов, маркизов, графов, баронов, господ, смотря по величине их земельных владений. Для поддержки дворянского сословия он проектировал также учреждение (майората [2]).

Надо заметить, что Салтыков не оставался одиноким в своем сочувствии к аристократическому строю. В. Л. Долгорукий, уехавший во Францию молодым человеком, в свите своего дяди, кн. Як. Фед. Долгорукого, и остававшийся там целых тринадцать лет, а кроме того долго живший в Дании и в Польше, вынес из своего пребывания за границей сильнее сочувствие западноевропейской аристократии. Не меньше сочувствовал ей и кн. Д. М. Голицын, по выражению Д. А. Корсакова, «представлявший собою счастливое сочетание старинного московского боярства с европеизмом и выражавший лучшие стороны этого боярства» [3]). Испанский посол герцог де-Лириа приписывал ему слова «К чему нам нововведения; разве мы не можем жить так, как живали наши отцы, без того, чтобы иностранцы являлись к нам и предписывали нам новые законы». Но если Д. М. Голицын и отзывался так о нововведениях, то несомненно, что его отзыв нужно бы брать cum grano salis. Совершенно понятно, что этот «породистый» человек не хотел подчиниться служившим в России иностранцам. Реформа Петра должна была вызвать его неудовольствие тем, что заставляла *породу* сторониться перед *чином.* Но вполне ясно, что Голицын не мог желать восстановления

[1]) Там же, стр. 22.

[2]) Там же, стр. 25—26. Петр осуществил мысль Салтыкова о майоратах, но переделал ее по-своему, отняв у нее сословный характер.

[3]) «Воцарение императрицы Анны Иоанновны», Казань 1886, стр. 34.

старого московского быта, как он сложился в эпоху, предшествовавшую Петровской реформе. Просвещенному князю нельзя было помириться с этим бытом уже по одному тому, что в Москве самые породистые люди являлись царскими «холопами» и принуждены были безропотно сносить от них соответственное этому обращение. Он недаром читал Локка, Гроция, Маккиавелли и других политических писателей. Влияние Запада пробудило в нем сознание своего человеческого достоинства. Он мечтал

о том, чтобы сообщить знатным русским семьям такое же значение в государственной жизни, какое имела шведская аристократия. Когда обстоятельства дали ему возможность сделать попытку осуществления того, о чем он прежде мог именно только мечтать, Голицын совершил много крупных ошибок, дающих нам отчетливое представление о том, как беспомощны были в вопросах политической тактики даже самые просвещенные русские деятели того времени. Но даже в этих его ошибках обнаружился гораздо более широкий политический кругозор, нежели тот, которым довольствовались бояре допетровский Руси.

Рядом с родовитыми людьми, в которых влияние Запада разбудило, усилило и оформило аристократические стремления, на высших ступенях иерархической лестницы стояли тогда, между прочим, и такие «персоны», которые, стремясь, собственно, только к тому, чтобы поскорее выслужиться и подальше выдвинуться, невольно сравнивали, однако, положение западноевропейских государственных людей с положением *русских* «государевых холопов» и в глубине души отдавали предпочтение первому перед последним. К их числу принадлежал, например, гр. П. И. Ягужинский, возвысившийся при Петре до звания генерал-прокурора Сената. Его личные цели были ему дороже, выше всего на свете. Ради них он готов был идти с кем угодно и куда угодно. Но мы увидим, что при подходящем случае и он способен был воскликнуть, обращаясь к людям, от которых зависела, по его мнению, дальнейшая судьба русского служилого класса: «Батюшки мои, прибавьте нам как можно воли!».

Политические взгляды русских людей расширялись и прояснялись не только благодаря участившимся поездкам их в более свободные страны Западной Европы. Со времени реформы они охотно стали знакомиться с политической литературой Запада. По приказанию Петра переведено было «Введение в Гисторию Европейскую» Пуффендорфа, содержащее в себе краткое описание тогдашнего государственного устройства разных западноевропейских стран. И эта книга была не единствен-

ным источником просвещения государевых холопов. В начале XVIII века в России обращалась рукопись, озаглавленная: «Краткое политическое описание государств Европейских». Автор ее отдавал предпочтение неограниченной монархии. «Он с особой любовью останавливается на тех моментах истории государств, в которые прежние представительные формы уступили место самодержавию (как, например, в Дании в 1662 г., в Швеции в 1680 г.); государственный строй Польши подвергается сильным нападкам автора, а положение английского короля, всецело ограниченного парламентом, вызывает в нем просто соболезнование и жалость» [1]).

Конечно, тут с ним согласилась бы не только «ученая дружина», всецело стоявшая, как мы видели, на стороне абсолютизма. Тогдашнее «российское шляхетство», происходившее от московского дворянства, усердно помогавшего Грозному в деле принижения бояр и утверждения безграничной царской власти, не склонно было увлекаться ни аристократическим строем Англии, ни польской политической анархией. П. А. Толстой, с видимым удовольствием вписавший в свой путевой дневник замечание о том, что граждане Венеции всегда жили «без страху, без обиды и без тягостных податей», очень резко отозвался в том же дневнике о поляках, неспособны, по его словам, «никакого государственного дела сделать без шума и без драки» [2]). Шляхетство стояло за самодержавие частью по унаследованной от предков привычке; читатель

помнит, что герои повестей, возникших под влиянием Петровской реформы, в целости хранили политические воззрения московских людей. А кроме того, готовность отстаивать неограниченную монархию поддерживалась у российского шляхетства его промежуточным положением между родовитыми «фамилиями», с одной стороны, и крепостным крестьянством — с другой. Оно опасалось, что если родовитые люди сделаются господами положения, то начнут теснить шляхетство еще больше, нежели теснили его неограниченные государи. И в то же время оно боялось, что движение служилого класса против государя вызовет движение крестьянства против служилого класса. И, несмотря на все это, даже те политические сочинения и компиляции, которые проповедовали абсолютизм, должны были расширить политические взгляды своих русских читателей, если только знакомили их с более или менее свободными порядками западных стран. Для примера можно со-

[1]) *Д. А. Корсаков,* назв. соч., стр. 286.
[2]) «Русский Архив», 1888 г., кн. I, стр. 196.

слаться на то же «Краткое политическое описание государств Европейских». Как ни строю осуждал его автор английскую конституцию, но он все-таки доводил до сведения русских людей, что без согласия палаш общим (или по его терминологии: нишшего сядания наивышнего двора) невозможно «податки в королевстве ставить». Он же, описывая «Речь посполитую Венецийскую», так характеризовал ее могущественных сенаторов: «Что речено иногда о давнык рымскик сенаторах согласно ныне возможется придати венетицкым сенаторам, который хотя б не короли они, однакоже не надобно их в меньшом почтении иметь». Не меньшего внимания заслуживает его, как бы поневоле хвалебный, отзыв о голландском «статусе», т. е. государстве. Нарисовав картину материального благосостояния Голландии, он прибавляет: «Голанский статус волностъ свою, с многою кровию полученою, выше почитают прочих богатств». Хвалит он и Швейцарию: «Хелветы (швейцарцы. — *Г. П.*) воинственною силою толь славны, что едва народ можется найтить, который имел бы их ценою перевосходить. Сего знаки изъявилися прежде 300 лет, когда за свои домы и за водность мужественно воевали, которую волность и до нынешнего дня зело содержали сопротив нападателей» [1]). Западноевропейская общественная жизнь имела ту особенность, что, говоря о ней, русскому человеку нелегко было избежать более или менее частого употребления слова *«волность».* И поскольку русские читатели знакомились с этой ее особенностью, постольку их понятия возвышались над уровнем московских политических понятий доброго старого времени. Мы видели это еще на примере Котошихина и других западников XVII века. Само собою понятно, что еще больше возвышались над уровнем старых московских понятий люди, читавшие таких писателей, как Гроций, Томазий, Локк или Боккалини, сочинения которых были переведены на русский язык и обращались в наших тогдашних образованных кругах.

Петровская реформа дала русским людям гораздо бóльшую возможность *увидать,* как живут «прочие народы», и *узнать,* что *думают* их умственные представители. Это находится вне всякого сомнения. Но, говоря об этом, надо всегда помнить, что русские люди, получившие возможность ознакомиться с общественной жизнью и общественной мыслью передовых народов Запада, принадлежали почти исключительно к служилому классу. Даровитые люди этого класса были в этом отно-

[1]) См. *Д. А. Корсаков,* назв. соч., стр. 286—293.

шении несравненно лучше обставлены, нежели даровитые люди из народа. К услугам одних был Локк, Маккиавелли, Гоббс или хотя бы только Томазий и Пуффендорф, тогда как другим крайне редко попадалась духовная пища, более питательная, чем «Патерик Скитский», «Тетрадь об иноке, впадающем в блуд», или «Слово» какого-то Опондока «о благоречии». Ввиду этого естественно, что мысль одних подвигалась так или иначе вперед, тогда как мысль других, если не считать некоторых отдельных лиц, топталась на заколдованном месте старых московских обычаев и «древлего благочестия».

Воспитывающее влияние западной жизни и западной литературы подкреплялось теми впечатлениями, которые получались от событий, совершавшихся на Руси. При Петре служилым людям жилось нелегко: он требовал от них работы, работы и опять работы. Но все они видели, что в его лице на царском престоле сидит бережливый хозяин и неутомимый работник. Этой заслуги у него никто не мог, да, кажется, никто и не пытался, отнять. При его ближайших преемниках глазам служилых людей представилось другое зрелище. Екатерина I в роли правительницы совсем не походила на своего мужа. Как говорит Ключевский, она «мало занималась делами, которые плохо понимала, вела беспорядочную жизнь, привыкнув, несмотря на свою болезненность и излишнюю полноту, засиживаться до пяти часов утра на пирушках среди близких людей, распустила управление, в котором, по словам одного посла, все думают лишь о том, чтобы украсть, и в последний год жизни истратила на свои прихоти до 6 ½ миллионов рублей на наши деньги, между тем как недовольные за кулисами на тайных сборищах пили здоровье обойденного великого князя, а тайная полиция каждый день вешала неосторожных болтунов» [1]). Еще хуже пошло дело, когда (в мае 1727 г.) воцарился, наконец, «обойденный великий князь». Все время этого очень дурно воспитанного мальчика тратилось на пустые забавы в обществе его любимцев. Если при Екатерине I господствовал Меншиков, то теперь всесильными временщиками сделались кн. Алексей Долгорукий и его сын Иван. Испанский посланник герцог де-Лириа сообщил своему двору:

«В Москве все ропщут на образ жизни царя, виня в этом окружающих его. Любящие отечество приходят в отчаяние, видя, что государь каждое утро, едва одевшись, садится в сани и отправляется в подмосковную с князем Алексеем Долгоруким, отцом фаворита, и с де-

[1]) «Курс», ч. IV, стр. 316.

журным камергером и остается там целый день, забавляясь, как ребенок, и не занимаясь ничем, что нужно знать великому государю» [1]).

Видел — имеющий очи
И за отчизну болел...

Недовольство поведением правителей родилось и стало усиливаться в такое время, когда служилый класс начал лучше, нежели прежде, сознавать свое значение в государстве. Созданная Петром I новая организация военных сил явилась также новой организацией сил служилого класса. И эти заново организованные силы служилого класса, *особенно гвардия,* выдвинуты были ходом событий на русскую историческую сцену сейчас же по смерти Петра I: его жена вступила на престол при помощи гвардейцев, во всеуслышание говоривших, что они разобьют головы боярам, если те пойдут против нее. И с тех пор, в течение целого исторического периода, личная судьба правителей зависела от настроения гвардии, да еще от хода интриг в придворном кругу.

В своей «Истории кавалергардов» С. Панчулидзев замечает, что по способу своего комплектования гвардия всегда сохраняла «тесную связь с массой населения» [2]). Это совершенно верно, если под «населением» понимать, как это и делает С. Панчулидзев, служилый класс. К этому он должен был бы прибавить, что, сохраняя тесную связь со служилым классом, гвардия, естественно, являлась органом, с помощью которого он защищал свои интересы. Иначе и быть не могло. Но гвардия — не общество образованных людей, обладающих известной степенью развития. Защищая дворянские интересы, она не могла быть носительницей идеалов передовой части дворянства. Ее взгляды были взглядами *большинства,* и в деле защиты сословных интересов дворянства она могла прибегать лишь к таким средствам, которые были доступны пониманию «массы населения». Вот почему ее выступления на русской политической сцене XVIII века дают нам более или менее обильные данные для суждения о политическом сознании нашего шляхетства.

Петр I постановил, что русский государь сам назначает своего наследника. Смерть помешала ему сделать согласно этому постановлению. Его четырнадцатилетний внук умер тоже без завещания. Обе эти, невыгодные для царствовавшего дома, случайности были выгодны для служилого класса в том смысле, что как в 1695 г., так и в 1730 г. дали ему

[1]) «Письма о России в Испанию». «Семнадцатый век», кн. II, стр. 157.
[2]) «История кавалергардов», СПБ. 1899 г., т. I, стр. 179.

повод для решительного политического выступления, по крайней мере в лице гвардии.

По смерти Петра II возник вопрос, нужно ли считаться с завещанием Екатерины I, согласно которому престол, в случае бездетной очерти второго русского императора, передавался в семью дочери Петра I, Анны, бывшей замужем за принцем Гольштинским. По точному смыслу Петровского закона, Екатерина I имела право назначать *только* своего ближайшего преемника. Поэтому ее завещание лишено было законной силы,

и по смерти Петра II надо было выбрать нового государя.

Ближе всего к престолу стоял Верховный Тайный Совет. Его члены быстро сговорились между собою. В ту же ночь, когда скончался Петр II, они выбрали дочь Ивана Алексеевича, вдову курляндского герцога Анну. Они надеялись, что эта далеко не богатая и почти одинокая женщина гораздо легче остальных членов царского рода согласится принять выработанные ими условия («Кондиции») избрания. Общий смысл «Кондиций» выражен был кн. Д. М. Голицыным в словах «надобно себе полегчить» или, — как тотчас же пояснил он, — «воли себе прибавить».

Прибавить себе воли пытались еще бояре, принимавшие участие в выборе Василия Шуйского. Того же хотели родовитые люди при избрании Михаила Романова. Но теперь, после Петровской реформы и благодаря западному влиянию, боярское желание прибавить себе воли приняло уже более определенный характер. «Кондиции», предложенные Анне Ивановне, точнее выражали то, чего, собственно, добивались от новой императрицы их составители. Она должна была подписать следующие обязательства:

«Чрез сие наикрепчайше обещаемся, что наиглавнейшее мое попечение и старание будет не токмо о содержании, но и о крайнем и всевозможном распространении Православныя нашея веры Греческого исповедания; такожде, по принятии короны Российской, в супружество во всю мою жизнь не вступать и наследника ни при себе, ни по себе никого не определять. Еще обещаемся, что понеже целость и благополучие всякого государства от благих советов состоит, того ради мы ныне уже учрежденный Верховный Тайный Совет в восми персонах всегда содержать и без оного Верховного Тайного Совета согласия: 1) ни с кем войны не всчинать, 2) миру не заключать, 3) верных наших подданных никакими новыми податьми не отягощать, 4) в значные чины, как в стацкие, так и в военные, сухопутные и морские, выше полковничья ранга не жаловать, ниже к знатным делам никого не определять, и гвардии и прочим полкам быть под ведением Верховного Тайного Совета, 5) у шля-

хетства живота, имения и чести без суда не отымать, 6) вотчины и деревни не жаловать, 7) в придворные чины как русских, так и иноземцев не производить, 8) государственные доходы в расход не употреблять. И всех верных своих подданных в неотменной своей милости содержать».

На основании этих «Кондиций», или «пунктов», Анна могла составить себе вполне отчетливое представление о весьма скромных размерах своей будущей власти. Ясно указывали «пункты» и на то, что угрожало ей в случае нарушения перечисленных условий: «А буде чего по сему обещанию не исполню, то лишена буду короны Российской».

Она подписала все эти условия: меняя положение бедной вдовы курляндского герцога на положение всероссийской императрицы, хотя бы и с очень ограниченной властью, она все-таки ровно ничего не теряла и очень много выигрывала.

Главным вдохновителем верховников был не раз уже упомянутый выше кн. Д. М. Голицын. Он находил, что условия,

подписанные в Митаве Анной, должны были послужить точкой исхода новых и значительно более широких политических реформ. Голицын, — как видно, впрочем, не сразу, — решился придать известное политическое значение Сенату и создать два новых учреждения: *Шляхетскую Палату* из двухсот членов и *Палату городских представителей,* на обязанности которой лежала бы защита интересов торгового сословия, а также и всей вообще непривилегированной, *нешляхетской,* Руси [1]). Но, по известному немецкому выражению, Д. М. Голицын считал без хозяина, и его плану не суждено было осуществиться.

В момент смерти Петра II Верховный Совет состоял всего из пяти человек. Его членами были: канцлер Г. И. Головкин, вице-канцлер А. И. Остерман, кн. А. Г. Долгорукий, кн. В. А. Долгорукий и кн. Д. М. Голицын. Этот его состав немедленно был пополнен кооптацией трех но-

[1]) «К купечеству иметь призрение и отвращать от них всякие обиды и неволи и в торгах иметь им волю и никому в одни руки никаких товаров не давать, и податми должно их облегчить, а протчим всяким чинам в купечество не мешатца», — так гласил двенадцатый параграф написанного Голицыным проекта присяги на верность Анне от имени Верховного Тайного Совета, Сената, Синода, генералитета и «всего российского народа, духовного и светского всякого чина людей». (*Корсаков,* назв. соч., стр. 187—188.) Я счел полезным отметить выразившееся здесь сознание вреда монополий и пользы «воли в торгах». Характерно также обещание запретить мешаться в купечество «прочим всяким чинам». Русские купцы постоянно добивались такого запрещения еще до Петра и, как увидим, не перестали добиваться его в эпоху пресловутой екатерининской Комиссии для составления Уложения.

вых лиц: фельдмаршала кн. М. М. Голицына, фельдмаршала кн. В. В. Долгорукого и сибирского губернатора кн. М. В. Долгорукого. Таким образом и получилось «восемь персон», при чем Анна обязалась всегда «содержать» Верховный Совет именно в этом числе. Из восьми персон, составлявших тогда Совет, две — Головкин и иностранец Остерман — отнюдь не были знатной породы; зато остальные шесть принадлежали к самым родовитым «фамилиям». Это обстоятельство до известной степени придавало аристократический характер центральному учреждению, стремившемуся захватить всю власть в свои руки. Но надо сказать, что русская аристократия, — если только существовала она в XVIII веке, - состояла не только из двух княжеских родов: Голицыных и Долгоруких. Князья Трубецкие, Барятинские, Черкасские, гр. Мусин-Пушкин и некоторые другие тоже могли с полным основанием причислять себя к «фамильным людям». Высказав желание навсегда ограничить состав Совета восемью лицами, верховники тем самым вызвали неудовольствие во многих других знатных семьях. Недовольные верховниками аристократы сделали все от них зависевшее для того, чтобы помешать осуществлению замысла.

Родовитые люди преобразованной России до известной степени усвоили себе политические взгляды и стремления западноевропейских аристократов. Но когда дело дошло до проведения в жизнь этих взглядов, до осуществления этих стремлений, тогда повторилось то, что было постоянные явлением в Московской Руси: вместо того, чтобы соединенными силами вести борьбу против самовластия государей, наши

бояре, не будучи в состоянии подняться выше родовых или кружковых целей, пошли друг против друга, чем существенно облегчили победу того же самовластия. Несмотря на свой европеизм, Долгорукие и Голицыны не сумели отделаться от этой странной боярской привычки. Они поставили свой замысел на слишком узкую основу, сделали из него плохо обдуманную придворную интригу («затейку», по выражению Ф. Прокоповича), тогда как им представлялся хороший случай сделать открытый шаг в направлении к политической европеизации России. Против «затейки» верховников ополчились не только оттесненные ими аристократы. Ей стали вредить разного рода чиновные честолюбцы вроде упомянутого выше Ягужинского. По смерти Петра II он обратился к верховникам с уже приведенными мною словами: «батюшки мои, прибавьте нам как можно воли». Как видим, он сознавал, что «воля» гораздо лучше *«неволи»*. Но он смотрел на вопрос о борьбе за «волю» с личной точки зрения. Потеряв надежду быть кооптированным в Совет, он не-

медленно начал смелую и ловкую интригу в пользу самодержавия. В его лице *«чин»* потребовал уступок от захватившей власть «породы» и, не добившись их, вступил в глухую, но беспощадную борьбу с нею. Этим тоже были уменьшены шансы успеха задуманного Д. М. Голицыным предприятия.

Но теперь, как и по смерти Петра I, дело зависело, в последнем счете, от гвардии, т. е. от организованного шляхетства. Г. С. Панчулидзев нашел нужным поставить своим читателям на вид, что в XVIII веке все участники наших государственных переворотов, «сверху донизу», сознательно стремились к своим целям. Посмотрим, в какой мере это можно признать справедливым.

Описывая «затейку» верховников, Ф. Прокопович так характеризует впечатление, произведенное ею на дворянские круги.

Все говорили, что «если по желанию господ оных (т. е. членов Верховного Совета. — *Г. П.*) сделается, от чего бы сохранил Бог, то крайнее всему отечеству настоит бедство. Самим им Господам не льэя долго быть в согласии: сколько их есть числом, чуть не толико явится атаманов междоусобных браней, и Россия возымеет скаредное лице, каково имела прежде, когда на многая княжения расторгнена бедствовала» [1]). Тут вполне позволительно предположить преувеличение. Но свидетельство Прокоповича подтверждается донесением польско-саксонского посла У. Л. Лефорта, который писал 26 января (6 февраля н. с.):

«Новый образ правления, составляемый вельможами, дает повод к волнению в мелком дворянстве; среди него слышатся подобного рода разговоры: знатные предполагают ограничить деспотизм и самодержавие; эта власть должна быть умерена Советом, который мало-помалу захватит в свои руки бразды правления; кто же нам поручится, что со временем вместо одного государя не явится столько тиранов, сколько членов в Совете, и что они своими притеснениями не увеличат нашего рабства. У нас нет установленных законов, которыми мог бы

руководиться Совет; если его члены сами станут издавать законы, они во всякое время могут их уничтожить, и в России начнется анархия» [2]).

Дворянство помогло московским государям сокрушить бояр. Теперь, когда два боярских рода захотели воспользоваться смертью Петра II для

[1]) «Записки Дюка Лирийского и пр.» (Приложение), стр. 198.

[2]) «Сборник Имп. Русского Исторического Общества», т. V, стр. 347. — Ср. *Корсаков,* назв. соч., стр. 92—93.

обеспечения себе решающего влияния на ход дел в стране, дворянство, — ставшее и российским *«шляхетством»,* т. е. достигшее несколько более ясного политического сознания, — не могло явиться послушным орудием в их руках. И надо удивляться тому, что просвещенный Д. М. Голицын понял это только тогда, когда уже нельзя было предпринять что-либо серьезное для привлечения «шляхетства» на сторону Верховного Совета.

Мелкое дворянство, безусловно, стояло за самодержавие. Но средний и высший слой этого класса готовы были выставить свои условия. Эти слои стремились к более или менее значительному ослаблению своей зависимости по отношению к государству и государю. Они хотели ограничить обязательную службу дворянства известным сроком, обеспечить себя и свои имения от произвола верховной власти и, наконец, приобрести законное влияние на ход государственного управления. В различных кружках недовольного верховниками шляхетства выработано было до 10 проектов, подписанных более чем 1000 лицами. Эти проекты дают нам прекрасный материал для суждения о тогдашнем «умоначертании» европеизованной части русского дворянства.

Наибольшей полнотой и систематичностью изложения отличается проект, составленный В. Н. Татищевым и решительно требующий упразднения Верховного Тайного Совета. Проект находит нужным, *«в помощь Ее Величеству»,* учредить «Вышнее Правительство» или Сенат (в составе 21 «персоны»), деятельность которого дополнялась бы деятельностью «Нижнего Правительства», из 100 «персон», предназначавшегося, собственно, для заведования делами внутренней экономии. «Упалые места» в вышнем и нижнем правительстве должны были пополняться кооптацией на соединенных заседаниях этих двух учреждений [1]). В тех же соединенных заседаниях предполагалось производить выборы губернаторов, вице-губернаторов и главных командиров войск.

В проекте определялся также порядок составления новых законов: «Как скоро Ее Величества повеление будет какой закон сочинить, оный послать во все коллегии, чтоб довольно рассмотрели, и чрез несколько дней сочиня каждая общее, или кто собственное свое, в собра-

[1]) Проект воспрещает выбирать «в Вышнее Правительство двух чинов одной фамилии», потому что «весьма беспорядочно бывает, когда в одном правлении отец с сыном, или два брата, и дядя с племянником, тесть с зятем присутствуют, которое равно как бы одному два голоса присвоены были». Составитель проекта, очевидно, хотел помешать повторению того, что совершилось при кооптации членов Верховного Совета и что возбуждало всеобщее неудовольствие.

нии внешнему правительству объявили, и по довольном рассуждении сочиня Ее Величеству ко утверждению представили» [1]).

Неясно, считал ли проект императрицу *обязанной* утверждать законопроекты, «сочиненные» таким образом. Очевидно, однако, что ей должен был принадлежать *законодательный почин.*

Далее проект требовал ограничения срока шляхетской службы двадцатью годами; избавления шляхетства от службы в матросах и ремесленниках; отмены Петровского закона об единонаследии и приведения в известность «подлинного шляхетства». Старинное, столбовое дворянство предполагалось записывать в особую книгу, отдельно от новых дворян, которые «из солдат, гусар, однодворцев и подьячих». Принадлежность к дворянству должна была определяться древностью рода или жалованными грамотами.

Не забыты были и политические аресты. При них должен был присутствовать депутат от полиции для охраны пожитков арестуемого, а для наблюдения за справедливостью в Тайную Канцелярию предполагалось назначить по два члена Сената.

Проект, выработанный автором «Разговора о пользе наук и училищ», не мог не позаботиться о просвещении шляхетства. Он указывал на необходимость устройства во всех городах училищ с обеспечением их помещением и ежегодным содержанием. Татищев не был бы птенцом гнезда Петрова, если бы не подумал и о торговом сословии. Написанный им проект предлагал освободить купечество от постоев, принять меры к ограждению его от утеснений [2]) и «подать способ к размножению мануфактур и торгов» [3]).

Для обсуждения этих предложений надо было выбрать «всем шляхетством к рассмотрению сего людей достойных, не меньше ста человек». Лица, подписавшие проект (их было 249 человек), просили Верховный Совет, «чтоб конечно того ж дня или на завтра, чрез герольдмейстера, шляхетству о собрании объявить и покои для того назначить» [4]).

Другие проекты разработаны не так обстоятельно. От только что рассмотренного они отличаются некоторыми, иногда существенными, частностями. Большинство их не упраздняет Верховного Совета, а идет на сделку с ним, настаивая только на том, чтобы состав его был рас-

[1]) *Корсаков,* Воцарение, стр. 159, 160, 161.

[2]) Мы слышали от Посошкова, как многообразны были те утеснения, которым подвергалось купечество со стороны служилого класса.

[3]) *Корсаков,* назв. соч., стр. 161.

[4]) Там же, стр. 162. Проект подан был в Совет 5 февраля.

ширен. В одном проекте выражается довольно большая требовательность по части прав *«фамилных особ»,* которые должны были составить в служилом классе особый слой, отдельный от *простого шляхетства* и обладающий большим, нежели оно, удельным политическим весом [1]). Некоторые проекты говорят об «отягощенном податями земледелстве», — т. е. о крестьянстве, — хотят облегчить податное бремя [2]). Что касается государственного управления, то все они считали

нужным участие в нем всего «общества», расходились только в вопросе об его составе. Согласно одним проектам, «верховное собрание» должно было состоять из Совета, Сената, генералитета [3]) и шляхетства, тогда как другие исключали ив него Сенат, а отчасти и Совет (при выборах в верховное собрание, которые должны были производиться кооптацией). В одном проекте говорится даже: «Впредь что потребно к исправлению и к пользе государственной явится сочинить *Сейму* и утвердить обществом» *). Интересно, что именно в этот критический момент некоторые русские дворяне не вспомнили о сеймах польской и литовско-русской шляхты.

Все эти различия не мешали проектам сохранять свой вполне шляхетский характер и самим существованием своим свидетельствовать о том, что в тогдашнем русском дворянстве был слой, отнюдь не стремившийся к безусловному восстановлению старого политического порядка Осуждая «затейку» верховников за ее исключительность, слой этот хотел воспользоваться предполагавшееся уступчивостью Анны для устранения или хотя бы только ослабления «холопской» зависимости служилого класса от государей. Выходит, что не совсем ошибался Ф. Салтыков, писавший: «Русский народ такие же чувства и рассуждения имеет, как и прочие народы, только его довлеет к таким делам управить». Петровская реформа «управила» некоторую часть нашего служилого класса к делу приобретения известных политических прав. Но если обстоятельства были достаточно благоприятны для того, чтобы заставить ее *стремиться к приобретению таких прав,* то они же были недостаточно благоприятны для того, чтобы *сделать* его стремление осуществимым.

«Шляхетство сознавало, — говорит уже цитированный мною выше историк Кавалергардского полка, — что как территориальное распростра-

[1]) Там же, стр. 165.
[2]) Там же, стр. 174.
[3]) Т. е. чиновных особ первых четырех классов.
[4]) Там же, стр. 170.

нение крепостного права, так и внутреннее развитие этого учреждения возможно только при содействии верховной власти» [1]). Это едва ли вполне так. Вероятно, сословный *инстинкт* шляхетства играл здесь значительно большую роль, чем его сословное сознание. Но как бы там ни было, нельзя сомневаться в том, что шляхетское стремление раскрепостить себя должно было сильно умеряться стремлением *удержать в крепостной зависимости и даже еще более закрепостить крестьян.* Кроме того, большинство дворянства оставалось настолько неразвитым в политическом отношении, что до него по-старому не достигали никакие сомнения в преимуществах самодержавия. Эта по-старому неразвитая часть дворянства составляла большинство, между прочим, и в *гвардии,* от которой зависел, в последнем счете, исход всего дела. Неудивительно поэтому, что гвардия показала себя отнюдь не расположенной поддерживать чьи бы то ни было конституционные стремления.

Силы новаторов были слабее, нежели силы консерваторов. Но это еще не все. Новаторы никак не могли согласиться между

собою, чем еще более ослабляли свои силы и облегчали торжество консерваторов. И тут ответственность едва ли не всецело падает на «фамилных людей» Они долго не могли понять, что непременно надо сделать уступки, по крайней мере, наиболее влиятельным слоям шляхетства и тем привлечь их на свою сторону. А когда они, наконец, поняли это, у них уже не было возможности поправить свою ошибку.

П. Н. Милюков находит, что в целях верховников не было ничего олигархического. В подтверждение этого он ссылается на следующие слова Генриха Фнка — известного сотрудника Петра I, имевшего «вкус к республиканскому правлению» и помогавшего верховникам своими советами: «Ныне империя Российская стала сестрица Швеции и Польше; россияне ныне умны, понеже не будут иметь фаворитов таких, как были Меншиков и Долгорукий, от которых все зло происходило» [2]). Но слова эти так неопределенны, что ничего не доказывают. Так же мало убедительна и ссылка П. Н. Милюкова на фразу Д. М. Голицына: «Отныне счастливая и цветущая Россия будет». Несколько более определенны приводимые отзывы другого Голицына, маршала Михаила Михайловича, который «рассуждал», что у нас больше не будет произвольных казней, ссылок, конфискаций и что новое правительство

[1]) *С. Панчулидзев,* История кавалергардов, т. I, стр. 221.

[2]) См. статью «Верховники и шляхетстве», СПБ. 1902, стр. 20, в сборнике «Из истории русской интеллигенции».

уменьшит ненужные расходы, запретит лишние поборы, даст свободу торговле обеспечит каждому его имущество и понизит высоту процента посредством учреждения банка. Но и эти «рассуждения» имеют вид простых обещаний, шедших от человека, принадлежавшего к числу верховников и потому существенно заинтересованного в перевороте. Вопрос заключался в том, чем именно, т. е. *какими политическими учреждениями,* будет обеспечено исполнение обещаний, расточавшихся церковниками и их сторонниками. А на этот вопрос верховники не давали другого ответа, кроме того, который заключался в явно выраженном их нежелании удовлетворить политические требования просвещенной части шляхетства. П. Н. Милюков так формулирует эти требования конституционной партии:

«Она полагала, что новое государственное устройство должно быть выработано особым учредительным собранием, более широким, чем Совет, по социальному составу. Законодательная власть в будущем строе также не должна была быть монополией какой-либо правящей корпорации, а достоянием «общенародного» правительства» [1]).

Как же отнеслись верховники к этим требованиям? Вот как:

«Свои уступки шляхетству он (Д. М. Голицын. — *Г. П.*) ввел в текст сочиненной им присяги, которую подданные должны были принести императрице после ее приезда. Первый из шестнадцати пунктов этой присяги формулировал обязанности Верховного Совета подлинными словами одного из представленных Совету проектов. Верховный Тайный Совет, по этому определению, существует «не для иной какой собственной того собрания власти, точию для лучшей государственной

пользы и управления в помощь их императорских величеств». «Не персоны управляют законом, — повторяет Голицын другую красивую фразу того же проекта, — но закон управляет персонами». Из этого же проекта взяты в присягу слова о выборе кандидатов в члены Совета из «первых фамилий, из генералитета и из шляхетства, людей верных и обществу народному доброжелательных», не более двух от одной и той же фамилии. Но в самой *сути* дела никакой уступки не делается: выбор кандидатов, вместо общего собрания Совета, Сената и генералитета, передается Совету и Сенату. Для решения важнейших дел Голицын соглашается созывать собрание более широкого состава, но в такой форме, которая и эту уступку лишает всякого действительного значения» [2]).

[1]) Там же, стр. 23.

[2]) *П. Н. Милюков,* там же, стр. 36—37. Курсив П. Н. Милюкова.

Сенат, генералитет, коллежские чины, знатное шляхетство, а в духовных делах также члены Синода и архиереи получали *только совещательный голос.* Правда, другие пункты присяги давали удовлетворение некоторым второстепенным и третьестепенным требованиям шляхетства, но, как справедливо замечает сам П. Н. Милюков, уступки эти не могли повести к примирению, так как «шляхетство не находило в них главного — участия своих представителей в выработке нового строя и в пользовании высшими правами государственной власти» [1]).

Нельзя не согласиться с П. Н. Милюковым, когда он говорит, что шляхетские требования тоже были узки, так как под «общенародием», которому надлежало обеспечить участие во власти, понималось, собственно, одно только шляхетство. Исключительно шляхетский характер всех протестов, поданных в Верховный Совет, уже отмечен мною выше. Но и узость имеет разные степени. Узок был политический кругозор тех, у кого понятие *«общенародна»* покрывалось понятием *шляхетства.* Но *еще более узким* оказался кругозор тех, которых даже узкое понятие *шляхетского* общенародна пугало своею *широтою.* А если вспомнить при этом, что, не желая поделиться властью со шляхетством, верховники ухитрились восстановить против себя также и знатные «фамилии», многие представители которых пошли во главе недовольных, то станет совершенно понятным, почему и в каком смысле тогда же упрекали и до сих пор упрекают Д. М. Голицына и его товарищей в *олигархических* симпатиях.

Сошлюсь на Ф. Прокоповича. По его словам, Долгорукие хотели служить не народной пользе, а себе, стремясь приобрести хоть часть царской власти, когда не могли целой достать. Это их стремление он называл коварным, при чем рассуждал так: «Сие коварство их потому не тайно, что они не думали вводить народное владетельство (кое обычно вольною республикою называют); но всю владения крайнюю силу осьмочисленному своему совету учреждали, который владения образ, в том малом числе владеющих, не может нарещись владетельством избранных, гречески аристократиа; но разве... тиранством или насильством, которое олигархиа у Еллинов именуется» [2]).

Прокопович был непримиримым врагом верховников. Он с

радостью распространялся об их ошибках. Это очевидно. Но не менее очевидно и то, что Верховный Совет стремился передать власть в руки «малого числа владеющих».

[1]) Там же, стр. 37—38.

[2]) «Записка Дюка Лирийского» (Приложение), стр. 196.

Как сообщает далее Прокопович, все говорили тогда, «что если по желанию господ оных (верховников. — *Г. П.*) сделается, от чего бы Бог сохранил, то крайнее всему отечеству настоит бедово» [1]). Это, конечно, преувеличено. Так говорили не все. До нас дошло известие о бригадире Козлове, который, приехав из Москвы в Казань, с восторгом рассказывал тамошним обывателям, что при первом же нарушении Анной «Кондиций» ее вышлют назад в Курляндию; что теперь она ни последней табакерки из государевых сокровищ не может себе взять; что она не будет раздавать деревень и денег, не будет приближать ко двору своих свойственников и, — это всего замечательнее, — что теперь у нас правление государства стало порядочное, какого нигде не бывало и пр. Значит, были же тогда люди, не смущавшиеся сосредоточеньем »ласти в руках осьмичленного Совета. Но огромное большинство дворян, в самом деле, очень опасалось печальных последствий такого сосредоточения. Рассеять его опасения можно было *только* путем немедленных уступок политическим требованиям конституционной части шляхетского «общенародия», но этого-то и не хотел Д. М. Голицын. Последним его словом, крайним пределом его уступчивости П. Н. Милюков называет тот проект присяги, который «в самой сути дела» не оставлял неудовлетворенными требований шляхетства. Этот своеобразный «большевизм» тем более удивителен, что если русское боярство являлось «зяблым деревом» уже в XVII веке, то теперь, в 1730 г., почин ограничения верховной власти был взят на себя даже не всем этим деревом, — еще более ослабленным реформою Петра, которая принесла с собой несравненно лучшую, чем прежде, организацию военной шляхетской силы, — а только двумя его ветвями. Как ничтожна была политическая сила этих двух ветвей, ясно видно из того, что верховники все время выдавали «Кондиции» за добровольный шаг Анны, а также из того, что без всякого препятствия с их стороны все предложили называть новую государыню самодержавной.

Выходило, действительно, так, что верховники надеялись победить самодержавие посредством закулисной интриги. Их надежда оказалась несбыточной. Положение верховников становилось все более и более безвыходным. Это понял, наконец, В. Л. Долгорукий, который, по-видимому, не так сильно страдал боярским «большевизмом», как Д. М. Голицын. Он согласился и на увеличение числа членов Верховного Совета и на рассмотрение общественных нужд выборными от шляхетства, «чтобы

[1]) Там же, стр. 198.

народ узнал, что к пользе народного дела начинать хотят». Но было уже поздно: конституционная партия пошла на сделку со сторонниками самодержавия.

Эти последние, собравшись 23 февраля в квартире князя И. Ф. Барятинского, решили просить Анну уничтожить Верховный Совет и восстановить старый политический порядок. В то же время конституционалисты обсуждали создавшееся положение дел в квартире кн. А. М. Черкасского. Неизвестно, что, собственно, говорилось на этом их собрании. Надо полагать, однако, что конституционалисты мало верили тогда в возможность осуществить свои желания. Они не дали серьезного отпора В. Н. Татищеву, явившемуся к ним с предложением подписать челобитную, составленную на собрании консерваторов в доме Барятинского. Горячо поддержанное А. Д. Кантемиром, предложение Татищева сильно повлияло на присутствовавших. Некоторая часть их тогда же подписалась под просьбой о восстановлении самодержавия. После этого Кантемир и гр. Матвеев поехали в казармы собирать новые подписи. Весь следующий день затрачен был на эту агитацию; к вечеру coup d'état было подготовлено; Анну известили, что «согласилися». Ей оставалось только разорвать составленные верховниками подписанные ею «Кондиции». Это и было сделано ею 25 февраля в четвертом часу пополудни.

Правда, при этом не обошлось без неожиданностей.

Утром 25 февраля в приемных комнатах кремлевского дворца собрались кн. Черкасский со своими единомышленниками и кн. Юсупов с гвардейскими офицерами. Они попросили у государыни аудиенции и конечно сейчас же получили ее. Тогда Татищев прочел Анне челобитную, в которой прежде всего выражалась ей «рабская благодарность за то, что она изволила подписать «пункты», выработанные «Верховным Советом». «И не токмо мы, — говорилось в челобитной, — но и вечно наследники наши имени Вашему бессмертное благодарение и почитание воздавать сердцем и устами причину имеют». При этом благодарные челобитчики высказывали, однако, известные «сумнителъства», для рассеяния которых просили государыню позволить генералитету, офицерам и шляхетству собраться по одному или по два от фамилий для того, чтобы, исследовав все обстоятельства, сочинить форму государственного правления [1]).

Анна смутилась, да и было от чего: не далее как накануне извещенная о том, что «согласилися», она ожидала ходатайства о восстано-

[1]) *Корсаков,* назв. соч., стр. 271.

влении самодержавия, а от нее потребовали созыва учредительного собрания. Но при таких обстоятельствах дорога была каждая минута. Сестра Анны, Екатерина, герцогиня мекленбургская, подбежала к ней с пером и с настойчивым советом: «Подпиши сейчас!». Анна подписала: «Ученить по сему» и пригласила шляхетство снова и немедленно обсудить свою челобитную в другой зале дворца. Оно последовало этому приглашению.

Началось что-то вроде первого заседания или импровизированного учредительного собрания.

Оно продолжалось не очень долго. Чтобы возблагодарить Анну за милостивое принятие их просьбы, челобитчики,

потолковав между собой, постановили обратиться к ней с новой просьбой, состоявшей в том, чтобы она перестала подчиняться тем самым «Кондициям», за подписание которых они же только что обещали ей «бессмертное благодарение» потомства. «Всепокорно просим, — написано было в новой челобитной, — всемилостивейше принять *Самодержавство* таково, каково Ваши славные и достохвалъные предки имели, а присланные к Вашему Императорскому Величеству от Верховного Совета пункты уничтожить».

Первый блин вышел комом. *Первое* заседание учредительного собрания оказалось также и *последним.* Этого захотело само собрание. Путем обхода *(первая* челобитная) шляхетство пришло как раз туда, куда идти оно «согласилось» еще накануне и где его ждала императрица *(вторая* челобитная). Кому же и зачем понадобился такой обход?

Нелегко ответить на этот вопрос. Как видно, Татищев, Кантемир, Матвеев и другие лица, агитировавшие в пользу самодержавия, переубедили не всех конституционалистов, и та часть шляхетства, которая сохранила свои конституционные стремления, решила попытать счастья утром 25 февраля. Ее политические взгляды и выразились в первой челобитной. Это понятно. Непонятно только то, что прочесть эту челобитную Анне взялся именно Татищев. Роль Татищева в 1730 г. будет подробнее рассмотрена ниже. Но то обстоятельство, что первая челобитная была прочитана именно им, не могло повлиять на ее судьбу. А судьба ее оказалась довольно странной, так как те самые лица, которые подписались под нею, нашли нужным ходатайствовать о восстановлении самодержавия. Но необходимо помнить, что ограничения императорской власти хотело лишь *меньшинство* шляхетства. Его *большинство* было частью равнодушно к этому намерению, частью враждебно ему. Враждебное конституционализму настроение шляхетского большинства ярко выразилось в поведении гвардии. «Государыня, — кричали присут-

ствовавшие при чтении первой челобитной гвардейские офицеры, — мы верные рабы Вашего Величества... но мы не потерпим ваших злодеев. Повелите, и мы сложим к вашим ногам их головы» [1]). Напутствуемое подобными криками, шляхетство не могло унести с собою на первое заседание своего учредительного собрания большого запаса политической самоуверенности. Оно ничего не могло противопоставить гвардейской «критике посредством оружия» и должно было чувствовать себя, как в мышеловке, потому что доброхоты Анны захватили все выходы из дворца.

Чтобы выбраться из мышеловки, челобитчикам пришлось отказаться от мысли об ограничении самодержавия и ходатайствовать о восстановлении старого политического порядка. Но, ходатайствуя об этом, они не отказались от других своих требований. В их второй челобитной, *прочитанной Кантемиром,* говорилось вслед за просьбой о «самодержавстве»:

«Только всеподданнейше Ваше Императорское Величество просим, чтоб соизволили сочинить вместо Верховного Совета и высокого Сената один правительствующий Сенат, как при Его

Величестве... Петре I было, и исполнить его довольным числом, 21 персоною, такожде ныне, в члены и впредь на упалые места в оный правительствующий Сенат и в губернаторы и в президенты повелено б было шляхетству выбирать баллотированием» [2]).

В заключение челобитчики выражали надежду на) правосудие, на облегчение податей и на то, что «мы», т. е. дворяне, «по природному ее Величества благоутробию во всяком благополучии и довольстве тихо и безопасно житие свое препровождать имеем».

Не совсем лишена интереса и следующая фраза, прокравшаяся в новую челобитную: «и притом всеподданнейше просим, чтоб по Вашему Всемилостивейшему подписанию форму правительства государства для предбудущих времен ныне установить». Казалось бы, что вопрос о «форме правительства для государства» без остатка решился ходатайством о восстановлении самодержавия. Но, может быть, внеся эту фразу в свою вторую челобитную, сидевшие в мышеловке челобитчики хотели успокоить свою (или своих единомышленников, находившихся за стенами лворца) конституционную совесть. Как бы там ни было, известно, что природное благоутробие новой государыни, получившей всю полноту

[1]) Там же, стр. 274.
[2]) Там же, стр. 275.

власти, не оставило места для каких-нибудь конституционных мечтаний. В царствование Анны всякие мечтания этого рода подвергались жестокому преследованию. Достаточно было иметь список «Кондиций», чтобы навлечь на себя обвинение в государственном преступлении. Даже гвардия была заподозрена в свободомыслии. Учреждено было два новых гвардейских полка, — Измайловский и Лейб-гвардии конный, — и их командирами назначены усердные клевреты Анны. Кавалергарды же, сначала награжденные правительством, были потом «раскасованы», потому что, хотя большинство их требовало восстановления самодержавия, между ними были также лица, подписавшиеся под некоторыми конституционными проектами. Правительство зорко следило за «раскасованными» и. особенно не желало, чтобы они оставались в Москве [1]). Но при всем том . шляхетству делались уступки, которые должны были убедить его, что оно и при самодержавии может удовлетворить пожелания, наиболее распространенные в его среде. Уничтожив Верховный Совет, Анна восстановила Сенат, согласно желанию шляхетства, «в той силе», как он учрежден был Петром. Допущен был выбор офицеров баллотировкой, отменен закон об единонаследии; ограничена 25 годами обязательна»: служба шляхетства [2]); учрежден шляхетский корпус с выпуском окончивших его курс прямо в офицеры и т. п. П. Н. Милюков находит даже, что для окончания задуманного еще Петром I нового «уложения» принят был порядок, напоминающий Татищевский проект: статьи этого уложения «должны были обсуждаться в комиссии, в состав которой входили выборные из шляхетства *и* сведущие люди ив духовенства и купечества, потом рассматриваться в соединенном заседании этой комиссии

и Сената и, наконец, вноситься на утверждение государыни». «Таким образом, — заключает только что названный мною ученый, — влияние идей и желаний, высказанных в политических проектах 1730 г., на законодательство императрицы Анны не может быть подвергнуто сомнению. В этом отношении переворот (т. е. попытка переворота. — *Г. П.*) 1730 г. сделал в миниатюре то же дело, какое сделала в больших размерах знаменитая екатерининская Комиссия» [3]). Но в высшей степени замечательно, что чем более раскрепощалось шляхетство и чем более упрочивалось его влияние в области законодательства и управления,

[1]) В сентябре 1731 г. им был объявлен именной указ, «дабы они праздно в Москве не шатались» *(Панчулидзев,* назв. соч., т. I, стр. 220 и 221).

[2]) Впрочем, эта уступка была потом взята назад.

[3]) «Из истории русской интеллигенции», стр. 51. Ср. также *Корсаков,* назв. соч., стр. 298—299.

тем менее интересовалось оно вопросом об ограничении власти государя. Ниже мы увидим, что исключения, — как мнимое, так и действительное, — из этого общего правила на самом деле только подтверждают его. И был совершенно прав другой исследователь, Д. А. Корсаков, который утверждал, что, получив при Анне некоторые льготы, шляхетство стало все более удаляться от мысли о том значении, которое оно желало получить в 1730 году: «идеалы его суживаются, и шляхетские заявления в знаменитой екатерининской Комиссии 1767 года несравненно ниже шляхетских воззрений 1730 года» [1]).

Когда «затейка» верховников потерпела окончательное крушение, Д. М. Голицын говорил своим друзьям: «Пир был готов, но гости были недостойны его. Я знаю, что я буду его жертвою! Так и быть, я пострадаю за отечество; я близок к концу моего жизненного поприща, но те, которые заставляют меня плакать, будут проливать слезы долее меня!»

Упрямый «большевик» боярства не обнаружил политического искусства в деле приготовления «пира». Мы знаем, что против него не без основания выдвигался упрек в стремлении к олигархии, а лучше было бы сказать: к кружковщине. Но нужно быть справедливым. Как это писал еще Д. А. Корсаков, торжество Анны тоже повело к олигархии, да еще не русской, а иностранной. «Бироновщина» явилась жестоким наказанием России за то, что она показала себя неспособной положить конец своему старому политическому поряжу. Конечно, Россия была тут без вины виноватой, но объективная логика общественной жизни не признает никаких смягчающих обстоятельств.

Петровская реформа, просветившая политические взгляды некоторой *(небольшой) части* служилого класса, не изменила соотношения политических сил в России и потому не могла непосредственно повести к изменению нашего политического строя. Напротив, одним из непосредственных ее последствий было продолжительное *упрочение* этого строя. Ему в значительной степени шло на пользу даже стремление передовых русских людей к свету знания. Если просвещенная часть дворянства не могла не сознавать, что западная *«воля»* лучше старой русской *неволи,* то, с другой стороны, мы уже знаем, что «ученая дружина», вызванная к жизни Петровской

реформой, всецело сочувствовала самодержавию. В 1730 году *она* доказала это делом. Ф. Прокопович, А. Кантемир и В. Н. Татищев

[1]) *Корсаков,* назв. соч., стр. 302.

совершили все, от них зависевшее, для того, чтобы поддержать Анну. Правда, можно подумать, что Татищев сам не знал, чего, собственно, ему хотелось: он, защищавший в теории самодержавие, пишет конституционный проект; он, написавший конституционный проект, едет вечером 23 февраля в дом кн. Черкасского для того, чтобы подвинуть конституционалистов на соглашение с партией, замыслившей восстановление самодержавия; наконец, он же, стремившийся подвинуть конституционалистов на восстановление самодержавия, утром 25 февраля читает перед Анной конституционную челобитную. Какое множество противоречий! Но они разрешаются сомнением Татищева в способности Анны, — «персоны женской», которой «знания законов недостает», — править государством, как следует самодержавному государю. Это его сомнение и объясняет нам то, что, *составляя конституционный проект* [1]*), он в то же самое время считал нужным упорно оспаривать противников самодержавия.*

Его споры с ними важны для характеристики «умоначертания» тогдашнего образованного шляхетства вообще, а в частности — образа мыслей самого просвещенного члена «ученой дружины».

Ему возражали, что небезопасно «единому человеку великую власть над всем народом дать, ибо, как бы мудр, справедлив, кроток и прилежен ни был, безгрешен и во всем достаточен быть не может; коль же паче, когда страстям своим даст юлю, то нужно наглым, неправым насилиям и глумлениям неповинных происходить».

Против этого возражения Татищев выдвигал уже известное нам соображение о происхождении власти монарха от власти родительской. Всякий отец семейства заинтересован в том, чтобы заботиться о своих домашних. «Если же такой несмысленный случится, что ни сам пользы не разумеет, ни совета мудрых не понимает и вред производит, то, — рассуждал Татищев, — можно принять за божеское наказание».

Ему указывали, кроме того, на временщиков, которые ненавидят и гонят ладей, оказывающих истинные услуга государству, «а себе ненасытно имения собирают».

На это он отвечал, что временщики являются более в республиках, и ссылался на историю Греции и Рима: там «усилився некоторые вельможи междоусобием великие разорения принесли; и сего нам наипаче опасаться должно, чего в монархии едва в пример сыскать можем ли»

[1]) Известный под именем проекта кн. Черкасского.

Татищев утверждал, что надо различать временщиков «благоразумных и верных» от «неистовых». Благоразумные и верные временщики, — Татищев называл таким, например, В. В. Голицына, — «великую честь л благодарение вечное заслужили».

Жаловались противники самодержавия и на Тайную Канцелярию, которая была нам, по их словам, «в стыд и поношение пред благорассудными народами» и к тому же разоряла государство, так как «за едино неосторожно сказанное слово пытают, казнят и детей невинных имения лишают». Но Татищева не смущала и Тайная Канцелярия. Он доказывал, что «оная, если токмо человеку благочестивому поручится, нимало не вредна; а злостные и нечестивые, не долго тем наслаждаяся, сами исчезают» [1]). Как сказано выше, написанный Татищевым конституционный проект не упразднял Тайной Канцелярии, а преобразовывал ее, назначая в нее двух депутатов от Сената.

Все эти доводы Татищева свидетельствуют о значительной ограниченности его политического «умоначертания». Те, против которых он выдвигал эти доводы, несомненно имели гораздо более широкие политические взгляды и обладали более развитым чувством гражданского достоинства. А между тем Татищев, бывший одним из самых образованных русских людей своего времени, наверно превосходил образованием многих, если не всех, своих противников. И, как мы знаем, он вовсе не склонен был холопствовать перед верховною властью. В чем же тут дело?

Вспомним, что Ф. Прокопович и Кантемир, отстаивавшие самодержавие с еще большею последовательностью, нежели Татищев, тоже были людьми чрезвычайно образованными, образованными на тогдашнюю русскую мерку. Положим, о Прокоповиче нельзя с уверенностью оказать, что его оппозиция «затейкам» верховников и конституционалистов не вызывалась, — по крайней мере, отчасти, — какими-нибудь личными интересами. Вдобавок он принадлежал к духовному сословию, находившемуся в антагонизме со служилым классом. Но у нас нет никакого основания для того, чтобы заподозрить искренность совсем еще молодого тогда А. Кантемира. Дело тут не в искренности и не в объеме знаний, а во взгляде на самодержавие, как на самый надежный залог дальнейшего просвещения России. «Ученая дружина», восторженно превозносившая просветительную деятельность Петра, была горячей сторонницей просвещенного деспотизма.

[1]) *Корсаков,* назв. соч., стр. 154—155.

Таким образом, получилось нечто парадоксальное; диалектика русского просветительного движения приводила к тому, что от мысли о политической свободе отмахивались как раз те, которые, в своем качестве наиболее просвещенных людей, казалось, должны были бы горячее всех остальных дорожить ею. Иначе сказать: просвещение становилось у нас источником своеобразного политического обскурантизма.

Нечто подобное этому парадоксальному явлению мы видим и на Западе, где просветители тоже питали веру в просвещенный деспотизм, или, — что будет *в данном случае* более точным выражением, - *абсолютизм.* Но там явление это было гораздо менее долговечно. У нас же и в XIX веке в среде прогрессистов долго не исчезало то убеждение, что *правительство* должно и может идти впереди «общества». В этом заключается одна из относительных особенностей развития нашей общественной *мысли,* коренящихся в

относительных особенностях нашего исторического процесса.

ГЛАВА V

Общественная мысль в изящной литературе

I

Историки русской литературы не всегда были справедливы в своем отношении к первым нашим деятелям в области художественного творчества пореформенной эпохи. У нас до сих пор довольно значительно распространен тот взгляд, что первоначально наша изящная литература отличалась полным или почти полным отсутствием *содержания.* Так, например, еще совсем недавно один исследователь утверждал:

«Для новой зарождающейся светской литературы, без сомнения, прежде всего необходимо было освоиться с формой. Начало этому было положено Кантемиром. Его сатиры часто совершенно отрешены от жизни и современной действительности, и в этом их главный недостаток. Однако важно то, что благодаря ему приобретает права гражданства известная литературная форма. Раз она есть, при дальнейшем развитии литературы найдется для нее и живое содержание».

Это несправедливо и с точки зрения *теории* и с точки зрения *фактов.*

Вообще говоря, *форта* тесно связана с *содержанием.* Правда, бывают эпохи, когда она отделяется от него в более или менее сильной степени. Это — исключительные эпохи. В такие эпохи или форма отстает от содержания или содержание от формы. Но надо помнить, что содержание отстает от формы не тогда, когда, литература только еще начинает развиваться, а тогда, когда она уже склоняется к упадку — чаще всего вследствие упадка того общественного класса или слоя, вкусы и стремления которого в ней выражаются. Примеры: декадентство, футуризм и прочие им подобные литературные явления наших дней, вызванные духовным упадком известных слоев буржуазии. Литературный упадок всегда выражается, между прочим, в том, что формой

начинают дорожить гораздо более, нежели содержанием. Но содержание так тесно связано с формой, что пренебрежение к нему быстро влечет за собою сначала утрату красоты, а потом и полное уродство формы. Для примера опять укажу на декадентство и футуризм в литературе и еще, пожалуй, на кубизм в живописи. Но в те эпохи, когда еще только начинается развитие литературы (шли искусства), происходит явление, прямо противоположное тому, которое мы наблюдаем в эпохи упадка. Тогда не содержание отстает от формы, а наоборот — форма от содержания. И это как нельзя лучше видно на примере сатир Кантемира, будто бы совершенно лишенных содержания и оторванных от жизни. Мысли, в них содержащиеся, таковы, что некоторые из них до сих пор вполне сохранили свое значение (например, мысли о воспитании). Но форма, в которую облечены эти мысли, такова, что теперь уже нельзя читать Кантемира без довольно большого усилия. Да и> после Канте-

мира литературе нужно было долго и много поработать над собой для того, чтобы стать в самом деле изящной, т. е. чтобы найти подходящую форму для того *содержания,* которым она располагала и которое в каждое данное время определялось общественными отношениями России.

В период своего «примирения с действительностью» Белинский, как известно, недолюбливал сатиры. Но под конец своей жизни он относился к ней совсем иначе, и тогда он с удовольствием и, скажу, с гордостью отмечал, что наша литература, начавшись сатирой, была для нашего общества живым источником даже практических нравственных идей, и что в лице Кантемира она объявила нещадную войну невежеству, предрассудкам, сутяжничеству, ябеде, крючкотворству, лихоимству и казнокрадству, которые она застала в старом обществе не как пороки, но как правило жизни, как моральное убеждение. Этот отзыв Белинского о сатире Кантемира нимало не противоречит действительности. Но спрашивается, могла ли бы эта сатира явиться источником нравственных идей для кого бы то ни было, могла ли бы она вести войну с общественными пороками, если бы она была лишена содержания и оторвана от жизни?

Та мысль, что выработка формы явилась едва ли не исключительным делом нашей литературы в течение XVIII и отчасти даже XIX столетия, была твердо и ясно высказана у нас Н. Г. Чернышевским. Но у него она еще не имела того общего значения, какое придал ей цитированный мною выше исследователь. Во-первых, Чернышевский делал исключение именно для того «сатирического направление, которое,

по его словам, «всегда составляло самую живую или, лучше сказать, единственную живую сторону нашей литературы». Во-вторых, все, что было за пределами сатиры, грешило, как говорил он, отсутствием содержания не только в XVIII веке, но и в XIX, — *вплоть до появления* Гоголя. Чернышевский утверждал, что многие его современники уже не удовлетворялись содержанием *Пушкинской* поэзии. «Но у Пушкина, — прибавлял он, — было в сто раз больше содержания, нежели у его сподвижников, взятых вместе». В поэзии этих последних почти совсем не было содержания: «форма была у них почти все, под формою не найдете у них почти ничего» [1]).

С этим едва ли согласятся современные нам исследователи. Да и невозможно согласиться с этим. Невозможно потому, что нас теперь уже не удовлетворяет точка зрения просветителей: ход общественного к литературного развития представляется нам уже в другом свете.

Чернышевский находил, что *сатирическое* направление изящной литературы правильнее было бы назвать *критическим.* А критическое направление он определял как направление, которое, «при подробном изучении и воспроизведении явлений жизни, (проникнуто сознанием о соответствии или несоответствии изученных явлений с нормами разума и благородного чувства» [2]).

Он был убежден, что сознание такого соответствия или несоответствия было, до выступления Гоголя, слишком мало развито у деятелей нашей изящной литературы. *Поэтому* он и

говорил, что вплоть до эпохи Гоголя литература эта была почти совсем лишена содержания и что Гоголь впервые пробудил в нас сознание о нас самих.

Как и все просветители, он слишком склонен был *принимать за абсолютную* ту «норму разума и благородного чувства», которой держался он со своими единомышленниками. Он забывал, что норма эта изменялась вместе с изменением обстоятельств времени и места. Так как его собственные разум и благородное чувство во многих отношениях очень сильно отличались от разума и благородного чувства литературных деятелей прежних эпох, то он и полагал, что для этих деятелей форма была почти все, а за формой у них не было почти ничего.

Это — точка зрения *рационализма.* В настоящее время мы предпочитаем смотреть на явления общественного развития не с *рационалистической,* а с *исторической* точки зрения.

[1]) *Н. Г. Чернышевский,* Полное собрание сочинений, т. II, стр. 13. Между сподвижниками Пушкина Чернышевский называет Языкова, Козлова и проч.

[2]) Там же, стр. 12; примечание первое.

Как не однажды сказано выше, первые литературные деятели после Петровской эпохи сами были, в известном смысле, усердными *просветителя/аи.* Отнюдь не случайным явилось то обстоятельство, что Татищев написал «Разговор о пользе наук и училищ», а первой сатирой Кантемира была сатира «На хулящих учение». В предисловии к ней Кантемир говорил: «Сатиру можно назвать таким сочинением, которое, забавным слогом осмеивая злонравие, старается исправлять нравы человеческие. Потому она в намерении своем со всяким другим нравоучительным сочинением сходна». Совершенно понятно, что при таком взгляде на задачу сатиры он не мог быть равнодушен к *содержанию* своих сатирических произведений. Но следует помнить при этом, что уже с первых шагов нашей литературы нравоучительный элемент сильно проникал у нас даже в такие отрасли ее, которые вовсе не -имели прямого отношения к морали.

II

В предисловии к той же сатире Кантемир признавался: «Я в сочинении своих (сатир. — *Г. П.*) наипаче Горацию и Боалу, французу, последовал, от которых много занял, к нашим обычаям присвоив». Тут в немногих словах дана правильная оценка деятельности нашего первого сатирика; он *«последовал»* и Горацию и «Боалу, французу», да и не только им: он брал свое добро всюду, где находил его. Но, «последуя» иностранным писателям, он *«присваивал»* заимствованное к русским *«обычаям».* Как именно делал он это, показывает история пятой его сатиры, рассказанная в примечаниях к ней.

«Стихотворец, пред отъездом в чужие края, — читаем мы там, — сочинил было сатиру, на подражание осьмой Боаловой, которая надписана на человека; но потом, усмотрев, что (его собственная сатира. — *Г. П.*) почти вся состояла из речей французского сатирика, выбрав из нее малую часть стихов, составил себе такую сатиру». Но пятая сатира — одна из самых длинных Кантемировых сатир. Заимствованная им у Буало «малая часть стихов» почти совсем пропадает в том, что

«составлено им самим». И это, *им самим составленное,* имеет очевидное и непосредственное отношение к русской общественной жизни. Кто читал пятую сатиру, тот, наверно, не забыл поистине превосходного описания всеобщего пьянства в праздничный день:

...еще не обедал
Было народ, и солнце полкруга небесна
Не пробегло, а почти уж улица тесна

212

Была от лежащих тел. При взгляде я первом
Чаял, что мор у вас был, да не пахнет стервом,
И вижу, что прочие тех не отбегают
Тел люди, и с них самых ины подымают
Руки, ины головы тяжки и румяны;
И слабость ног лишь не даст встать; словом, все пьяны...

Я с удовольствием продолжил бы эту выписку, если бы она не была длинна и без того. В ней поражает не оторванность от жизни, а, напротив, реализм воспроизведения одного из самых непривлекательных народных «обычаев». Точно так же прямо из жизни выхвачен образ купца, очень заботливо соблюдающего все церковные обряды и в то же время бессовестно обманывающего своих покупатели. На упрек в обмане богомольный купец (он торговал водкой) отвечает:

Кроме того, что товар дорог мне приходит
В лавку; сколько, знаешь ли, в подарках исходит
Судье, дьяку и писцу, кои пишут, правят
И крепят указы мне? И сколько заставят
В башмаках одних избить, пока те достану?
Сколько ж даром испою? Сеньке и Ивану
Ходокам, и их слугам, что и спят с стаканом?

Все эти взяточники и все эти полицейские служители, которые даже «спят с стаканом», опять заимствованы были не из «Боаловой» сатиры, а прямехонько из русской жизни. Но, может быть, всего удачнее в пятой сатире Кантемира описание судьбы временщика. Мне очень хочется напомнить читателю это превосходное описание:

Болваном Макар вчерась казался народу,
Годен лишь дрова рубить или таскать воду;
Никто ощупать не мог в нем ума хоть кроху,
Углем черным всяк пятнал совесть его плоху.
Улыбнулося тому ж счастие Макару,
И сегодня временщик: уж он всем под пару
Честным, знатным, искусным людям становится,
Всяк уму наперерыв чудну в нем дивится,
Сколько пользы от него царство ждать имеет!

Тогдашние русские люди, видавшие немало таких временщиков, должны были признать, что портрет совершенно сходен со своим оригиналам...

Не могли они не согласиться и с тем, что дальнейшая судьба временщика тоже изображена Кантемиром с полной точностью:

213

...Макар скоро поскользнулся
На льду скользком; день его светлый столь минулся
Спешно, сколь спешно настал; в прежну вдругорь
сходит Глупость свою, и с стыдом в печали проводит

Достальную бедно жизнь между соболями.
Кои на место его спешат, ждут и сами
Часто тот же себе рок; однако ж пихает
Друг друга, и на-прерыв туда поспешает.

Да, именно так и бывало: победители спешили насладиться своей победой и роскошествовали в Петербурге, а побежденные отправлялись в Сибирь, где и проводили остаток своей жизни «между соболями». Тот факт, что Кантемир заклеймил своей насмешкой эту беспощадную взаимную борьбу аппетитов и честолюбий, еще раз свидетельствует о том, как близка была его сатира к нашей тогдашней общественной жизни.

Если мы сравним его пятую сатиру с восьмой сатирой Буало, в подражание которой она была написана, то, не возвращаясь к сказанному выше о незначительности размеров прямого заимствования, сделанного русским сатириком у французского, мы придем к такому выводу:

Произведение Буало несравненно выше произведения Кантемира в смысле *формы*. Но при этом оно беднее его конкретным, прямо из жизни взятым *содержанием*.

Этот вывод может быт полезен для проверки некоторых, к сожалению до сих пор весьма распространенных у нас мнений о русской литературе XVIII века.

Недостаток теста не позволяет мне подробно рассматривать здесь содержание других сатир Кантемира. Скажу только, что если пятая сатира его едва ли не самая содержательная, то все-таки ни в одной из остальных автор не отрывается от жизни.

Возьмем хотя бы шестую сатиру, написанную на отвлеченную тему «о истинном блаженстве».

Кантемир доказывает в ней преимущества умеренности:

Тот в сей жизни лишь блажен, кто малым доволен,
В тишине знает прожить, от суетных волен
Мыслей, что мучат других, и топчет надежну
Стезю добродетели к концу неизбежну.

На первый взгляд могло бы, пожалуй, показаться, что это рассуждение о преимуществах умеренности осуждено вращаться в области абстракции. Но это не так. К убеждению в выгодах умеренности Кантемир пришел не посредством отвлеченных соображений, а путем близкого

знакомства с тон же общественной жизнью, которая так хорошо изображена им в пятой сатире. Мораль сатиры «О истинном блаженстве» представляет собою логический вывод из наблюдений именно над этой жизнью.

Исследователи, занимавшиеся моралью Кантемира, не всегда принимали это в соображение и потому сильно ошибались в своем суждении о ней. Я уже говорил об этом в другой связи. Но на этом стоит остановиться.

Моральная философия Кантемира, по мнению Галахова, стыдлива и несмела, как его характер: «Она проповедует добро, боясь, поражает порок, краснея. Это не мораль во всей ее неприкосновенности, это полумораль, близкая к равнодушию, к индифферентизму. Неудивительно, что Кантемир так увлекался Горацием, который в нравственности тоже «брал не с высока», стремясь лишь к покою, к приятной умеренности и к беззаботности о будущем дне».

У Галахова вышло, что Кантемир, подобно Горацию (см.

стр. 93 и след.), не преследует общественных недостатков, а «только смеется» над ними.

Но *каким* же способом сатирик преследует общественные недостатки? Он именно *«только»* смеется над ними. У него вообще нет другого оружия, кроме оружия насмешки. И вопрос вовсе не в том, *преследует ли* он общественные недостатки или же *«только» смеется* над ними, а в том, *как* он смеется. Сообразно настроению сатирика, его насмешка принимает самые различные тоны. И если мы прислушаемся к тону сатир Кантемира, то мы найдем, что он вовсе не так «ровен», как это казалось Галахову. Недаром обижались на Кантемира осмеянные им современники. Да что современники! Даже объективному историку С. М. Соловьеву трудно было помириться с тем тоном, каким Кантемир отзывался о духовенстве. Почтенный ученый ворчал: «Говоря о зависти, Кантемир непременно выставит зависть попов соборных... Кантемир не пропустит укорить попа и за то, что он «молитвы ворчит, спеша сумасбродно, сам не зная, что поет». Посмеется и над аппетитом поповской семьи» и т. д. [1])

Согласитесь, что подобные насмешки, что такой «ровный тон» сатирика мог навлечь на него серьезные преследования. Но другим, действительно «ровным», тоном Кантемир и не способен был писать. Он сам говорил о себе в сатире четвертой («К музе своей»):

[1]) *С. М. Соловьев,* История России, кн. 4, стр. 1496—1497.

...Я знаю, что когда хвалы принимаюсь
Писать, когда, Муза, твой нрав сломить стараюсь,
Сколько ногти ни грызу и тру лоб вспотелый,
С трудом стишка два сплету, да и те не спелы,
Жестки, досадны ушам, и на те походят,
Что по целой азбуке святых житье водят.
Дух твой ленив, и в зубах вязнет твое слово
Не забавно, не красно, не сильно, не ново;
А как в нравах вредно что усмотрю, умняе
Сама ставши, под пером стих течет скоряе.
Чувствую сам, что тогда в своей воде
плавлю
И что чтецов я своих зевать не заставлю.
Проворен, весел спешу, как вождь на
победу
Или как поп с похорон к жирному обеду.

Белинский, невысоко ставивший Кантемира как поэта, говорил, что в своих сатирах он выступал публицистом, писавшим о нравах «энергически и остроумно». Это суждение гораздо более справедливо, нежели отзыв Галахова. Но кто энергично пишет об общественных недостатках, тот, очевидно, далек от индифферентизма.

Уподобление тона сатир Кантемира тону сатир Горация неосновательно, потому что у Кантемира преобладает тон *негодования* или, по крайней мере, сильного *неудовольствия,* а у Горация тон *веселой шутки.* Да, — как отмечено мною раньше, — Кантемир и не мог писать тоном Горация, так как слишком не похоже было положение России времен «ученой дружины» на положение Рима эпохи Августа. Римляне названной эпохи, в самом деле, стали индифферентистами, изверившись в идеал старой республиканской добродетели, а

«ученая дружина» крепко держалась за свой идеал, правда, совсем не республиканский. Кантемир сходился с Горацием, собственно, только в склонности к «златой умеренности». Но склонность эта даже и у Горация не вполне достойна того безусловного порицания, с каким относился к ней Галахов, — да и не он один, — у Кантемира же она является неоспоримым признаком *значительной возвышенности нравственных понятий.* Чтобы убедиться в этом, нужно только принять в соображение исторические условия.

III

Равнодушие к общему благу, распространившееся в Риме вследствие постепенного упадка республиканского строя, сопровождалось жаждой наживы и стремлением к грубым материальным наслаждениям: об этом

свидетельствует, между прочим, сам Гораций, который, в своем первом послании к Меценату, жалуется, что все в один голос кричат:

Cives, o cives! quaerenda pecunia
primum est; Virtus post nummos.

При таком настроении римского общества проповедь «златой умеренности» возникла, *как реакция против неумеренной жадности к деньгам.* Разумеется, она оставалась бессильной, так как ровно ничего не изменяла в тех общественных отношениях, которыми вызвано было пренебрежение к старозаветной римской добродетели. Да она и не задавалась целью какого бы то ни было общественного переворота. Сознавая свое бессилие, она сама, — и вполне естественно, — проникалась скептицизмом. Восхищаться ею невозможно; но все-таки не следует забывать, что *всякий, кто способен был вести такую проповедь, тем самым доказывал свою неспособность дойти до того нравственного падения, до какого дошло огромное большинство тогдашних римских граждан.*

Мы уже знаем, что Кантемир перевел «Послания» Горация. Интересующее нас место первого послания к Меценату гласит в его переводе так:

...Граждане, граждане!
Деньги вы прежде всего доставать трудитесь,
Добродетели потом...

Кантемиру нравилось, что «Гораций сам всегда говорит и показать тщится неосновательность сего правила: Virtus post nummos» [1]). И наш русский сатирик «сам всегда говорил и показать тщился» то же самое своим современникам. Он призывал к *умеренности* в таком обществе, в котором жажда наживы и грубых материальных наслаждений тоже становилась, — хотя и не по тем же самым причинам, по каким это произошло в Риме, — *беспредельной.*

Характеризуя состояние нравственности нашего правящего класса в царствование Анны, кн. М. Щербатов, в своей известной книге о повреждении нравов в России, говорит, что тогда господствовали «презрение божественных и человеческих

должностей [2]), зависть, честолюбие, сребролюбие, пышность, уклонность, раболепность и лесть, чем каждый мнил свое состояние сделать и удовольствовать свои хотении».

Хотя риторический тон этой характеристики может подать повод к сомнению в ее правильности, но нельзя не признать, что она очень

[1]) *Кантемир,* Сочинения, т. I, стр. 400, примечание к стиху 76.
[2]) Тогда «должностями» назывались у нас обязанности.

близка к истине. Высший круг правящего класса, — тот его круг, который, «толпясь у трона», распоряжался судьбами всей страны, — в самом деле обнаруживал полное презрение к «божественным и человеческим должностям» [1]). И вот в такой-то среде, где господствовали «зависть, честолюбие, сребролюбие, пышность, уклонность, раболепность и лесть», явился человек, проповедовавший совсем другой идеал, утверждавший, что счастье совсем не там, где его ищет нравственно и умственно неразвитое большинство:

Малый свой дом, на своем построенный поле,
Кое дает нужное умеренной воле,
Не скудный, не лишний корм, и средню забаву,
Где б с другом с другим я мог, по моему нраву
Выбранным, в лишны часы прогнать скуки бремя,
Где б, от шуму отдален, прочее все время
Провожать меж мертвыми греки и латины,
Исследуя всех вещей действа и причины,
Учася знать образцом других, что полезно,
Что вредно в нравах, что в них гнусно иль любезно:
Желания все мои крайни составляет.

В этом идеале нет ничего радикального. Это, действительно, идеал «златой умеренности». Но умеренность Кантемира не имеет ничего общего с умеренностью и аккуратностью Молчалина. Он советует не унижаться, а *беречь свое человеческое достоинство,* не угождать тем, от которых можно чем-нибудь попользоваться, а *учиться, «исследуя всех* вещей *действа и причины».* В тогдашнем обществе человек, проповедовавший *такую* умеренность, являлся настоящим «учителем жизни». Правда, что общественные отношения России, которыми обусловливалась в последнем счете и крайняя развращенность высшего круга правящего класса, нисколько не изменялись вследствие проповеди Кантемира. Влияние этой проповеди оставалось очень слабым уже по одному тому, что невелик был круг его читателей. Его сатиры долго оставались рукописными. Он приготовил их к печати только в 1743 году. Но и тогда издание их не состоялось, так что впервые они появились девятнадцать лет спустя, в 1762 году, *после того, как они вышли за границей во французском и немецком переводах.* Однако, хотя непосредственное влияние сатир Кантемира было очень слабо, оно шло *не против* исторического движения, а в его *направлении.* Число людей, способных увлекаться нау-

[1]) Так же мало помнил он о них и при предшественниках Анны, — Петре II н Екатерине I, — но от этого было не легче.

кой и пренебрегать рада нее жизненными благами низшего рода, хотя и медленно, но все-таки увеличивалось на Руси, а по

мере того, как увеличивалось это число, увеличивалось и влияние того идеала, к которому стремился Кантемир. Можно сказать, не впадая в парадокс, что если со временем даже весьма умеренный Галахов стал находить идеал Кантемира недостаточно строгим, — т. е. если нравственные понятая европеизованных русских людей значительно изменились к лучшему, — то это произошло не без влияния Кантемира.

IV

Habent sua fata scriptores! Кантемиру не повезло. Его обвиняли в умеренности исследователи, взгляды которых были как нельзя более далеки от радикализма. Это само по себе несколько странно. Но, пожалуй, еще более странно, что обвинять его вошло в привычку и что теперь его обвиняют, даже не давая себе труда заново пересмотреть его «дело». Само собою понятно, что при этом совершаются непростительные промахи.

И. Я. Порфирьев утверждает, например, что, для избежания борьбы, гонений или неприятностей, Кантемир «советует и в выборе между правдой и неправдой держаться также середины и даже позволяет быть злым, если без вреда себе нельзя быть добрым».

В подтверждение этого приводится, во-первых, короткий отрывок из второй сатиры Кантемира, дополняемый еще более коротким отрывком из седьмой его сатиры.

Остановимся сначала на этом последнем отрывке. Вот он:

Не льзя ль добрым быть? будь зол, своим не к изъяну;
Изряднее всякого убегать порока
Не льзя ль? укрой лишнего от младенча ока.

По привычке повторяя ставшее ходячим обвинение против Кантемира, И. Я. Порфирьев не заметил, что в строках, им приведенных, говорится не *о том, каков должен быть идеал взрослых, а о том, как должны взрослые воспитывать своих* детей. Кантемир говорит им: если вы сами порочны, то постарайтесь, по крайней мере, скрывать свои пороки от глаз ваших детей, чтоб они не начали подражать дурному примеру. И он подробно разъясняет свою мысль:

Гостя когда ждешь к себе, один очищает
Слуга твой двор и крыльцо, другой подметает
И убирает весь дом, третий трет посуду.

Ты сам над всем настоишь, обежишь повсюду,
Кричишь, беспокоишься, боясь, чтоб не встретил
Глаз гостев малейший сор, чтоб он не приметил
Малейшу нечистоту; а ты же не тщишься
Поберечь младенцев глаз; ему не стыдишься
Открыть твою срамоту. Гостя ближе дети,
Большу бережь ты для них должен бы имети.

Итак, старик советует: закрой свою срамоту от невинного детского взора [1]), а историк литературы уверяет, что покладистый сатирик отводит «срамоте» место в своем идеале. Где же тут справедливость? Но это не все.

Наши строги« исследователи почему-то упускали в данном случае *из* виду, что в лице Кантемира они имеют дело с одним из птенцов Петровых, которые имели полное основание, — я

чуть было не сказал: «должность», — опасаться вредного влияния старой Московской *Руси* на новую, пореформенную Русь. В той же сатире, говорящей, повторяю, не об идеале, а о воспитании, Кантемир с любовью указывает на Петра Первого, который:

...Сам странствовал, чтобы подать собою
Пример в чужих брать краях то, что над Москвою
Сыскать не льзя: сличные человеку нравы
И искусства...

Наконец, — last not least, — наш горячий поклонник Петра был сыном XVIII века, вполне правильно приписывавшего огромное значение *воспитанию* вообще, а в процессе воспитания — *примеру.* В той же сатире Кантемира мы читаем:

Большу часть всего того, что в нас приписуем
Природе, если хотим исследовать зрело,
Найдем воспитания одного быть дело.

Это — мысль Локка, у которого Кантемир почти целиком заимствовал свой взгляд на воспитание [2]). Как много значил в глаза« нашего автора пример, видно из следующих его строк:

[1]) В примечании к стиху, начинающемуся словами: «Нельзя ли добрым быть», говорится: «Буде тебе трудно унять свои страсти и воздержаться от злонравий, по крайней мере укрывай свои злые поступки от глаз детей твоих; будь зол, но не вреду твоих детей». Яснее ясного, что здесь речь идет о нравственном вреде дурного примера.

[2]) См. «Some thoughts concerning education», § 32, в четвертом томе сочинений *Локка,* Лондон 1767, стр. 15

Пример наставления всякаго сильняе:
Он и скотов следовать родителям учит.
Орлий птенец быстр летит, щенок гончий мучит
Куриц во дворе, лоб со лбом козлята сшибают.
Утята лишь из яйца выдут, плавать знают.
Не смысл учит, не совет: того не имеют,
Сего не льзя им подать; подражать умеют...

Подражать порочным родителям значит упражняться в порочности. Вот почему, и только поэтому, Кантемир желал бы, чтоб испорченные родители, по крайней мере, скрывали свою «срамоту» от детей. Что можно возразить против такого желания?

И. Я. Порфирьев осуждает еще то мнение, высказанное Кантемиром во второй своей сатире, что мы не всегда обязаны высказывать правду:

...Лучшую дорогу
Избрал, кто правду всегда говорить принялся,
Но и кто правду молчит, виновен не стался,
Буде ложью утаить правду не посмеет:
Счастлив, кто средины той держаться умеет...

И еще раньше Порфирьева мнение это осуждалось [1]), как недостойное человека, способного доработаться до строгих правил нравственности. Но и в этом случае упрек, выдвигавшийся против Кантемира, был лишен основания. Можно строго критиковать, как это и делал Гегель, Кантону *теорию нравственности.* Однако никто не скажет, что Кант не был достаточно строг в своих *практических нравственных требованиях.* Но и строгий Кант совершенно согласился бы с Кантемиром. Известны его слова: «Если все, что говоришь, должно быть истинным, то тем не менее человек не обязан высказывать гласно всякую истину» [2]).

В данном случае имеют значение и обстоятельства, подавшие Канту повод написать эти слова. Король Фридрих-Вильгельм II в именном указе выразил ему свое неудовольствие за его взгляд на христианскую веру, высказанный в книге «Религия в пределах чистого разума». Кант не мог, конечно, отказаться от этого взгляда. Но он счел себя нравственно обязанным впредь не высказывать его. Он ответил королю, что будет воздерживаться «от всякого публичного изложения всего, касающегося религии». И он свято выполнял это обещание вплоть до восшествия на престол нового, свободнее мыслившего короля.

[1]) Особенно Галаховым.

[2]) См. *Куно Фишер,* История новой философии, т. IV, Им. Кант. СПБ. 1901, стр. 97.

Я полагаю, что на месте Канта французский просветитель повел бы себя иначе. Он счел бы себя в праве распространять, при случае, свой взгляд на религию, *несмотря на то, что король резко осудил его.* Можно ли было заключить отсюда, что нравственные правила французских просветителей отличались большею или, — если угодно, — меньшею строгостью, нежели нравственные правила кеиигсбергского философа? Не думаю. Все, что мы могли бы сказать здесь, сводится к тому, что в *политическом смысле* Кант был настроен не так, как французские просветители, и что ему было чуждо оппозиционное настроение этих последних.

Мольеров Альсэст требовал, чтобы люди всегда и везде высказывали все, что думают:

Je veux que l'on soit homme et qu'en toute rencontre
Le fond de notre coeur dans nos discours se montre,
Que ce soit lui qui parle, et que nos sentiments
Ne se masquent jamais sous de vains compliments [1]).

На это его друг Филэнт возражает:

II est bien des endroits où la pleine franchise
Deviendrait ridicule et serait peu permise;
Et parfois, n'en déplaise à votre austère honneur,
II est bon de cacher ce qu'on a dans le coeur [2]).

Кто прав? Оба правы. Справедливо то, что *обязательна* правдивость. Но справедливо и то, что полная откровенность нередко становится *непозволительной* и даже смешной. Чем разрешается это противоречие? Не рассудком, а нравственным чутьем, которое учит, когда надо высказать правду и когда можно и даже следует хранить ее про себя. Тут тоже все зависит от обстоятельств. И не только от обстоятельств личной жизни собеседников, а также и от *условий эпохи.* В XIX веке у нас

[1]) Надо быть мужем и всегда выражать словами то, что лежит на сердце. Пусть говорит именно сердце, и пусть наше мнение никогда не прикрывается пустыми комплиментами.

[2]) Очень часто полная откровенность была бы смешна и непозволительна; и как бы ни возмущалась этим ваша суровая правдивость, иногда хорошо таить то, что лежит у нас на сердце. — Интересно, что сам Альсэст не сразу решился высказать свое отрицательное мнение о сонете Оронта. А еще более замечательно, что он соглашался назвать этот сонет хорошим, если король *прикажет ему это.* Стало быть, при таком исключительном условии он готов был идти дальше Канта, согласившегося *только молчать.*

появились свои Альсэсты: вспомните Базарова с его грубоватой, но

почти беспредельной правдивостью. Но когда появились Базаровы, ими наверно стали возмущаться многие из тех, которые прежде сами упрекали Кантемира в нравственном эклектизме, за то его мнение, что не всегда следует говорить все, что думаешь.

Как бы там ни было, несомненно, что в эпоху Кантемира правдивость Базаровых была просто-напросто немыслима.

Ход исторического развития обеспечит Альсэсту возможность удалиться от всяких сношений со своими развращенными современниками [1]). Точно так же Базаровы могли сказать себе, как говаривал раньше их Чацкий: «прислуживаться тошно» — и посвятить свои силы естествознанию. Европеизованные дворяне времен Кантемира не пользовались даже и такой ограниченной свободой. Как и все их сословие, *они обязаны были служить. А* кто служил, тому необходимо было, если не прислуживаться, — этого можно было избежать, следуя дорогой Кантемиру «златой умеренности», — то практиковать еще с гораздо бóльшим усердием, чем Кант, искусство «держания языка за зубами...»

V

Белинский сказал, что, каков бы ни был талант Сумарокова, его нападки на «крапивное семя» всегда будут заслуживать почетного упоминовения от историка русской литературы.

Против этого можно возразить одно: Сумароков (1718 — 1777 г.г.) заслуживает почетного упоминовения не *только* за свои нападки на «крапивное семя».

Историк русской литературы с одобрением отзовется о тех требованиях, которые он предъявлял писателю вообще и стихотворцу в частности:

Стихи писать не так легко, как многим мнится;
Незнающий одной и рифмой утомится.
Не должно, чтоб она в плен нашу мысль брала;
Но чтобы нашею невольницей была...

В другом месте той же своей «епистолы» («О стихотворстве») он повторяет:

Нечаянно стихи из разума не льются,
И мысли ясные невежам не даются.

[1]) См. монолог его в первом явлении пятого действия.

А в конце ее мы встречаем поистине золотые слова:

Все хвально: драма ли, эклога или ода: Слагай, к
чему влечет тебя твоя природа; Лишь
просвещение, писатель, дай уму!..

Н не следует думать, будто в его глазах *просвещение* являлось *достаточным* условием успешного поэтического творчества. При отсутствии страсти «стихотворство» останется холодным, — утверждал он, — как бы ни углублялся в него писатель «мыслию». Известно, что тем, которые хотели писать элегии, он советовал предварительно влюбиться [1]). Конечно, не все хорошие элегии обязаны своим происхождением этому средству, которого нельзя не признать слишком героическим. Однако совет хорош хоть тем, что показывает нам, какую важность приписывал Сумароков *чувству.*

Большой заслугой Сумарокова перед русской литературой является твердое и настойчиво высказывавшееся его убеждение в том, что —

Прекрасный наш язык способен ко всему.

В течение всей своей литературной деятельности он неизменно хранил это убеждение и, как умел, очень заботился о чистоте русского языка [2]).

Очень ошибаются те исследователи, которые, подобно Н. Буличу, находят, что сатиры Сумарокова были содержательнее сатир Кантемира. Они, наоборот, беднее их содержанием. Но несомненно, что сатирические произведения автора «Хора к превратному свету» заключают в себе немало интересного и помимо действительно ядовитых нападок на приказных. В качестве сатирика Сумароков ставил себе цель гораздо более широкую, нежели борьба с «крапивным семенем». Уже в первой своей сатире («Пиит и друг его») он говорит:

Где я ни буду жить, в Москве [3]), в лесу, иль поле, Богат
или убог, терпеть не буду боле,

[1]) Коль хочешь ты писать, так прежде ты влюбись...

[2]) Язык наш сладок, чист и пышен и богат;
Но скупо вносим мы в него хороший склад.
Так чтоб незнанием ево нам не бесславить,
Нам должно весь свой склад хоть несколько поправить.
Не нужно, чтобы всем над рифмами потеть,
А правильно писать потребно всем уметь (Ср. его
же «басенку» «Порча языка»).

[3]) В стихотворных своих сатирах Сумароков писал собственные имена с маленькой буквы.

Без обличения, презрительных вещей.
. . . . . .
. . . . . .
Доколе дряхлостью иль смертью не увяну,
Против пороков я писать не перестану.

Какие именно общественные и нравственные явления относил он к области порочных, это лучше всего показывает названный мною выше «Хор к превратному свету».

Синицу, прилетевшую из-за моря, спрашивают, каковы «обряды» в чужих странах. Она отвечает, что там все превратно: воеводы — правдивы, приказные не берут взяток, купцы не обманывают, пьяные по улицам не ходят, людей на улицах не режут, ораторы не мелют вздору, стихотворцы не кропают виршей и, что для нас, пожалуй, всего интереснее:

С крестьян там кожи не сдирают, Деревень
на карты там не ставят:
За морем людьми не торгуют.

Эти три последние черты «превратных» заморских «обрядов» особенно интересны ввиду того, что Сумароков был, как известно, убежденным сторонником крепостного права. Некоторые исследователи не без удивления спрашивали себя: как же согласить это его убеждение крепостника с его злыми нападками на дурных помещиков? Но здесь, собственно говоря, нечего соглашать. Честные идеологи всякого данного общественного порядка, основанного на подчинении одного класса (или сословия) другому, всегда восставали против *злоупотребления* теми исключительными правами, которыми пользовался господствовавший класс. И чем искреннее было и« убеждение в том, что существование таких орав необходимо для

общей пользы, тем энергичнее восставали они против злоупотребления ими. Лицемерное желание скрыть от нескромных глаз подобные злоупотребления возникает только тогда, когда существующий общественный порядок близится к концу и когда его идеологи сами начинают сомневаться в его правомерности. Сумароков был весьма далек от подобных сомнений. Поэтому он и мог, нимало не противореча себе, отстаивать крепостное право и одновременно с эти» жестоко порицать бесчеловечных помещиков. Он верил в солидарность интересов помещика с интересами его крепостных. По его мнению, «блаженство» деревни состояло не в одном только изобилии помещика, но в общем изобилии всего ее населения. И он говорил, что в качестве «головы» своих подданных помещик обязан сохранять и мизинец, «ибо голова тела

и мизинцу сострадает» [1]). Жадный помещик не *домостроителе* а *долю-разоритель.* Между тем государству необходимо домостроительство, приумножающее изобилие. Доморазоритель вредит не только своим крестьянам, с которых он сдирает кожу, но и всему государству. Так рассуждал Сумароков, и насколько было почтенно в его мнении имя домостроителя, настолько презирал он «доморазорителей». Злой и жадный помещик поступает «противу права морального и политического». Он — «изверг природы» и, — устами Сумарокова говорил здесь человек XVIII столетия, — невежа и во естественной истории и во всех науках, тварь безграмотная»... [2]).

В лице Сумарокова, как и в лице Кантемира, мы имеем дело *с* идеологом европеизованной части русского «шляхетства». Этот родовитый воспитанник сухопутного Шляхетного корпуса был, по-своему, очень требователен в отношении к дворянству. Но ему и в голову никогда не приходило, что дворянин может покинуть дворянскую точку зрения. Его седьмая сатира заключает в себе целый свод житейских правил, обязательных, по его убеждению, для честного человека:

Услужен буди всем, держися данных слов,
Будь медлен ко вражде, ко дружбе будь готов!
Когда кто каится, прощай его без мести,
Не соплетай кому ласкательства и лести,
Не ползай — ни перед кем, не буди и спесив;
Не будь нападчиком, не буди и труслив,
Не будь нескромен ты, не буди лицемерен,
Будь сын отечества и государю верен!

Нечего и говорить: «шляхетные» современники Сумарокова далеко ушли бы вперед в смысле нравственного развития, если бы стали последовательно держаться этих правил! Но, чтобы подвинуться вперед в этом смысле, им, — думал сатирик, — не было надобности восставать против тогдашнего порядка вещей и проникать своим умам за пределы «шляхетного» кругозора. Ум Сумарокова никогда и не проникал за эти пределы [3]).

[1]) В статье «О домостроительстве».

[2]) О Сумарокове рассказывали, что он не мог слышать равнодушно, когда «в его присутствии называли людей: *хамово колено.* С сильною досадою вскакивал он со стула, хватал шляпу, убегал и никогда уже не возвращался в тот ном» *(Н. Булич,* Сумароков и современная ему критика, стр. 92).

[3]) «Я, как сын и член отечества, не того по рассудку моему желаю, чтобы древние законы испровержены, а новые установлены были, — говорит он в «Слове Екатерине II», — но чтобы они при случае исправляемы были. На что нет закона,

Правда, иногда в его сатире слышится как будто революционная нота. Так, например, рассуждая «о благородстве», он опрашивает:

На то ль дворяня мы, чтоб люди работали,
А мы бы их труды по знатности глотали?
Какое барина различье с мужиком?
И тот, и тот земли одушевленный ком.

На этот вопрос он отвечает в духе, по-видимому, исполненном стремления к общественному равенству.

Достоин я, коль я сыскал почтенье сам:
А естьли ни к какой я должности не годен:
Мой предок дворянин, а я не благороден.

Но это не должно вводить нас в заблуждение. *Язык Сумарокова идет здесь дальше, нежели его мысль.*

В таком же будто бы радикальном духе высказывался еще Кантемир. В его сатире «На зависть и гордость дворян злонравных» Филарет говорит Евгению:

Адам дворян не родил, но одно с двух чадо
Его сад копал, другой пас блеюще стадо.
Ноев ковчег с собой спас всех себе равных
Простых земледетелей, нравами лишь славных;
От них мы все сплошь пошли, один поранее
Оставя дудку, соху; другой попозднее.

Из этого, казалось бы, следует то заключение, что надо уничтожить дворянские привилегии. Но тогдашние наши сатирики не расположены были делать из этого подобный вывод. Филарет спешит довести до сведения своего собеседника, что ему известно, «сколь важно» благородство и как «много в нем пользы». Сумароков почтительно именует дворян «перьвыми членами отечества». Вероятно, он не способен был и представить себе, как могло бы существовать *«отечество»,* если бы в нем «е было *«благородства».*

Общественно-политический идеал Сумарокова лучше всего выражен следующими его стихами:

Судьба монархине велела побеждать,
И сей империей премудро обладать;
А нам осталося, во дни ее державы,
Ко пользе общества, в трудах искати славы.

или не обстоятелен закон, или не ясен, на то бы закон сочинился, исправился и изъяснился». Типичное рассуждение «*либерального»,* как выражаются теперь в некоторых странах, *консерватора.*

При этом предполагается, что материальная возможность искания «нами» славы прочно обеспечена крепостным трудом крестьянина. Радикальные, по внешности, тирады, встречающиеся в сатирах Кантемира и Сумарокова, означают только то, что «перъвые» члены отечества, пользуясь исключительными правами, не должны успокаиваться на лаврах своих предков. Их «благородство» должно поддерживаться их собственными трудами и их собственной славой.

Кантемиров Филарет совершенно ясно высказывает эту мысль:

Но тщетно имя одно, ничего собою
Не значит в том, кто себе своею рукою
Не присвоит почесть ту, добыту трудами
Предков своих. Грамота, плеснью и червями
Изгрызена, знатных нас детьми есть свидетель,
Благородными явит одна добродетель.

Сумароков говорит то же самое:

Дворянско титло нам из крови в кровь лиется,
Но скажем: для чево дворянство нам дается.
Коль пользой общества мой дед на свете жил;
Себе он плату, мне задаток заслужил.

Достойны величайшего внимания те строки той же сатиры Сумарокова («О благородстве»), где он, обращаясь к дворянину, дает ему следующий благой совет:

А естьли у тебя безмозгла голова,
Пойди и землю рой или руби дрова;
От низких более людей не отличайся,
И предков титлами уже не величайся!..

Тут целая дворянская утопия: роют землю и рубят дрова люди «подлые» не только de jure, но и de facto; люди, лишенные известных прав не только в силу своего сословного происхождения, но также, — и это самое главное, — вследствие своей тупости. В то же время «славу» добывают себе «дворяня», награждаемые высоким общественным положением не только за заслуги своих предков (эти заслуги — только «задаток»), но еще и за свою личную даровитость. Иначе сказать, Сумароков хочет, чтобы «дворяня» были аристократами в этимологическом смысле этого слова, т. е. чтоб «благородное» сословие состояло из самых лучших людей своей страны. И то обстоятельство, что это кажется ему возможным, ясно показывает, как наивно и в то же время крепко держался он дворянской точки зрения.

228

У Сумарокова, как и у Кантемира, резкие нападки на дворян, не желающих добывать себе славу своими собственными трудами, является отчасти литературным выражением той борьбы между *породой* и *выслугой,* которая, начавшись еще в Московской Руси, не прекратилась, да, как мы видели, *и* не могла прекратиться и после Петровской реформы. Но после этой реформы она осложнилась новым элементом: *стремлением птенцов Петровых к западноевропейскому просвещению.*

Сторонники просвещения не могли помириться с ленивым обскурантизмом «фамильных людей», ставивших породу гораздо выше знания. Правда, не все «фамильные люди» отличались таким обскурантизмом. Между ними встречались личности, тоже сильно дорожившие просвещением. Но не против них и направлялись стрелы наших сатириков. Филарет оговаривается у Кантемира:

Знаю, что неправедно забыта бывает
Дедов служба, когда внук в нравах успевает, Но
бедно блудит наш ум, буде опираться Станем мы
на них одних [1]).

Его злые обличения направляются лишь против тех родовитых бездельников, которые избегают труда, не хотят учиться и интересуются только западноевропейскими модами, хорошо зная,

...что фалды должны тверды быть, не жидки,
В пол-аршина глубоки и ситой подшиты... и т. д.

Против таких же бездельников направлялась и сатира Сумарокова. Нападки на жалких людей этого калибра имели известное общественное значение. И было бы странно, если бы идеологи служилого класса не нападали на всякого рода «нетчиков». Но борьба с «нетчиками» не расширяла кругозора наших сатириков и не сообщала их мысли более широкого размаха. В своем отношении к

тогдашнему нашему общественному строю мысль их оставалась *консервативной,* несмотря на резкость облекавших ее выражений.

Резкость выражений сама была плодом западноевропейского влияния. Взгляд на «благородство», заключающийся в сатирах Кантемира и Сумарокова, напоминает взгляд на него Ювенала и, — чтобы указать на источник, более близкий в хронологическом смысле, — Буало.

В своей пятой сатире («Sur la véritable noblesse») французский сатирик писал, обращаясь к маркизу Данжо:

[1]) На одних дедов.

La noblesse, Dangeau, n'est pas une chimère,
Quand, sous l'étroite loi d'une vertu sévère,
Un homme issu d'un sang fécond en demi-dieux
Suit, comme toi, la trace où marchaient ses aïeux.
Mais je ne puis souffrir qu'un fat dont la mollesse
N'a rien pour s'appuyer qu'une vaine noblesse,
Se pare insolemment du mérite d'autrui [1]).

Буало выражается еще гораздо резче, нежели Кантемир и Сумароков. Он говорит, что если данное лицо ведет себя недостойным образом, то, хотя бы оно происходило от самого Геркулеса, он не постеснится назвать его

...Un lâche, un imposteur,
Un traître, un scélérat, un perfide, un menteur,
Un fou, dont les accès vont jusqu'à la furie,
Et d'un tronc fort illustre une branche pourrie [2]).

И Буало с удовольствием представляет себе то счастливое время, когда законы были для всех одинаковы:

Chacun vivait content et sous d'égales lois, Le
mérite y faisait la noblesse et les rois [3]).

Буало принадлежал к той французской интеллигенции *буржуазного происхождения,* которая ничего не имела против старого порядка и на все лады пела его славу. Впрочем, в его время порядок этот и не успел еще состариться. И все-таки *под пером Буало рассуждения на тему об истинном благородстве имели не совсем тот смысл, какой приобретали они в произведениях русских сатириков из дворянской среды.*

Во Франции монархия победила феодальную аристократию благодаря поддержке третьего сословия. В России она сокрушила боярскую оппозицию, опираясь на служилый класс. Это огромная разница. Третье сословие во Франции заинтересовано было в полном уничтожении *всяких* сословных привилегий. А служилый класс в России, восставая прошв привилегированного положения бояр, *сам стремился сделаться привилегированным сословием.*

[1]) Дворянство — не химера, когда человек, происходящий из рода, к которому принадлежит много полубогов, сам, подобно тебе, идет по пути своих предков. Но мне нестерпимо видеть, что фаты, изнеженность которых может сослаться только на их пустое благородство, нахально величаются чужими заслугами.

[2]) Подлецом, обманщиком, изменником, мошенником, коварным лжецом, безумцем, страдающим припадками бешенства, гнилою ветвью знаменитого дерева.

[3]) Все были довольны, живя под равными законами, и только по своим заслугам люди достигали дворянского и королевского звания.

И именно в XVIII веке, когда возникла наша сатира, это его стремление осуществилось в довольно широкой мере. Поэтому его

идеологи решительно неспособны были придать нападкам на *породу* тот широкий размах, какой сообщили им во Франции идеологи третьего сословия. Конечно, сам Буало отнюдь не был революционером. Он лишь вздыхал о том золотом веке, когда все были равны перед законом. Но через каких-нибудь пятьдесят-шестьдесят лет после него французские просветители провозгласили, что надо восстановить тот справедливый общественный строй, который существовал в золотую эпоху общественного равенства. *Вздох сожаления о прошлом довольно быстро превратился, ап французской почве, в практическую программу будущего.* Чтобы наши писатели могли усвоить себе эту программу, им нужно было предварительно *покинуть точку зрения дворянского сословия.* Кантемир и Сумароков были еще неспособны на это.

Наивная вера во всемогущество просвещения предохраняла наших литературных деятелей первой половины XVIII века от помыслов об общественно-политических реформах. «Невежество, — говорил Сумароков, — есть источник неправды; бездельство полагает основание храма его; безумство созидает оный; непросвещенная сила, а иногда и смесившаяся со пристрастием, укрепляет оный». Достаточно распространить просвещение, чтобы искоренить неправду даже в судах. А просвещение распространяется центральной властью...

Подобно Татищеву, Сумароков хотел, чтобы образование сделалось доступным также и для женщин. В «Хоре к превратному свету» синица рассказывает, что

За морем тово не болтают: Девушке
де разума не нада, Надобно ей личико
да юбка, Надобны румяны да
белилы...

VI

Сумароков — типичный русский дворянин XVIII столетия, приобщившийся к западноевропейскому просвещению. Во взгляде на историческое значение и современные задачи верховной власти он вполне сходился с Татищевым. В басне («притче») «Пучок лучины» он писал:

Нельзя дивиться, что была
Под игом Росская держава,
И долго паки не цвела,
Когда ее упала слава;

Вить не было тогда
Сего великого в Европе царства,
И завсегда Была вражда
У множества князей едина государства [1])

Теперь татары готовы служить России, а прежде они несли «страх российским сторонам». Так было вплоть до «Иоана» (очевидно, Третьего);

Надежных не было лесов, лугов и пашни,
Доколе не был дан
России Иоан,
Великолепные в Кремле воздвигший башни [2]).

Говоря о своем времени, Сумароков всегда изображает верховную власть источником просвещения и правды в России. Если он смело ополчается на борьбу с пороками, то его мужество поддерживается

надеждой на поддержку со стороны государыни:

Когда я истинну народу возвещу,
И несколько людей сатирой просвещу;
Так люди честные, мою зря миру службу,
Против бездельников ко мне умножат дружбу:
Невежество меня ни чем не возмутит,
И росская меня паллада защитит;
Не малая статья ее бессмертной славы,
Чтоб были чищены ее народа нравы.

В другом месте той же сатиры он восклицает:

Пускай плуты попрут и правду и законы,
Мне сыщет истинна на помощь обороны:
А есгьли и умру от пагубных сетей,
Монархиня по мне покров моих детей.

При таком отношении к верховной власти становится понятным желание воспеть ее в более или менее торжественной оде. Нам теперь решительно невозможно наслаждаться «пиическими» произведениями этого разряда. Не говоря уже об их неуклюжем языке, они отталкивают нас своим безмерно льстивым содержанием. Нам очень подозрительно «странное пианство», будто бы овладевавшее одописцами. Мы презрительно пожимаем плечами, когда читаем у Тредьяковского, что Анна — «верьх Императриц». И не менее тяжелое впечатление производит на

[1]) Басня «Пучок лучины».
[2]) «Совет боярской».

нас хотя бы вот эта рифмованная лесть, сочиненная по случаю коронования той же Анны:

Превыспренный весь лик и Небо все играет,
Изряднейшим лучем нас солнце просвещает;
Несет земля свой плод;
Нам воздух дышет здравый,
Цветет дух всюду правый;
Вшел благостей к нам род,
Веселием у нас всех блещут рек потоки...
Погибли в бездне все премерские пороки!

И так далее, и так далее. Льстиво до тошноты! Чувствуешь глубокую обиду за литературу, когда читаешь подобные литературные упражнения.

Несправедливо было бы попрекать грехом подобных песнопений одного многострадательного Василия Кирилловича. В главе, посвященной Ломоносову, я уже отметил, что тем же грехом грешил и гениальный «архангельский мужик». Разумеется, несвободен от него и Сумароков. Трудно льстить больше, чем льстил он Елизавете в оде на день ее рождения:

Ты наше время наслаждаешь,
Тобою Россов век цветет,
Ты новы силы в нас рождаешь,
Тобой прекрасняе стал свет.
Презренны сих времен морозы,
Нам мнится на полях быть розы,
И мнится, что растут плоды,
Играют реки с берегами,
Забвен под нашими ногами
Окамененный ток воды...

Всякий скажет теперь: некрасиво! Однако историк должен помнить, что есть обстоятельства, значительно смягчающие вину этих

некрасивых литературных деяний. Наши одописцы льстили без меры. Это, к сожалению, неоспоримо. Но, во-первых, лесть в оде требовалась обычаем того времени. Это был отвратительный обычай; но тогдашние читатели и слушатели знали, что преувеличенные похвалы, содержавшиеся в одах, должны быть принимаемы cum grano salis. А главное, - на что я собственно и хочу обратить внимание читателя, — одописцы были поклонниками самодержавной власти «не токмо за страх, но и за совесть». От нее, и только от нее, ждали они почина прогрессивного движения в России. Как же было им «е превозносить и не воспевать ее в своих одах?

233

Наконец надо сказать еще и вот что. У нас в XIX веке долго держались обычая хвалить власть не столько за то, что она сделала, сколько за то, что она могла бы и должна была бы сделать, по мнению хвалившего. А из наших одописцев XVIII столетия кажется один только Тредьяковский не позволял себе давать власти благие советы под предлогом восхваления будто бы свойственной ей беспредельной мудрости. Мы уже знаем, что некоторые оды Ломоносова заключали в себе целый ряд проектов по части просвещения России. Изрядное число хороших практических советов напихано было и в полные лести оды Сумарокова.

По случаю именин Екатерины II, в ноябре 1763 года, он «пел»:

Вижу Россов пышны грады,
И приятны вертограды. Как Едем
иль сад Петров:
Новы протекают реки,
Кои рыли человеки:
Ход по всей России нов.
Горы злато изливают,
Златом плещет окиян:
Села степи покрывают
И пустыни многих стран.

Это — наставления, относящиеся к области народного хозяйства. А вот наставления по части внутренней политики.

В оде цесаревичу Павлу, написанной ко дню его имени«, 29 июня 1771 года, Сумароков, возвещая «свету» добродетели высокого именинника, доводит до сведения этого последнего, что монарх, как он должен быть,

С законом басен не мешает,
И разум правдой украшает,
Пренебрегая сказки жен:
Не внемля наглу лицемерству,
Не повинуясь суеверству,
Которым слабый дух возжен.

На этом дело не кончается. В той же весьма льстивой оде говорится:

Когда монарх насилью внемлет,
Он враг народа, а не царь;
И тигр и лев живот отъемлет,
И самая последня тварь:
Змея презренья не умалит,
Когда ково, ползя, ужалит,

234

Пребудет та ж она змея...
. . . . . .
Нестройный царь есть идол гнусный
И в море кормщик неискусный:

Ево надгробье: был он яд;
Окончится ево держава,
Окончится ево и слава:
Исчезнет лесть, душа во ад.
Не сносят никогда во гробы
Цари сияния венца;
Сиянье царския особы
Есть имя подданных отца.

Не знаю, какое действие оказывали подобные наставления на тех весьма высокопоставленных читателей, для которых они предназначались. Полагаю, ровнехонько никакого. Но что они должны были *способствовать* прояснению общественно-политических понятий *обыкновенных* смертных (хотя бы и шляхетного происхождения), это очевидно. Сколько-нибудь просвещенных читателей того времени напыщенно-льстивый язык одописцев, как сказано, вряд ли вводил в заблуждение: они понимали, что это — пуста« формальность. Во второй Головине XVIII века сатирическая литература стала едко насмехаться «ад льстивым языком одописцев [1]). Иное дело — благие советы, преподносившиеся властителям теми же одописцами. В этих советах выражались политические взгляды передовых русских людей того времени. И над ними, наверно, никто не смеялся. Напротив, давая их, одописцы выступали, подобно сатирикам, просветителями читающей публики.

VII

Но гораздо более, нежели похвальные олова, оды и дифирамбы, просвещала читателей наша драматическая литература. Н. Булич справедливо сказал, что сценические представления были таким благородным родом забав, который далеко оставлял за собой грубые забавы Московской Руси. Вполне естественно, что, по выражению того же

[1]) В статье об Е. И. Кострове Н. С. Тихонравов указал, как удачно язвила «Смесь» 1769 г. одописцев: «Имеет ли простой народ добродетели? Я того не знаю, затем, что стихотворцы прославляют добродетели лирическим гласом, однако я никогда не читал похвальной оды крестьянину, также как и кляче, на которой он пашет» (Сочин. Н. С. Тихонравова. т. III, ч. I, стр. 188).

Н. Булича, «на театр смотрели, как на педагогическое средство, не только ори дворе... но и между мыслящими современниками» [1]).

Излишне распространяться о том, каким образом могла воспитывать зрителей *комедия.* Это понятно само собою: совершенно так же, как и сатира, т. е. *посредством насмешки.* Менее понятно педагогическое действие *трагедии.*

Наша трагедия XVIII века имеет плохую славу. Так, трагедию Сумарокова, с которой мы исключительно будем иметь дело в этой главе, только что цитированный мною исследователь называет «раскрашенной яркими красками, но жалкой литографией с более достойного оригинала» [2]). Ввиду этого позволительно спросить себя, откуда же бралось педагогическое действие жалкой литографии? И каким образом ее зрелище могло стать благородной забавой?

Трагедия Сумарокова воспитывала зрителей не своими эстетическими достоинствами: они были совершенно ничтожны. Ее воспитательное значение обусловливалось теми нравственными и политическими понятиями, которые выражались в речах ее действующих лиц. Что касается этих понятий, то, конечно, их высказывают нередко такие лица, у которых мы бы никак не предположили их, если бы судили с

точки зрения психологической вероятности. Но совсем не прав Н. Булич, утверждая, что «вообще понятия о нравственности в этих трагедиях кажутся извращенными потому, что далеко не похожи на наши» [3]). На самом деле, многие из этих понятий до сих пор очень подходят к нашим и ничуть не страдают извращенностью.

Возьмем одно из самых важных: *понятие о долге вообще и о долге перед своей родиной в частности.* Мы часто встречаем его в монологах героев Сумарокова. Посмотрим, какой оттенок имеет оно там.

Князь Шуйский говорит своей дочери Ксении, которой угрожает смерть от руки Димитрия Самозванца [4]):

За град отеческий вкушай, княжна, смерть люту!

Подобно этому, новгородский посадник Гостомысл наставляет свою дочь Ильмену [5]):

[1]) «Сумароков», стр. 26.
[2]) Там же, стр. 152.
[3]) Там же, стр. 146.
[4]) «Димитрий Самозванец», последнее явление пятого действия.
[5]) «Синав и Трувор», первое явление третьего действия.

Где должность говорит, или любовь к народу,
Там нет любовника, там нет отца, ни роду.
Кто должности своей хранение являет,
Храня ее в бедах, свой дух успокояет.

Гамлет высказывает то убеждение, что

...Сердце благородно
Быть должно праведно, хоть пленно, хоть свободно! [1])

От нежной Офелии мы слышим:

Я чести не хочу бесчестием искать...

Борьба между личным чувством и должностью составляет «пафос» первой по времени трагедии Сумарокова «Хорев».

Брат русского князя Кия, Хорев, любит Оснельду, дочь свергнутого Кием прежнего князя, Завлоха. Она живет как пленница в Киеве и отвечает Хореву взаимностью. Но он — брат Кия, кровного врага ее отца, и она не считает себя *в* праве следовать своему чувству. В третьем явлении первого действия она признается ему в любви, но отвергает, как нравственно непозволительную, всякую мысль о своем браке с ним:

Престань себя, мой князь, надеждой этой льстить;
Судьба мне жизнь велит в несчастии влачить.
Судьба меня с тобой навеки разделила,
И тщетно нас любовь с тобой соединила.
Оснельда может ли супруга зреть того,
Чей с трона брат отца низвергнул моего,
И трупы братиев моих влачил бесстыдно,
Взирая на престол Завлохов зверовидно;
Граждан без жалости казнил и разорил
И кровью нашею весь город обагрил,
Оснельду в пеленах невольницей оставил.
Перун! почто меня от смерти ты избавил?
А жизнь оставя, дал ты чувствовать мне честь?
Или — чтоб было мне труднее иго несть?
Мне б лучше звереть, чем в тяжкой жить неволе
И видеть хищника на отческом престоле.

В сердце Оснельды любовь борется с чувством долга, как борется она с ним в сердце Шимэны у Корнеля. И ни тут, ни там в психоло-

гическом процессе борьбы нет ничего извращенного. Чувство долга берет верх над любовью как у Шимэны, так и у Оснельды. Это опять нимало не свидетельствует об извращенности.

[1]) «Гамлет», второе явление первого действия.

237

Ровно ничего не свидетельствуют о ней и переживания Хорева. В нем совершается борьба тех же чувств: «должность» побуждает его идти сражаться с подступившим к Киеву неприятелем. Но этот неприятель — отец любимой им девушки, и вот Хорев не то чтобы колеблется, а жестоко страдает. При этом нравственные страдания наводят его на размышления, совсем не безынтересные и для наших дней. Кий говорит ему:

Возьми оружие, твой долг тебя зовет,
И слава на полях тебя с победой ждет.

На это Хорев отвечает, что он давно уже научился не страшиться врагов и переносить лишения походов. Однако он не может не думать • о жертвах войны:

Но сколько воинов смерть алчна пожрала!
Возбудит ли вдовам супругов их хвала,
Что в мужестве своем с мечьми в руках заснули,
И трупы их в крови противничьей тонули?
Ах, сколько в снедь зверям отцов, супругов, чад
Повержено мечом! и сколько душ взял ад!

Где же выход? Неужели этот воин додумается до того, что никогда не надо сопротивляться злу насилием? Нет, он только старается установить различие между *самозащитой* и несправедливым *нападением на других.* И он не считает справедливой войну с Завлохом, который добивается лишь освобождения из плена своей дочери. Хорев говорит:

Когда на жертву нас злой смерти долг приносит, —
Умрем; но жертв она теперь не просит.
Когда народ спасти не можно без нея,
Мы в пропасть снидем все; и первый сниду я:
Но ныне страху нет народу и короне;
А меч дается нам лишь только к обороне.

Он не довольствуется этим замечательным различением. Мучительное сознание того, что справедливое требование Завлоха может подать повод к страшному кровопролитию, наводит его на мысль о том, как вообще много ненужной жестокости вносят люди в свои военные столкновения:

Довольно без того мы кровь взаимно льем,
Когда по должности сражаемся с врагом —
И защищение с отмщением мешаем:
Под видом мужества мы зверство возвышаем.

238

Какое имя злу лесть низкая дала?
Убийство и грабеж геройством назвала!
Мы, брани окончав, отмстительны в удаче,
Не попечительны, зря бедных в горьком плаче.

В конце концов, и у Хорева любовь отступает перед долгом. Когда (в третьем действии) Оснельда, только что покушавшаяся на свою жизнь, просит его дать ей возможность убежать к отцу, который, надо заметить это, противится ее браку с Хоревом и уже наступает на Киев, он отказывается. По его мнению, при данном положении дел,

такой поступок с его стороны явился бы изменой, которой не могла бы одобрить сама Оснельда:

...Помысли, рассуди.
Могу ль я тем тебе свободу возвратить?
Что будет обо мне тогда весь град гласить?
Что скажешь ты сама?
. . . . . .
Оснельда может ли изменника любить?

Нет, надо быть справедливым! Следует в полной мере воздать должное нашей литературе XVIII века. И пора отвергнуть ходячее у нас мнение об ее бессодержательности. Она была содержательна, но, разумеется, на свой собственный лад.

Обыватели старой Московской Руси так или иначе несли тягло, — когда им не удавалось бежать от него «в прекрасную пустыню», — или служили государю, когда нельзя было отсидеться в «нетех». Но они крайне редко задумывались о своих «должностях» перед родиной и совсем никогда «е размышляли о том, как следует вести себя в случае неприятных столкновений с жителями других государств. С совершенно спокойным сердцем жгли, грабили и всячески опустошали они города и села даже единокровной и единоверной им Литовской Руси. Литература, возникшая после Петровской реформы, тотчас же заметила крайнюю скудость запаса нравственных понятий, оставшегося от доброго, старого времени, и принялась пополнять его всеми зависевшими от нее средствами. В эту сторону направляли свои усилия все ее отделы, не исключая даже и громогласной оды [1]). По всей вероятности, влияние сатиры было сильнее влияния всех остальных родов литературы.

[1]) Исключение приходится сделать только для того разряда повестей, на который я ссылался. Но это совсем особая литература.

Но все-таки немало тут сделала трагедия вообще и трагедия Сумарокова в частности [1]). И в этом состоит значительная заслуга ее в великом деле европеизации России.

VIII

Обыкновенный смертный должен забыть свой личный интерес, когда этого требует благо его страны. Так учила трагедия. Что же касается коронованных лиц, то она требовала от них прежде всего уважения к закону. Уже известный нам Хорев, брат русского князя Кия, говорит:

Те люди, коими законы сотворены.
Закону своему и сами покорены.

Он же подробно перечисляет необходимые правителю качества:

Потребно множество монарху проницанья,
Коль хочет он носить венец без порицанья:
И естьли хочет он во славе быти тверд;
Быть должен праведен и милосерд [2]).

Упомянутая выше княжна Ксения Шуйская просит бога:

Дай нам увидети Монарха на престоле,
Подвластна истинне, не беззаконной воле!
Увяла правда вся! тирану весь закон
Едино только то, чего желает он:
А праведных царей, для их бессмертной славы,
На счастьи подданных основанны уставы [3]).

Та же молодая девушка, к удивлению нашему обнаруживающая такой глубокий интерес к политике, требует свободы совести и «снисходительного» отношения властителя к своим подданным:

Блажен на свете тот порфироносный муж,
Который не теснит свободы наших душ.
Кто пользой общества себя превозвышает,
И снисхождением сан царский украшает,

[1]) Едва ли не самыми идейными нашими трагедиями в первой половине XVIII в. должны быть признаны трагедии ученика Сумарокова, Я. Б. Княжнина.

[2]) Действие пятое, явление первое.

[3]) «Димитрий Самозванец», действие второе, явление первое.

Даруя подданным благополучны дни;
Страшатся коего злодеи лишь одни [1]).

Суровый, но справедливый князь Кий, объясняя, почему он нисколько не опасается измены со стороны своих подданных, указывает на свое отношение к ним. Он говорит боярину Сталверху:

Что может, рассуди, изменник учинить?
Народ бесчисленный удобно ль возмутить,
В котором множество мне сердцем покоренно?
Владычество мое любовью утвержденно;
Меня подвластные непринужденно чтят,
Отца во мне сердца их преданные зрят [2]).

Дочь Гостомысла Ильмена убеждает князя Синава:

Ты начал царствовать с щедротой в сей стране:
Благополучием явил себя народа,
И что произвела на то тебя природа,
Чтоб ты ко истинне свой разум простирал,
И плачущих рабов ты слезы отирал [3]).

Знаменательный оборот речи! Подданные — *дети* правителя. Но в то же время они — его *рабы.* И так выражается не одна Ильмена. В первом явлении того же действия Синав получает от своего брата Трувора такой совет:

Раби твои, о князь! твои любезны дети:
Не зачинай иным ты образом владети.

В «Гамлете» Полоний проповедует принцип ничем не прикрытого деспотизма:

Кому прощать царя? Народ в его руках.
Он Бог, не человек в подверженных странах.
Когда кому даны порфира и корона,
Тому вся правда, власть, и нет ему закона.

Но Гертруда возражает ему на это совершенно в духе Ильмены — и... самого Сумарокова:

Не сим есть праведных наполнен ум царей;
Царь мудрый есть пример всей области своей,
Он правду паче всех подвластных наблюдает,
И все свои на ней уставы созидает.
То помня завсегда, что краток смертных век,

[1]) То же явление того же действия.

[2]) «Хорев», действие второе, явление первое.

[3]) «Синав и Трувор», действие второе, явление пятое.

Что он в величестве таков же
человек.
Раби его ему любезные суть чады,
От скипетра его лиется ток
отрады.

Правду наблюдает и льет отраду от своего скипетра, а его дети, — подданные, — тем не менее остаются его рабами! Это очень характерная особенность тогдашней (передовой!) русской идеологии. Можно сказать, пожалуй, что, подобно всем передовым писателям XVIII века, Сумароков был сторонником просвещенного абсолютизма. Но в том-то и дело, что в его трагедиях говорится, собственно, о той разновидности просвещенного абсолютизма, которой нельзя дать другого названия, кроме *просвещенного деспотизма.*

Русская трагедия шла по следам французской. Но, как увидим ниже, во французской трагедии нет идеализации *деспотизма,* хотя бы и просвещенного. Да оно и понятно, если сам Боссюэ, бывший убежденным сторонником неограниченной монархии, находил нужным сделать ту оговорку, что *рабское* подчинение подданных своему государю противоречит французским нравам.

Порядок идей и в этом случае соответствовал порядку вещей. Ломоносов говорил: «Понеже наше стихотворство только лишь начинается, того ради, чтоб ничего не угодного не ввести, а хорошего не оставить, надобно смотреть, «ому и в чем последовать». Л еще раньше его, Ф. Салтыков, изучая в Англии «уставы» разных европейских государств, выбирал из них, для нашего домашнего употребления, лишь то, что «приличествует токмо самодержавствию, а не так, как республикам или парламенту». Подобно этому поступала и наша изящная литература XVIII столетия. Она тоже старалась «ничего неугодного не ввести. Из богатой сокровищницы западноевропейских общественно-политических идей она брала лишь то, что «приличествовало самодержавствию, а не так, как республикам или парламенту». Да и понятию «самодержавствия» она придавала, как видим, свой домашний оттенок. Порядок идей определился порядком вещей.

Уважать законы, быть «снисходительным» к своим детям-рабам, защищать обиженных... Чем отличаются эти требования от того, чего добивались от московских государей сторонники «подкрестных» записей? Ничем. И это надо запомнить.

Петровская реформа не изменила объема требований, предъявлявшихся к русским государям теми их подданными, которые, по тем или другим причинам, не мирились с «российской действительностью». Она

и не могла изменить его, так как ближайшим ее политическим следствием было изменение общественных сил *не в ущерб, а к выгоде центральной власти.* Разница была лишь в том, что «подкрестных записей» добивался отживший общественный слой, — боярство, — между тем как советы просвещенному деспотизму насчет уважения к законам и «снисходительного» обращения с подданными шли от того слоя русских сторонников западного просвещения, которому суждено было расти и укрепляться, правда, с медленностью, нередко доводившей до отчаяния благороднейших его представителей.

В своем «Гамлете» Сумароков устами Гертруды напоминает монархам о краткости «смертных века», т. е. о загробной ответствен-

ности за злые поступки. Но Гертруда только мимоходом касается этого предмета. Зато Димитрий Самозванец — тоже совсем неожиданно! — вдается в большие подробности по этой части. Ему видится страшная картина его собственного мучения в аду:

Уныли вкруг Москвы прекрасные места.
И ад из пропастей разверз на мя уста,
Во преисподнюю зрю мрачные степени [1]).
И вижу в тартаре мучительские тени;
Уже в геене я и в пламени горю...

Этой страшной картине тот же беспощадный тиран противопоставляет очаровательную картину райского блаженства добрых царей:

Воззрю на небеса — селенье райско зрю:
Там добрые цари природы всей красою.
И ангелы кропят их райскою росою...

Цель противопоставления очевидна: поразить воображение властителей, поставить им на вид, что их собственный интерес, — и еще какой: не временный, а вечный! — предписывает им уважать законы и быть «снисходительными» или (что одно и то же) «добрыми». Если мы вспомним, что еще Курбский пугал Ивана загробным правосудием, то убедимся, что Петровская реформа не вызвала никакой непосредственной перемены на святой Руси и в смысле той ultima ratio, к которой могли апеллировать русские обыватели, когда их государи показывали себя слишком мало «снисходительными».

Отмечу еще одну черту Сумароковской трагедии. Подобно французской трагедии XVIII века, она нападает на католицизм. Местами

[1]) Т. е. ступени.

наладки ее становятся очень резкими. На замечание Димитрия Самозванца о папской святости, которой не хочет подчиниться Россия, его наперсник Пармен возражает:

Мне мнится, человек себе подобным брат,
И лжеучители рассеяли разврат,
Дабы лжесвятости их черни возвещались,
И ко прибытку им их басни освящались...
. . . . . .
Сложила Англия, Голландия то бремя
И пол-Германии; наступит скоро время,
Что и Европа вся откинет прежний страх,
И с трона свержется прегордый сей монах,
Который толь себя от смертных отличает,
И чернь которого как Бога почитает.

Самозванец находит такие речи «дерзостными». Но их «дерзостность» весьма значительно умеряется тем, что, горячо нападая на *западную* церковь, герои Сумарокова с большим почтением относятся к *восточной.* В той же трагедии («Димитрий Самозванец») Георгий, князь Галицкий, молится о том, чтобы католицизм не восторжествовал «ад православием:

О Боже, ужас сей от Россов отведи!

Замечательно, что ни в сатирах, ни в «притчах» Сумарокова мы «е встречаем нападок на русское духовенство, столь частых у Кантемира. Это объясняется тем, что настроение Кантемира было гораздо ближе к настроению Петра Первого, который очень не жаловал «больших бород». В эпоху Сумарокова власть относилась к таким

бородам гораздо «снисходительнее». Да и они, с своей стороны, совершенно отказались даже от той пассивной оппозиции, с которой относились к преобразовательной деятельности Петра. Исключения, вроде оппозиционной вспышки Арсения Мациевича, в счет не идут и только подтверждают общее правило.

Как ни узки были по обстоятельствам времени пределы политической мысли Сумарокова, но и она, высказываясь в его стихотворениях, и особенно в его трагедиях, совсем не извращала понятий тогдашних русских людей, а очищала их, так как все-таки предъявляла к правителям известные требования, шедшие вразрез с правилом московского деспотизма: мы можем, по одному своему усмотрению, казнить и жаловать своих холопов. Никто не скажет, что бесполезно

было для политического развития современников Сумарокова, например, следующее рассуждение о чести одного из его героев *(князя* Мстислава):

О, честь единственный источник нашей славы,
На коей истинны основаны уставы,
Геройска действия и общей пользы мать!
Сильна едина ты сан царский воздымать.
Коль нет тебя с царем, он божий гнев народу,
И скиптр ево есть меч возъятый на свободу...

ГЛАВА VI

Взаимная борьба общественных сил в эпоху Екатерины II I

В нашей ученой литературе, существует два мнения по вопросу о том, как высок был уровень экономического развития России во второй половине XVIII века. Одно из них нашло наиболее яркого выразителя своего в лице г. Чечулина; другое высказано было Е. В. Тарле

По словам г. Чечулина, «необходимо признать крайне незначительное экономическое движение страны вперед за время целого (XVIII. — *Г. П.*) столетия». В экономической деятельности страны не создалось ничего нового, и она оставалась на очень низком экономическом уровне [1]).

Наоборот, Е. В. Тарле утверждает, что в царствование Екатерины II Россия вовсе не была отсталой страной сравнительно даже с наиболее передовыми странами европейского материка, например, с Францией. «Легенда» об исключительном господстве натурального хозяйства в указанную эпоху должна быть отвергнута. К концу царствования Екатерины II наши фабрики и заводы «отнюдь не были тепличными растениями, и обрабатывающая промышленность достигла такого развития, что если и не составляла существенной статьи русского вывоза, то, во всяком случае, делала Россию, — по смыслу неоднократных утверждений самих иностранцев, — страною, *экономически независимой от* соседей» [2]).

[1]) *Н. Чечулин,* Очерки по истории русских финансов в царствование императрицы Екатерины II. СПБ. 1906 г., стр. 374, 376, 378.

[2]) См. его доклад: «Была ли екатерининская Россия экономически отсталой

страной?», в октябре 1909 г. прочитанный в заседании Исторического Общества при Петербургском университете и напечатанный в майской книжке «Современного Мира» за 1910 год.

Каждое из этих двух противоположных мнений есть крайность и потому требует существенных поправок.

Конечно, во второй половине XVIII столетия Россия давно уже не была страной *«исключительно»* натурального хозяйства. Мы знаем, что в нечерноземной полосе Великороссии преобладала тогда *оброчная* система эксплуатации помещиками своих крепостных крестьян. Крестьяне уплачивали свой оброк, разумеется, деньгами. Деньгами же уплачивался и оброчный сбор в пользу государства с *черносошных,* а также (после «секуляризации» церковных именин) с *экономических* крестьян [1]). Все это предполагает наличность отхожих промыслов и довольно значительного денежного обмена. Иностранные наблюдатели русской жизни издавна отмечали, что, как выразился один из них в начале XIX века, русский крестьянин занимается не только земледелием, но по большей части еще и другими промыслами. По свидетельству того же наблюдателя, встречались целые села, состоявшие из одних ремесленников, т. е., собственно, из кустарей. К числу таких принадлежали село Медведицкое и Кимры, уже тогда населенные почти исключительно сапожниками. В Московской и Тверской губерниях было много ткачей, в Нижегородской — целые села занимались обработкой железа; по берегам судоходных рек сильно развито было судостроение и т. д. Кустарная промышленность, значительно развитая еще в Московской Руси, стала еще более быстро развиваться именно во второй половине XVIII столетия. В то же время значительно подвинулась вперед, — правда, преимущественно в количественном отношении. — и крупная промышленность. При вступлении на престол Екатерины II считалось 984 фабрики и завода (кроме горных заводов), а в конце ее царствования их было 3.161.

Г. Чечулин не говорит, что в тогдашней России господствовало исключительно натуральное хозяйство. Но его мнение должно быть признано прямо противоположным мнению Е. В. Тарле, поскольку он отрицает движение вперед русского народного хозяйства. Тут он неправ. Движение вперед, несомненно, было. Правда — на стороне Е. В. Тарле, признающего это движение. Но когда этот талантливый исследователь утверждает, что екатерининская Россия не было отсталой страною

[1]) Правда, тут были исключения. Подушная подать, взимавшаяся в размере 70 копеек с души в 1794 году, была возвышена до рубля, при чем, однако, прибавочные 30 копеек в Вятской и Тобольской губерниях наполовину уплачивались хлебом *(В. И. Семевский,* Крестьяне в царствование императрицы Екатерины II СПБ. 1901 г., стр. 676). Но исключения эти, как видим, незначительны

даже в сравнении с Францией, необходимо признать, что палка слишком перегнута им в противоположную сторону.

К концу царствования Екатерины II наша обрабатывающая промышленность достигла, по его словам, такого развития, что, если и не составляла существенной статьи русского вывоза, то, во всяком случае, делала Россию, — по смыслу неоднократных утверждений самих иностранцев, — страною, *экономически независимою от соседей* [1]).

Это ошибка; начать с того, что отзывы иностранцев гораздо

менее категоричны, нежели это кажется нашему уважаемому историку.

Возьмем Бюшинга, на которого он не один раз ссылается в своем докладе. По словам Бюшинга, приводимым господином Е. В. Тарле, ни один народ в мире «е имеет большей склонности к торговле, нежели русские. Но, как я указал на это в первом томе моей «Истории», многие иностранные путешественники совершенно так же отзывались и о китайцах. Доказывают ли такие отзывы путешественников, что ошибаются люди, говорящие об экономической отсталости Китая сравнительно с европейским Западом? Очевидно, нет. Далее, Бюшинг признает, что русские имеют способность не только к торговле, но и к обрабатывающей промышленности. Он указывает при этом на успехи, достигнутые Россией со времени Петра I. Они показывали, — думает он, — что русским недоставало прежде только руководства (со стороны более передовых иностранцев) [2]).

Е. В. Тарле вполне правильно отмечает, что Бюшинг с похвалой отзывается о некоторых русских фабричных изделиях и находит полотняные мануфактуры лучшими в России. Но к этому следовало прибавить, что, по замечанию того же Бюшинга, в тогдашней России выделывали «только грубые полотна и еще не научились прясть тонкую льняную и конопляную пряжу». Ему известно было только одно исключение из этого общего правила: ярославская мануфактура, которая хорошо ткала и белила тонкие полотна [3]). Так как полотняные мануфактуры были, по его мнению, все-таки лучшими в России, то остальные отрасли русской обрабатывающей промышленности должны были

[1]) «Совр. Мир», 1910 г., май, стр. 28. — Курсив г. Е. Тарле.

[2]) В моем пользовании находится французский перевод «Землеописания» Бюшинга. Там сказано: «On voit que les russes ont de la capacité pour les arts et les métiers et qu'il ne leur manquait que d'être guidés» («Géographie universelle», traduite de l'allemand de Büsching. Strassburg 1783, t. II, 1-e partie, contenant l'Empire de Russie, p. 47).

[3]) Там же, стр. 48.

представляться ему еще более отсталыми. Неудивительно, поэтому, что он следующим образом судит об отношении России к западным странам:

«Изо всего этого выходит, что русские еще не могли бы обойтись без помощи иностранных мануфактур и фабрик» [1]).

Как видим, он, вопреки Е. В. Тарле, очень далек от взгляда на Россию, как на страну, могущую стать *экономически независимой от соседей.*

Е. В. Тарле указывает также на Шторха. Но Шторх не расходится с Бюшингом. Он тоже не думает, что Россия может довольствоваться своими собственными изделиями. Чтобы перестать зависеть от иностранцев, ей нужно, то его мнению, еще около ста лет [2]).

Приводимые Бюшингом данные о состоянии русской торговли могли только подкрепить его убеждение в том, что Россия еще не в состоянии была обойтись без помощи иностранных фабрик и мануфактур. Он говорит, что в России есть много «полезных товаров» [3]), которые она может «уступать» (céder) странам, *начинающим* предъявлять спрос на них. Несколько ниже он перечисляет эта «полезные товары», при чем они оказываются принадлежащими к числу *сырых* произведений народного труда [4]).

Бюшинг утверждает, что дороги, проложенные между главными нашими городами, очень хороши (sont très bons). Этот неожиданный отзыв сильно смягчался, правда, тем замечанием, что они хороши особенно зимою (surtout en hiver) [5]). Но и в смягченном виде он не перестает свидетельствовать о том, что Бюшинг был большим оптимистом и совсем не склонен был неблагоприятно судить о нашем тогдашнем экономическом положении. И все-таки его оптимизм не помешал ему принять к сведению, что наша «огромная империя насчитывает едва несколько сот городов, в большинстве случаев деревянных». Он прибавляет, что немцы легко приняли бы эти крайне дурно обстроенные

[1]) Там же, стр. 49.

[2]) «Historisch-statistisches Gemälde des russischen Reichs am Ende des achtzehnten Jahrhunderts», 3 Theil, p. 46—47. Ср. также стр. 259, 260, 280, 287, 299, 305. На стр. 305—306 Шторх, по поводу нашей железной промышленности, говорит даже о нашей «постыдной зависимости» от промышленности других народов.

[3]) Во французском переводе: «marchandises utiles».

[4]) Там же, стр. 49—50. См. несколько подобных же перечней в Büschings-Magazin, т. IX, стр. 210—225. Надо заметить, что и открытая Е. В. Тарле записка Калонна свидетельствует, что Франция ввозила в Россию мануфактурные изделия, а вывозила — сырые.

[5]) Там же, стр. 14.

города «за большие деревни» [1]). Но он совсем не удивляется жалкому виду русских городов, так как ему известно, что «русские буржуа — новые люди и выходят из крестьян» [2]).

Если со всеми этими отзывами Бюшинга об экономическом состоянии России мы сопоставим его же описание французской промышленности, то должны будем признать, что эта последняя представлялась ему в совсем другом виде. Он называет «бесчисленные» французские фабрики и мануфактуры повсеместно знаменитыми и утверждает, что французские стеклянные изделия и зеркала лучше венецианских [3]). Во французском вывозе, в противоположность русскому, им отмечается множество мануфактурных товаров [4]).

II

Е. В. Тарле охотно ссылается еще на Палласа. Собственно говоря, от этого весьма, конечно, серьезного исследователя мы узнаем гораздо больше о *флоре* России, чем об уровне ее *экономического развития.* Но все-таки, когда Паллас касается промышленного развития тех русских [местностей, через которые он проезжал, тогда читатель неизменно выносит из его описания тяжелое впечатление *большой отсталости.*

Е. В. Тарле придает большое значение отзыву Палласа об Арзамасе. Он говорит, что, при всей своей нечистоте и внешней неприглядности, Арзамас «показался Палласу *необыкновенно* благоденствующим и многолюдным, при чем он своим процветанием обязан обрабатывающей промышленности, и Паллас приводит даже этот город в доказательство того, насколько и для всего государства выгодны фабрики *н* мануфактуры» [5]).

[1]) Там же, стр. 15.

[2]) «Les bourgeois russes sont nouveaux et sortent des paysans». Там же, стр. 28.

[3]) «Géographie universelle», t. IV, p. 47, 52, 54. — Надо заметить, что эти производства заимствованы были французами из Венеции.

[4]) Там же, стр. 55—56. Статистические данные, собранные в 1788 г. Тоноэаном

и приведенные у Моро де Жоннеса («Statistique de l'Industrie de la France», Paris 1856, p. 149, 165, 191, 234 и проч.), не оставляют сомнения в том, что французская промышленность в самом деле находилась тогда на *сравнительно* высокой ступени развития, чего нельзя сказать о русской.

[5]) «Современный Мир», 1910 г., май, стр. 24.

Все это так. Арзамас действительно произвел на Палласа сильное впечатление. Но почему? Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо принять в соображение, что же именно говорится у этого путешественника об арзамасской промышленности.

Он пишет: «В Арзамасе выделывают только обыкновенные кожи; впрочем, там встречаются несколько заводов, выделывающих посредственного качества юфть... Там выделывают лишь обыкновенное белое мыло»... Красильни «почти исключительно» заняты приготовлением так называемой *крашенины,* в большом количестве покупаемой женщинами из простого народа [1]). Кроме крашенины они выделывали еще китайку, расходившуюся в той же среде. Это надо запомнить.

У Шторха мы тоже на каждом шагу встречаем указания на то, что русская промышленность доставляла только изделия низшего качества. Изделия высших сортов привозились, согласно его описанию, из-за границы [2]).

Конечно, наши мануфактуры могли бы иметь широкий сбыт, работая для удовлетворения народных потребностей. Но не при тогдашних условиях. Дело в том, что круг этих потребителей был с своей стороны тогда очень ограничен как бедностью крестьян, так и тем, что они сами изготовляли большую часть нужных для них предметов. Шторх категорически утверждает это [3]). Выходит, стало быть, что натуральное хозяйство все-таки преобладало у нас, хотя и не господствовало *«исключительно».*

Известно, что для экономиста важно не только то, *что* производится, сколько то, *как* производится, т. е. *какими орудиями труда* и при *каких производственных отношениях.* Но в данном случае, несомненно, имеет большое значение и вопрос о том, что именно производили арзамасские фабрики. Мы видим, что они работали почти исключительно для удовлетворения того спроса, который был предъявляем на нашем внутреннем рынке «простым народом». Спрос этот был значительно ограничен тем обстоятельством, что русский крестьянин удовлетворял наибольшую часть своих потребностей продуктами собственного хозяйства. Кроме того, спрос этот был очень неприхотлив, так что легко покрывался изделиями *кустарной промышленности.* Но кустарная промышлен-

[1]) См. французский перевод путешествия Палласа (парижское издание 1783 г.) т. I, стр. 71—72.

[2]) См., например, его отзыв о суконных мануфактурах на стр. 250-й третьего тома и многие другие.

[3]) Там же, т. II, стр. 117.

ность — *отсталая* промышленность. Свойственная ей техника производства до сих пор остается у нас первобытной. Конечно, и ей не чужда та имманентная логика, в силу которой *товарное* производство превращается в *капиталистическое.* Но в ней превращение это совершается крайне медленно. Медленность превращения, которая является тут *следствием* ее отсталости, в свою очередь, служит *причиной,* упрочивающей отсталость. Глубокая печать этой отсталости всегда лежит даже на более или

менее крупных предприятиях, мало-помалу возникающих в кустарной среде. Лежала она и на тех предприятиях, которые пришлось наблюдать Палласу в Арзамасе. Мы уже слышали от него, что они приготовляли только изделия низшего или посредственного качества. Теперь надо прибавить, что, по словам того же путешественника, крайне отсталой была и их техника [1]).

Говоря об экономическом строе России в XVIII веке, нельзя ни на одну минуту забывать, что у нас всецело господствовало тогда *крепостничество.* По данным третьей ревизии (1762—1766 г.г.), помещичьи крестьяне составляли 52,9% всего крестьянского населения Великороссии и Сибири. Это отношение осталось почти неизменным до конца века [1]). Крепостным запрещено было приобретать на свое имя дома и лавки. Занимать деньга они могли только с разрешения помещика. То же разрешение нужно было для вступления крепостного в купечество и даже для простой отлучки его из помещичьей вотчины. Разумеется, экономия была сильнее права. Собственный интерес помещиков побуждал их разрешать своим крепостным всевозможные виды торговой и промышленной деятельности. Некоторые крепостные наживали даже большие богатства [3]). Но легко представить себе, до чего стеснительны были для успехов торговли и промышленности крепостные цепи. Крепостное право до крайности затрудняло у нас возникновение класса свободных рабочих. Когда мы перейдем к рассмотрению ходатайств, с которыми обратились к правительству Екатерины Н депутаты от городов в пресловутой Комиссии для составления Уложения, мы, ясно увидим, каким образом недостаток свободных рабочих рук служил одним из многих препятствий для развития самосознания в нашел

[1]) Там же, стр. 72. Хорошо устроены были в Арзамасе одни *поташные* заводы. Но они принадлежали *казне* (там же, стр. 89—90).

[2]) По данным четвертой ревизии оно равнялось 53,3%, а по данным пятой — 53,1%.

[3]) Ср. *В. И. Семевский,* Крестьяне в царствование императрицы Екатерины II т. I. стр. 332, 333 и 334.

торговопромышленном сословии. Но уже и теперь уместно заметить, что где отсутствует класс свободных рабочих, там нет и капиталистических отношений производства (в сколько-нибудь развитом их виде), а где нет таких отношений, там неизбежна *экономическая отсталость*

Мне возразят, пожалуй, что ведь и во Франции только революция устранила разные юридические пережитки, затруднявшие развитее капитализма.

Это — верно. Но *количественные* различия переходят, как известие), в *качественные.* Французский обыватель всегда был гораздо меньше связан, чем житель Московского государства и Российской империи. На это нам указывали еще Бодэн, Ю. Крижанич и многие другие. А в XVIII веке французский «старый порядок», несмотря на всю несомненную стеснительность свою для третьего сословия, все-таки чрезвычайно далек был от того *«крутого владания»,* от того *«людодерства»,* которое в пореформенной России процветало не менее, чем в допетровской и которое, возникнув на основе нашей экономической отсталости, само сделалось со временем одним из ее главнейших источников. Было бы очень странно, если бы при всем этом екатерининская Россия догнала — я уже не говорю: опередила! — современную ей

Францию

Еще в Московском государстве крестьяне предпочитали зависимость от *«государя»* зависимости от *помещика.* Но из того, что «государевым» крестьянам разных названий жилось несколько лучше, нежели помещичьим, еще не следует, что «государевы» крестьяне, — черносошные, «казенные» и как там их называли, — оставались сколько-нибудь свободными людьми. «Земские исправники суть те же помещики, — писал в 1826 г. Сперанский о положении казенных крестьян, — с тою только разностью, что они переменяются и на них есть некоторые способы к управе» [1]). Mutatis mutandis, это было вполне справедливо и в применении к XVIII веку. «Казенный» крестьянин находился в крепостной зависимости от чиновника по той простой причине, что, бесправный «страдник», он издавна был *закрепощен государству.* В наказе, данном государственными крестьянами Зубцовского уезда своему депутату в Комиссию для составления Уложения, встречаются следующие знаменательные строки:

«По состоянию нас, государственных крестьян, находимся не в призрении не только благородного дворянства, но и от самых последних

[1]) *В. И. Семевский,* Крестьянский вопрос в России в XVIII и первой половине XIX века, СПБ. 1888 г., т. I, стр. 193, примечание 2-е.

служителей... Разве не может обидеть, кто сам не захочет, а кто пожелает, то всегда, чем захочет, тем и обидеть может». Особенно обижали их г.г. «военнослужащие», на которых горько жаловался еще Посошков.

Государство рассматривало эту беззащитную, по рукам и ногам связанную трудящуюся массу, как полную свою собственность. Оно по своему усмотрению переселяло «казенных» крестьян из одной местности в другую; оно раздавало их помещикам; оно приписывало их к фабрикам и заводам. Но чем беспредельнее было закрепощение «казенных» крестьян государству, тем более затруднено было поступательное экономическое движение в этой среде.

В своей статье «Крепостная фабрика», г. Туган-Барановский говорит, что социальный строй России дал возможность мануфактурам. возникавшим у нас в XVIII веке, получить нужные им рабочие руки. В этом он видит существенное преимущество наших тогдашних мануфактур пред мануфактурами Запада, которым не легко было залучить к себе достаточное число (свободных) рабочих [1]). Но ведь всякому ясно, какой дорогой ценой могло быть куплено это «преимущество».

Крепостной труд всегда менее производителен, чем *наемный.* И это тоже не ускользало от внимания иностранцев, знакомых с хозяйственной деятельностью русского народа [2]).

Кстати, *Е.* В. Тарле не игнорирует даже показаний, идущих от таких иностранных наблюдателей, которые могли только очень поверхностно ознакомиться с состоянием русской промышленности. И он прав. В этом вопросе для нас не лишены важности даже мимолетные впечатления иностранных путешественников, Но если это так, то жаль, что Е. В. Тарле не обратил внимания на рассуждения Дидро об условиях, необходимых для дальнейшего экономического развития России. Разумеется, Дидро был, по преимуществу, *философом* в том смысле, какой это слово имело во Франции XVIII века. Он был слаб в *политической экономии.* Но

слепцом он отнюдь не был в этой области. И вот, когда он в своих советах Екатерине настаивает на необходимости развития производительных сил России и умножения в ней числа промышленных рабочих, то чувствуешь, что наше отечество произвело

[1]) «Великая реформа» (юбилейное издание), т. III, стр. 142 и 143. [2]) См., например, замечание *Левека* (Histoire de Russie, Paris, 1792, t. IV, p. 539) о недостатке тщательности в работе у русского крепостного производителя.

на этого гениального француза впечатление страны, крайне отсталой в экономическом отношении [1]).

И при этом бросается в глаза, что он очень хорошо понимал, как сильно задерживается хозяйственное развитие России господством в ней крепостнических отношений.

Еще раз: мнение Е. В. Тарле представляет собою крайность, подобно мнению г. Чечулина. Истина — между этими двумя мнениями. Но я не думаю, чтобы она находилась на равном расстоянии от каждою из них. Е. В. Тарле так перегнул палку, что истина, вероятно, более далека от его мнения, нежели от мнения г. Чечулина.

III

«Насколько возможно частному лицу постичь мысль государя н •обыкновенному человеку понять планы гениального, я вижу, что Ваше Величество потихоньку (sourdement) стремится к созданию третьего сословия».

Так говорил Дидро, обращаясь к Екатерине [2]). И он ошибался разве только в том смысле, что, на самом деле, меры для насаждения у нас «среднего рода людей» принимались этой славолюбивой государыней не потихоньку, а с большим шумом. Впрочем, и трудно было бы ей принимать их sourdement. Ими интересовались, их добивались все те, которые почему-либо желали успеха Екатерине или добра ее подданным. Весьма известная г-жа Жоффрэн, в салоне которой много рассуждали на модные тогда политико-экономические темы, заботливо напоминала северной Семирамиде, что ей невозможно будет обойтись без третьего сословия. То же, только иными словами, говорил русский посланник при французском дворе кн. Д. А. Голицын, в одном из писем к вице-канцлеру А. М. Голицыну, внимательно читавшихся Екатериной и трактовавших о пользе признания права собственности за крепостными крестьянами.

«Право собственности, — пишет Д. А. Голицын, — необходимо для образования третьего сословия, без которого искусства и науки никогда не могут процветать».

В «Архиве кн. Воронцова» напечатано «Краткое изъяснение о вольности французского дворянства и о пользе третьего чина», тоже отно-

[1]) См. *Maurice Tourneux,* Diderot et Catherine II. Paris 1899, p. 284, 288 и др. Интересно впечатление, произведенное на Дидро Петербургом (p. 284—285).

[2]) *M. Tourneux.* назв. соч., стр. 183.

сящееся к XVIII веку. Русский автор этого «Изъяснения» говорит, явно намекая на Россию:

«Всякая держава, в коей не находится третьего чина, есть несовершенна, сколь бы она ни сильна была; сие весьма ясно видеть

можно. Рабской страх бывает там вместо ободрения; строгость, которую благородные производят, будучи ничем ненасытимы, есть недействительна, потому что нет иных побудительных причин. Чего остается требовать от народа, лишенного надежды и которой не может иметь любочестия? Но о той стране, где находится третий чин, сказать сего не можно; нет там такого места, которого бы не мог получить человек третьего чина, естьли он только заслужил оное. Третий чин есть училище великих людей, в нем воспитываются добрые подданные во всех родах, коих государь находит при случае со всеми их способностями» [1]).

Чтобы сделать свою родину «совершенной», автор находит нужным «учредить сей третий чин в России». С этой целью он советует «продавать освобождение всем знатным купцам и славным художникам». Все «художества» должны быть разделены по цехам, при чем каждый цех должен купить освобождение всем своим членам. Сверх того, должны быть освобождаемы от крепостной зависимости все получившие высшее образование и снабженные надлежащими аттестатами.

«Когда всякой в состоянии будет упражняться *в* том, к чему имеет дарование, — говорит автор, — составят все нечувствительно корпус третьего чина с протчими освобожденными». А от возникновения этого «корпуса» казна получит прибыль: «Третий чин, однажды установленный, возвышенный освобождением и тем самым утвержденный в своей комерции или в своем промыслу, придет более в состояние платить государственные подати, оставя оные по прежнему, или переменя число оных, как заблагорассудится» [2]).

Мы уже знаем, что доводу от интересов казны издавна суждено было занимать большое место в рассуждениях русских публицистов.

В этих толках о пользе, приносимой государству «людьми среднего рода», сказалось более или менее глубокое понимание той чрезвычайно важной роли, которую сыграло третье сословие в истории развития западноевропейского общества. А в заботах об его насаждении в России обнаруживается сознание того, что у нас это сословие было развито

[1]) «Архив князя Воронцова», Москва 1882 г., кн. XXVI, стр. 322.
[2]) Там же, стр. 323.

весьма слабо. Ясно выразилось сознание этого последнего обстоятельства и в ответе Екатерины вышеупомянутой г-же Жоффрэн: «Еще раз обещаю вам, мадам, позаботится об этом, но как же мне трудно будет устроить это третье сословие в России!».

К слову сказать, исследователь не может не считаться с этим мнением тогдашних деятелей, русских и иностранных, при обсуждении интересующего нас здесь вопроса о том, была ли екатерининская Россия экономически отсталой страною.

Уже знакомые нам данные о состоянии тогдашней русской промышленности доказывают, что деятели того времени были правы. Но у нас есть, кроме того, статистические данные, еще более подтверждающие основательность их мнения.

Первая ревизия обнаружила, что число обывателей, принадлежавших к торгово-промышленному сословию (купцов, цеховых и мещан), составляло едва 3% (2,9) общей цифры податного населения. В 1769 г., т. е. по прошествии почти целого полустолетия,

отношение этих двух чисел осталось неизмененным: торгово-промышленное сословие по-прежнему составляло лишь $^1/_{34}$ часть податного населения коренной России. Это не значит, конечно, что экономика страны не сделала ни одного шага вперед. В течение почти полустолетия расширялось производство на сбыт, росла кустарная промышленность, увеличивалось число мануфактур. Все это происходило очень медленно, однако происходило. И все это, без сомнения, вносило известные перемены во взаимные отношения русских производителей в общественном процессе производства. Со стороны людей, заинтересованных в сохранении того, что было прежде, стали даже высказываться опасения за будущее [1]). Но перемены, совершившиеся тогда в указанных отношениях, были еще слишком малы для того, чтобы они могли сколько-нибудь заметно повлиять на социально-политический строй России. Строй этот по-прежнему определялся в своих основных чертах соотношением двух главных общественных сил *крестьянства и дворянства.* Дворянство не только не утрачивало своего господствующего положения в стране, но, наоборот, именно во второй половине XVIII столетия сложились и окончательно окрепли его сословные преимущества. И это, разумеется, невыгодно отразилось на положении крестьянского сословия. Когда дворянство добилось своего увольнения от обязательной службы государству, крестьяне надеялись,

[1]) По поводу задолженности дворянских имений, получившей у нас свое начало во второй половине XVIII века.

что государство освободит их от обязательной службы *дворянам.* Это было бы вполне согласно с логикой внутренних отношений в старом Московском государстве. Но в новом русском государстве, в государстве «петербургского периода», господствовала уже другая логика. Высшее сословие, подготовившее свое освобождение от обязательной службы, между прочим, с помощью дворцовых переворотов, в которых так деятельно участвовала дворянская гвардия, стало смотреть на обладание населенными имениями, как на такое право «шляхетства», которое вовсе не находится в причинной связи с его службой государству. И оно сделало все, от него зависящее, чтобы упрочить это право за собою и отнять его у других сословий. Правда, в этом отношении его усилия увенчались почти полным успехом еще раньше, чем удалось ему раскрепостить самого себя. Если при Петре Первом позволено было купечеству приобретать населенные земли к фабрикам и заводам, то при Елизавете, указом 1746 г., предписано было «впредь купечеству... и архиерейским и монастырским слугам, и боярским людям, и крестьянам, и написанным к купечеству, в цех, також казакам и ямщикам и прочим разночинцам, состоящим в подушном окладе... людей и крестьян с землями и без земель (кроме тех, кому по Уложению и по указам поместья и вотчины и крепостных людей иметь велено) покупать во всем государстве запретить и крепостей оным нигде не писать».

Ко времени вступления на престол Екатерины II право приобретения земель, населенных крепостными, принадлежало почти исключительно потомственным дворянам. Почти одним только им принадлежало и право покупки крепостных без земли [1]).

Таким образом *суживался* круг тех лиц, которые могли быть *субъектами* крепостного права. Параллельно этому процессу шел процесс *расширения* круга тех лиц, которые могли стать *объектами*

этого права.

При первой ревизии записывались за разными лицами, т. е. закрепощались: 1) вольноотпущенные и бывшие кабальные люди, живущие на воле, негодные в военную службу; 2) малолетние, не помнящие родства ниже десяти лет (за теми, кто принимал их к себе для воспитания); 3) в помещичьих деревнях подкидыши и незаконнорожденные; 4) дети священнослужителей, не находившихся на действительной службе, а также излишние причетники и их дети (за тем «вотчинником», в имении которого они жили). Во время второй ревизии многие церковники тоже

[1]) См. *В, И, Семевский,* Крестьяне в царствование императрицы Екатерины II, СПБ., т. I, стр. 1—4.

попали, по свидетельству Татищева, в крепостную неволю к помещикам, за которыми записывались также дети отставных солдат, взятых на службу из помещичьих деревень и вернувшихся после отставки на родину. Наконец, число крепостных увеличивалось еще посредством закрепощения пленных, покупкою восточных инородцев и *раздачею* в неволю *бунтовщиков* [1]). Екатерина II уничтожила некоторые источники закрепощения. Так, при ней уже нельзя было закрепощать подкидышей, ходивших по миру сирот, детей церковнослужителей и т. п. [2]). Сохраняя свою свободу, все эти бедняки становились «людьми среднего рода». Если этим исполнялось обещание Екатерины позаботиться о создании у нас третьего сословия, то зато указом 1783 года та же государыня закрепостила крестьян в Малороссии и в слободской Украине [3]). Но это еще не все. В XVIII веке еще более усилилась и «без того уже большая власть помещиков над их рабами».

В 1726 году у крестьян было отнято право самовольно уходить на промыслы. В следующем году они утратили право определяться без согласия помещиков в военную службу. В 1732 году правительство разрешило помещикам переселять своих крестьян из уезда в уезд. В 1741 г., по восшествии на престол Елизаветы, приказано было не приводить крепостных к присяге, чем окончательно порвалась, по справедливому замечанию одного нашего исследователя, всякая непосредственная связь центральной власти с миллионами помещичьих подданных. В 1747 году помещики получили разрешение продавать своих крепостных в рекруты, однако с обязательством, — казна и тут не позабыла своего интереса, —

[1]) Там же, т. I, стр. 616—617. [2]) Там же, стр. 15.

[3]) У гр. А. Толстого Вольтер и «Дидерот» учтиво писали Екатерине, что при ней на диво процветает порядок, —

Лишь надобно народу,
Которому Вы мать,
Скорее дать свободу,
Скорей свободу дать.
Она им возразила:
«Messieurs, vous me comblez»
И тотчас прикрепила Украинцев к земле.

Так оно и было. Екатерина же раздала своим фаворитам до 400.000 ревизских душ. Орловы получили 25.500 д., Г. Потемкин — 21.540, Завадовский — 8.700, Зорич — 13.000, Пл. Зубов — 13.600, Румянцев-Задунайский — около 20.000, гр. Н. И. Панин — 8.400 (*В. И. Семевский,* назв. соч., т. I, введение, стр. XXVI).

платить за проданных подушные деньги. В 1760 году Елизавета, в видах колонизации Сибири, — опять казенный интерес! — позволила помещикам ссылать туда своих крестьян на поселение. Указом 1765 года либеральная корреспондентка Вольтера и «Дидерота» не только подтвердила это позволение, но еще дополнила его, предоставив помещикам право ссылать своих людей в каторжные работы и брать их, по своему усмотрению, назад. Таким образом, *казенный* интерес совсем отходил теперь на задний план перед *рабовладельческим.* Одновременно с дарованием помещикам этого невероятного права, запрещено было подавать челобитные императрице. Если это запрещение распространялось также на дворян и чиновников, то указ 1767 года имел в виду одних крепостных. Согласно этому указу, за подачу «недозволенных на помещиков своих челобитных, а наипаче Е. И. В-ву в собственные руки», крепостные подвергались наказанию кнутом и ссылке в Нерчинск, в каторжные работы, с зачетом помещикам в рекруты! Этим отнималась у крестьян последняя возможность найти законную защиту от притеснений помещиков. И надо заметить, что правительство очень хорошо понимало огромное значение указа 1767 года: оно распорядилось, чтобы его целый месяц читали в церквах по воскресеньям и праздникам [1]).

Все это резко противоречило просветительной философии XVIII столетия, сторонницей которой называла себя Екатерина, но, конечно, очень нравилось помещикам.

В последние годы своего царствования Екатерина II, по-видимому, старалась уверить себя и других в том, что положение крепостных в России вовсе не так дурно, как это говорят злонамеренные люди. Одно из ее сердитых замечаний на известную книгу Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву» гласит: «Лучшей судьбы наших крестьян у хорошего помещика нет во всей вселенной». Но сначала она была иного мнения на этот счет и не однажды задумывалась, если не об уничтожении, то о некотором ограничении крепостного права в России. Это доказывается как ее Наказом, так и тем, что она же побудила Вольно-Экономическое Общество поставить щекотливый для тогдашнего русского дворянства вопрос: «Что полезнее для общества, — чтоб крестьянин имел в собственности землю или токмо движимое имение, и сколь далеко его права на то или другое имение простираться должны?». Вопрос этот был совершенно равносилен вопросу о том, как далеко должны простираться права помещика на его «крещеную соб-

[1]) *В. И. Семевский,* там же, стр. 375, 376.

ственность». Побуждать к исследованию такого вопроса значило колебать, хотя бы только в теории, отношения, установившиеся между крестьянами и их помещиками. Екатерина, по ее собственному признанию обобравшая в своем «Наказе» «президента Монтескье» (да и одного ли Монтескье!), первоначально не прочь была несколько изменить эти отношения в пользу крестьян. Если она скоро отказалась от этой мысли, то это произошло вследствие сопротивления дворянства. Обязанная престолом дворянской гвардии, крайне практичная и не менее эгоистичная Семирамида нашла, что неблагоразумно было бы принимать такие меры, которые возбудили бы великое неудовольствие сословия, фактически державшего в своих руках судьбу всей страны. «Уговаривает помещиков освободить крестьян, — с иронией заметила она по поводу

книги Радищева, — да никто не послушает». Убеждение в том, что «никто не послушает», созрело в ней очень скоро и определило собою все последующее отношение ее к крестьянам [1]). По всему видно, что ей очень легко было отказаться от намерения облегчить участь <ре-постных «душ».

IV

Вопрос, поставленный Вольно-Экономическим Обществом по почину Екатерины II, совсем не был очередным вопросом в глазах русского дворянства и его идеологов.

От русских авторов получено было *только семь* ответов на него [2]). И *только один* из этих семи ответов удостоен был занесения в число конкурсных. К тому же автор этого ответа, А. Я. Поленов, учился за границей и, под влиянием западных идей, в значительной степени покинул точку зрения русского дворянина. Его ответ написан был таким языком, который не понравился Комитету Вольно-Экономического Общества, назначенному для пересмотра конкурсных сочинений, да, вероятно, и самой государыне. Некоторые члены названного комитета нашли в ответе Поленова «многие над меру сильные и по здешнему

[1]) Покойный И. И. Дитятин справедливо сказал, что Екатерина издавала жестокие указы против крестьян в такое время, когда «Наказ еще только писался». Крестьян, дерзнувших жаловаться на помещиков, предписано было «допрашивать под пристрастием, кто им челобитные писал и сочинял»: По этому поводу тот же И. И. Дитятин с горечью напоминает, что в «Наказе» Екатерина очень красиво высказалась против пытки («Статьи по истории русского права», СПБ. 1896 г., стр. 363).

[2]) Всех ответов было 162: 129 немецких, 21 французский, 1 голландский, шведский и 3 латинских.

состоянию неприличные выражения». Еще бы не так! А. Я. Поленов писал, например, что русские крепостные, лишенные почти всех «приличных человеку качеств», не могут даже измерить величину своего несчастия. По его словам не было людей, находившихся в более бедственном положении, чем наши крестьяне, «которые, не имея ни малой от законов защиты, подвержены всевозможным, не только в рассуждении имения, но и самой жизни, обидам, и претерпевают беспрестанные наглости, истязания и насильства, от чего неотменно должны они опуститься и придти в сие преисполненное бедствий, как для их самих, так и для всего общества, состояние, в котором мы их теперь действительно видим». Происхождение крепостного права и вообще рабства объясняется, по мнению А. Я. Поленова, только «насильственным действием войны», так как люди не могут добровольно подвергать себя «столь жестокому жребию». Само по себе мнение это еще не заключало в себе чего-нибудь совершенно неслыханного в среде европеизованного русского дворянства. Уже Татищев хорошо понимал, как трудно оправдать невольничество с точки зрения «естественного закона». Но худо было то, что неосторожный Поленов непосредственно связывал «жестокое право войны» с описанным у него бедственным положением русского крестьянства. А еще хуже, т. е. еще неприятнее для читателей рабовладельческого образа мыслей, было то, что он напоминал им о возможности крестьянского бунта. «Не без причины многие славные люди утверждают, — писал он, — что конечное угнетение не только вредно для общества, но и опасно». И он указывал на восстание илотов в Спарте, рабов в Риме,

казаков в Польше. Неудивительно, что его заставили переделать свой ответ и стереть с него краски, слишком яркие для непривычных глаз.

Однако не следует думать, будто практические предложения Поленова имели революционный характер. У него не было речи о полном уничтожении крепостной зависимости. Он требовал только отвода крестьянину достаточного земельного участка в наследственное владение, ограждения законом его движимой собственности, точного определения повинностей его в пользу помещика и предоставления ему права жалобы на притеснения со стороны этого последнего. К тому же окончательное решение по крестьянским жалобам должно было приниматься земским *дворянским судом,* в котором — по справедливому замечанию В. И. Семевского — крестьяне не нашли бы удовлетворения. В довершение этого Поленов рекомендовал большую осторожность в деле решения крестьянского вопроса. И тут он сам говорил языком охрани-

теля: слишком быстрые перемены опасны, так как «многими примерами. уже подтверждено, сколь далеко в подобных случаях простирается неистовство подлого народа». Вообще вся реформа совсем не имела в проекте Поленова принудительного характера: правительство приглашаюсь действовать на помещиков своим собственным примером, устроив на новых началах быт дворцовых крестьян [1]).

Это, кажется, довольно наивно. И тем не менее ответ Поленова не был напечатан даже в своем смягченном виде. Да и самому Поленову не давали потом хода по службе, несмотря на то, что правительство Екатерины II имело большую нужду в образованных людях. Оно и понятно.

Поленов составил очень умеренный план реформы. Но теоретическое обоснование его очень умеренного плана свидетельствовало о таком образе мыслей, который в самом деле был «неприличен по здешнему состоянию». Как уже сказано выше, Поленов в значительной степени покинул дворянскую точку зрения. Долго прожив на Западе, он стал рассуждать, как рассуждали там сознательные представители третьего сословия. Они тоже побаивались «неистовства подлого народа» и тоже готовы были рекомендовать осторожность z области общественной и политической реформы. Но идеологи русского дворянства все-таки никогда не столковались бы с ними. Теоретики третьего сословия отвергли то, что было аксиомой в глазах русских дворян: святость крепостного права. В. И. Семевский приводит мнение Поленова, что не следует слепо подражать Западу. Но и это мнение не могло поднять его во мнении идеологов дворянства. Французские просветители тоже никогда не проповедовали слепого подражания одной страны другой, более передовой. Так, они многого не одобряли в английских учреждениях и нравах. Но, отвергая слепое подражание, они выдвигали такие принципы, во имя которых приходилось осудить не одно только крепостное право. Поленов тоже ссылался на подобные принципы. Он писал, что утверждаться следует «единственно на здравом рассуждении и на правилах человеколюбия, не упущая притом никогда из глаз общенародную пользу» [2]). Но «утвердившись» на здравом рассуждении и имея в виду общенародную пользу, легко можно было додуматься до таких выводов, от которых затрещал бы весь наш тогдашний общественный порядок. Это чувствовали идеологи дворянства.

[1]) *В. И. Семевский,* Крестьянский вопрос в России в XVIII и первой половине XIX века. СПБ. 1888 г., т. I, стр. 51—53 и 81—87.
[2]) *В. И. Семевский,* там же, стр. 84.

263

В интересах дворянской идеологии гораздо лучше было «утвердиться» на таком рассуждении, исходной точкой которого была бы уверенность в необходимости сохранения власти помещиков над крестьянами.

Выше, в главе об изящной литературе, я уже указал на то, как сильна была эта уверенность у А. П. Сумарокова. Этот искренний обличитель неправды, гремевший против «доморазорителей» и ехидно запоминавший помещикам о том, что не следует «торговать людьми» и «сдирать кожу с крестьян», поспешил написать свой ответ на вопрос, поставленный Вольно-Экономическим Обществом. Он говорил в своем ответе: «Канарейке лучше без клетки, а собаке без цепи; однако одна улетит, а другая будет грызть людей; так одно потребно для крестьянина, а другое ради дворянина». Поэтому, остается решить, что́ же нужнее для «общего блаженства». И, конечно, у Сумарокова выходило, что общее блаженство предполагает наличность клетки для птицы, цепи для собаки и крепостной неволи для крестьянина. Ту же уверенность высказал он в своих замечаниях на «Наказ» Екатерины II. «Сделать русских крепостных людей вольными нельзя, — говорил он в одном из них; — скудные люди ни повара, ни кучера, ни лакея иметь не будут и будут ласкать слуг своих, пропуская им многие бездельства, дабы не остаться без слуг и без повинующихся им крестьян; и будет ужасное несогласие между помещиками и крестьянами, ради усмирения которых потребны многие полки, и непрестанная будет в государстве междоусобная брань, и вместо того, что ныне помещики живут покойно в вотчинах, вотчины их превратятся в опаснейшие им жилища; ибо они будут зависеть от крестьян, а не крестьяне от них».

Я полагаю, что «утвердившись на здравом рассуждении», Поленов без труда опроверг бы доводы Сумарокова. Сама Екатерина легко справлялась с ними... в теории. Словам Сумарокова о том, что крестьянская вольность сделала бы опасным пребывание помещиков в своих деревнях, между тем как теперь они живут в них покойно, она остроумно противопоставила краткое, но убедительное замечание: «и бывают (помещики. — *Г. П.*) зарезаны отчасти от своих» [1]). Хотя письмо Сумарокова было только приобщено к журналам Вольно-Экономического Общества и, по выражению В. И. Семевского, осталось без последствий, однако его взгляд на отношения крестьян к помещикам был взглядом огромнейшего большинства российского «шляхетства».

[1]) *В. И. Семевский,* там же, стр. 48, 43 и 44.

264

В архиве Вольно-Экономического Общества В. И. Семевский нашел еще два неизданных русских ответа на поставленный этим обществом вопрос. Почтенный исследователь отзывается о них с большим пренебрежением. Один из них, приписываемый В. И. Семевским некоему Степанову, распространявшемуся на ту же тему в Комиссии Уложения, заслуживает внимания разве лишь вследствие той неприязни, с которой автор его говорит о крестьянах. Но другой, вышедший из-под пера конюшенного комиссара С. Александрова, при всей своей безграмотности, свидетельствует о

сравнительном вольномыслии своего автора. Как догадывается В. И. Семевский, С. Александров желал предоставления крестьянам права наследственного владения своими земельными участками за определенные законом повинности. У нас есть все основания думать, что большинство членов Вольно-Экономического Общества считало такую меру вредным и опасным новшеством.

V

Сумароков понимал, что нельзя говорить о «блаженстве» собаки, посаженной на цепь, или канарейки, заключенной в клетку. Но он и его единомышленники, имя которых было легион, питали наивное убеждение в том, что «блаженство» крестьянина обусловливается именно его закрепощением. Они противоречили сами себе; но, по-видимому, не замечали этого. Их сословная точка зрения делала их неспособными логично рассуждать об этом предмете. До какой степени это так, показывает пример А. Т. Болотова, известные записки которого содержат в себе целую массу драгоценного материала для характеристики русской дворянской психологии XVIII столетия.

В 1772 г. Болотову пришлось проездом остановиться в однодворческом селе Лысых Горах. Как человек наблюдательный и хороший сельский хозяин, он не упустил случая присмотреться к быту землепашцев, свободных, по крайней мере, от помещичьего ига. Но то, что увидел он в Лысых Горах, вызвало с его стороны только негодование и насмешки. Во-первых, его неприятно поразило, что село обстраивалось без всякого плана; «Там двор, здесь другой, инде дворов пять в кучке, инде десяток. Те туда глядят, сии сюда, иной назад, другой наперед, иной боком». Не приглянулась ему и стройка отдельных дворов: «Дворы их истинно грех и назвать дворами. Обнесены кой-каким плетнишком и нет ни одного почти сарайчика, ни одной клетки, да и плетни — иной исковерканной, иной на боку, иной избоченяся стоит, и так далее».

Словом, наш рачительный помещик нашел, что однодворцы страдают недостатком хозяйственности. Допустим, что, по той или по другой причине, это отчасти так и было, хотя сам же Болотов сообщает нам, что все эти будто бы плохие хозяева имели большие запасы хлеба, а также дома, крытые дранью, т. е. такие, каких, наверно, не было в его крепостных деревнях. Но спрашивается: какое же средство придумал он для внесения порядка в жизнь богатого и свободного села? Очень простое: лишение его свободы и розги!

«Взирая на сие и крайне негодуя, сам себе я говорил: «О, талалаи, талалаи [1]) негодные! Некому вас перепороть, чтоб вы были умнее, и строились бы и жили бы порядочнее. Хлеба стоит у вас скирдов целые тысячи [2]), а живете вы так худо, так бедно, так беспорядочно!» Вот следствия и плоды безначалия, мнимого блаженства и драгоценной свободы. Одни только кабаки и карманы откупщиков наполняются вашими избытками, вашими деньгами, а отечеству один только стыд вы собою причиняете» [3]).

Когда Болотову случалось бросить взгляд на свое собственное положение, он считал себя обязанным поблагодарить небо за то, что оно наградило его крепостными работниками. «Без мала 600 человек обоего пола равных мне тварей состояло в моих повелениях, —

благочестиво размышлял он; — все они на меня работали и трудами своими и потом меня кормить, поить, одевать, обогревать, успокоивать и тысячу увеселений мне приносить старались. Не великая ли то была для меня выгода и не должен ли я был благодарить за то Бога» [4]).

Выгода, точно, была великая, и за нее ему, в самом деле, можно было возблагодарить создателя. Но надо прибавить, что наш благочестивый автор очень часто распространяется в своих записках о глупости, грубости и злонамеренности «подлого народа», т. е. тех самых ему *«равных тварей»,* которые кормили, поили, одевали его и проч., и проч., и проч.

Болотов был человек образованный. Он знал иностранные языки, интересовался философией и даже сам писал сочинения, которые, правда, больше по недоразумению назывались философскими. Положим, в философии он придерживался учения «г. Крузия»; Хр. Вольф казался ему, как и его учителю, г. Крузию, слишком смелым, а фран-

[1]) Талалаи — очевидно, местное слово, имеющее пренебрежительное значение.

[2]) Значит, не так уже плохо было их хозяйство!

[3]) «Жизнь и приключения Андрея Болотова, описанные им самим для своих потомков». СПБ. 1872 г., т. III, стр. 79—80.

[4]) Там же, стр. 103.

цузские энциклопедисты представлялись «извергами и развратителями человеческого рода». Он «содрогнулся», узнав, что один из его знакомых читал книгу «известного безбожника Гелфеция». Но этим доказывается только то, что последовательному идеологу русского дворянства в самом деле невозможно было столковаться с идеологами третьего сословия (конечно, передовых стран Европы). А нашего обличителя свободных «талалаев» все-таки следует признать одним из плодов Петровской реформы, духовного сближения России с Западом. Болотов был несравненно просвещеннее многих и многих русских дворян своего времени. И если этот, на свой лад просвещенный, человек видел в крепостной неволе вернейшее средство внесения порядка в жизнь трудящейся массы, то можно вообразить, каковы были взгляды непросвещенной части «шляхетства», тех многочисленных представителей благородного сословия, которые ровно ничего не читали и ровно ничем не интересовались, кроме собственного благополучия.

Догмат о неприкосновенности крепостного права провозглашался нашим дворянством XVIII века при каждом удобном случае. Депутаты, посланные дворянами в Комиссию Уложения, не допускали и мысли об *отмене* этого права. Больше того: они не хотели ничего слышать даже о каком-нибудь *ограничении* власти помещика над крестьянами. Вот несколько примеров.

В заседании *29* апреля 1768 г. депутат от г. Углича И. Сухопрудский позволил себе сказать, что крестьянские побеги происходят иногда вследствие притеснения помещиками своих крепостных и что поэтому «почитает он за нужное сделать в рассуждении сего подробное ограничение» (помещичьего произвола. — *Г. П.*). В ответ на это дворянский депутат от обоянского дворянства М. Глазов стал доказывать, что собственный интерес помещиков достаточно побуждает их заботиться о благосостоянии своих крестьян. Что же касается ограничения прав помещиков над крестьянами, то он «сообщил» (по выражению дневной записки), «что премудрый

монарх Петр Великий узаконил помещикам за своих подданных во всем ответствовать, да и ее И. В., ныне благополучно царствующая государыня Екатерина Премудрая, сие же учредить желает». Это значило, что полнота ответственности помещика за своих крестьян исключает всякую возможность ограничения его власти над ними [1]).

[1]) «Сборник Императорского Русского Исторического Общества», т. 32, стр. 49. Ср. в 19-м приложении к этому тому (стр. 390—391) мнение Глазова, поданное в виде записки.

267

Мнение Сухопрудского выражено было довольно неопределенно. Определеннее его высказался в пользу крестьян депутат от иноземцев и однодворцев казанской провинции В. Кипенский. В заседании 2 мая он подал записку, s которой предложил определить законом крестьянские повинности, «расположив их на три части: первое для платежа государственных податей, второе для помещиковых работ, третие для своего пропитания и экипажа». Против его предложения ополчился тот же обоянский депутат Глазов, решительно заявивший в следующем заседании, что такое распределение работ противно *чести и спокойствию дворянства* [1]).

«Спокойствие» дворянских депутатов было еще сильнее нарушено выступлением одного из представителей их собственного сословия, депутата от дворян Козловского уезда Григория Коробьина. В заседании 5 мая он повторил сказанное Сухопрудским о том, что крестьянские побеги вызываются помещичьими притеснениями (он сказал: «правлением»), и предложил оградить законом имущественные права крестьян. Это его выступление вызвало большой переполох. Возражая ему, кн. М. М. Щербатов, — едва ли не самый умный и образованный, изо всех тогдашних идеологов дворянства, — давал почтенному собранию понять, что «человеколюбие и красноречие» Коробьина могут произвести «вред». Другой дворянский депутат иронически отзывался о похвальном намерении Коробьина «осчастливить государство», прибавляя, что намерению этому суждено остаться «единою мечтою». Третий утверждал, что Коробьин стремится «к снисканию только похвал от людей легкомысленных». А знакомый уже нам обоянский дворянский депутат Глазов открыл, что Коробьин, представлявший козловских дворян, «от собратий того города дворянства и выбран не бывал», а получил свое депутатство по доверенности от настоящего Козловского депутата [2]). Хотя открытие это и не лишило Коробьина его права представительства, однако оно важно для нас в двух отношениях.

Во-первых, следствие, произведенное М. Глазовым о происхождении «депутатства» Коробьина, показывает, как сильно было у дворянских депутатов желание дойти крестьянского защитника, если не мытьем, то катаньем.

[1]) Курсив мой. См. там же, стр. 400 и 402. В предисловии к этому тому *А. Сергеевич* говорит: «Заслуга первого слова в их (крепостных крестьян. — *Г. П.*) пользу принадлежит консисторскому чиновнику и однодворцу» (стр. X).

[2]) Там же, стр. 420.

268

Во-вторых, открытие Глазова естественно вызывает вопрос: был ли бы Коробьин выбран козловскими дворянами, если бы они знали его образ мыслей? Глазов утверждал, что нет, и ссылался на то, что козловские дворяне просили своего «бывшего» депутата, т. е.

депутата, передавшего свое полномочие Коробьину, хлопотать в Комиссии, «дабы у помещиков прежняя привилегия неотъемлема была». Вероятно, делая эту ссылку, Глазов имел в виду наказ козловского дворянства, в самом деле не оставляющий никакого сомнения насчет крепостнических стремлений его составителей.

В наказе нет ни одного слова об ограничении власти помещиков над крестьянами, но зато в нем говорится о том, чтобы затруднить «подлым людям» подачу «доношений на знатных и заслуженных дворян» [1]). Этого достаточно, чтобы заставить нас согласиться с Глазовым: Коробьин, действительно, не выражал взглядов тех, кого он представлял в Комиссии. Он был своего рода отщепенцем в дворянской среде. Недаром, защищая интересы крестьян в другом заседании той же Комиссии, он сказал, что «имя свободы причиняет пользу». Козловское шляхетство думало совсем иначе [2]).

VI

Но чего же хотел он? К чему сводились его собственные требования? В сущности к очень немногому. Подобно В. Кипенскому, Коробьин хотел лишь законного ограждения крестьянских прав. Да и тут он не решился идти до конца.

«Надлежит предписать законами, — говорил он, — коликую власть имеют помещики над имениями своего крестьянина. Данная нами торжественная присяга, собственная польза дворян, благоденствие крестьян и умножение хлебопашества сего от нас требуют» [3]).

Итак, нужды земледелия, собственный интерес помещиков и данная депутатами присяга требовали законного ограждения *имущественных* прав крепостных крестьян. Согласно проекту Коробьина крестьянин должен был платить помещику «мерную» (умеренную. — *Г. П.*) дань,

[1]) Там же, т. 68, стр. 420.

[2]) Под наказом козловского дворянства, «вместо дворянина Алексея, Григорьева сына, Фролова, за неумением его грамоте, подпорутчик Изосим, Иванов сын, Ремезов по его прошению подписался» (стр. 421). Там же есть еще два подобных случая. На что была свобода безграмотным эксплуататорам чужих <душ»?

[3]) «Сборник Имп. Русского Историч. Общества», т. 32, стр. 408.

которая взималась бы деньгами, «произрастениями» или же «обоими вкупе». При этом помещики должны были бы брать с крестьян такие поборы, которые «менее мужика отлучают от его дома и хозяйства». А что же говорил проект Коробьина об ограждении личности крестьянина? Ничего! Власть помещика над крестьянином «остается полная, как и ныне. Крестьянин ему (помещику. — *Г. П.*) пребывает крепостным» [1]). Это была вопиющая непоследовательность, которую поспешили, разумеется, отметить защитники дворянства. М. М. Щербатой выразил ироническое удивление тому, что, насколько Коробьин заботился об *имуществе крестьян,* настолько же мало прилагал «тщания об избавлении их от утеснения, которое может произойти от наказаний». По замечанию Щербатова, *имение* крестьянина осталось бы на деле подвластным тому, кому подвластно его *тело*. Это было как нельзя более справедливо. Но тем более характерно, что даже непоследовательный проект Коробьина вызывал такое сильное волнение в среде дворянских депутатов: он коснулся того, чего, по их убеждению, никто не должен был касаться, чтобы не нарушить «общего блаженства».

Может быть, еще более замечательно то, что указанная непоследовательность не была личным промахом Коробьина. Ею погрешил и другой дворянский защитник крестьянских интересов — депутат от шляхетства екатерининской провинции Яков Козельский.

Его мнение, как и мнение Коробьина, состояло в том, что закон должен точно определить размеры крестьянских повинностей как по отношению к помещику, так и по отношению к государству. В некоторых отношениях требования Козельского были определеннее, нежели требования козловского депутата [2]). Но и Козельский находил, что крестьяне должны быть по-прежнему «крепки» своим помещикам и оставаться под их «наблюдением». Таким образом, личная зависимость крестьян от помещиков была тем порогом, о который споткнулась мысль даже самых передовых и наиболее расположенных к трудящейся массе дворянских депутатов. Весьма показательное явление.

Свою решительную оппозицию всяким попыткам ограничения помещичьей власти над крестьянами некоторые дворянские депутаты оправдывали, между прочим, тем доводом, что «вольность» сколько-нибудь «прилична нижнему роду» только в государствах с «ограниченным правлением». Это сказал возражавший Коробьину депутат Протасов. Другие

[1]) Там же, стр. 410. — В своем докладе Коробьин часто говорил: «Крестьяне, т. е. рабы», или: «рабы, т.-е. крестьяне».

[2]) См. «Сборник Имп. Русского Историч. Общества», т. 32, стр. 495.

выдвигали довод от крестьянской темноты. Так, во время обсуждения проекта прав благородных кн. Щербатов красноречиво говорил на ту тему, что российский народ еще нуждается в просвещении, которое может быть получено им только от помещиков. Немаловажную роль играл и аргумент от особенностей нашего национального «умоначертания». Депутаты, проводившие этот аргумент, видели особенность российского «умоначертания» в том, что в нашем отечестве вообще неприменимы свободные учреждения. Поистине «блаженной» страной представлялась Россия этим господам!

VII

Помещики не только защищали *свои собственные* права над имуществом и личностью крестьянина. Их «умоначертание» вообще несогласимо было с понятием о свободе, хотя бы и очень ограниченной, крестьянина, хотя бы и не помещичьего. С этой стороны поучительна судьба одной части выработанного Унгерн-Стернбергом проекта о «государственных родах».

Часть эта, касавшаяся «разных родов крестьянства», снабжена была примечаниями депутата от дорогобужского дворянства Рыдванского, который выступает в них перед нами последовательным и ярким идеологом всероссийского крепостничества.

По проекту Унгерн-Стернберга, вольные [1]) крестьяне вполне сохраняли свои права, — «они совершенно вольные люди», — и могли свободно переходить из одного места в другое, по крайней мере, в пределах своей провинции.

Это место проекта противоречило «умоначертанию» Рыдванского. В своем примечании на него он писал: «В том только

их вольность (состоит — *Г. П.*), что они переходят с места на место. Для меня мнится, сия вольность ни мало не полезна, а разрушает благоденствие народа, ибо для приведения земледельства в цветущее состояние стараться должно непосредственно прилепить их к земле» [2]).

Далее проект Унгерн-Стернберга признавал за государственными крестьянами право продавать и закладывать свои земли «яко сущее свое имение».

[1]) Вольными еще были тогда крестьяне в Малороссии, в Финляндии и некоторых принадлежавших России островах Балтийского моря.

[2]) «Сборник Имп. Русского Историч. Общества», т. 36, стр. 254.

Эта свобода сделок ограничивалась тем постановлением, что земли государственных крестьян могли быть продаваемы и закладываемы только крестьянам того же «рода». Но Рыдванский не удовольствовался и этим ограничением. Он доказывал, что государственные крестьяне пользовались *казенными* землями и «собственных земель сии крестьяне никогда не имели и в наследство не оставляли: продавать и закладывать ни в какое время дозволено не было, но еще и указами разных времен запрещено. Следственно, земли их не потомственные и не крепостные [1]), а данные им для пропитания и умножения земледельства» [2]).

Читатель, разделяющий народнические взгляды и убежденный в преимуществах общинного землевладения, скажет, пожалуй, что *в* данном случае Рыдванский отстаивал хорошее дело, так как старался помешать возникновению в среде государственных крестьян частной собственности. Не вступая с таким читателем в спор, я приглашу его отдать должное той похвальной логичности, которой отличалась аргументация Рыдванского.

В проекте Унгерн-Стернберга государственные крестьяне могли совершать денежные займы. Но дорогобужский депутат восстал и против этого.

«Крестьянам между собой в долг деньги забирать по законам далее пяти рублей не позволено, — писал он, — и то с позволения своих начальников, сим прекращается вольность от мотовства» [3]).

Унгерн-Стернберг хотел предоставить государственным крестьянам право пользоваться своими лесами, «яко настоящею собственностию», с тем, чтобы лес, годный для адмиралтейства, был охраняем в интересах государства. Понятно, что логичный Рыдванский и на этот предмет взглянул со своей собственной точки зрения. Он возразил, что государственные крестьяне пользуются «государевым» лесом, и потому

[1]) Т. е., очевидно, не приобретенные составлением *купчей крепости.*

[2]) Там же, стр. 249. Надо признать, что еще в Московском государстве прочно установился тот взгляд на земли государственных крестьян, который был высказан Рыдванским. Но фактически в некоторых местностях России крестьяне эти до половины XVIII века располагали своими землями, как своею собственностью. Межевая инструкция 1754 г. отнимала у крестьян это право. (Ср. предисловие к 123 тому «Сборника Имп. Русск. Исторического Общества», стр. III, IV, XIV и XV). В духе этой инструкции, стремившейся довершить экспроприацию крестьян государством, высказался и Рыдванский. В сравнении с ним Унгерн-Стернберг представляется либеральным человеком.

[3]) Там же, стр. 250.

соглашается признать за ними только известное право пользования им, отнюдь не право собственности на него [1]).

Взгляды Рыдванского получили крайнее свое выражение в разногласии между ними и Унгерн-Стернбергом по вопросу о половниках. Унгерн-Стернберг предоставлял государственным крестьянам право держать у себя половников и отдавать им свои земли. Рыдванский утверждал, что такое право пошло бы вразрез со всем строем нашей жизни. Он писал:

«Половников под самодержавною властию не только государственные крестьяне, ниже дворяне держать не могут. А должен каждый мыслящий о пользе своего отечества стараться, такой шетающий (sic!) народ по всем местам принудить их иметь навсегдашнее пристанище и заставить их быть хозяевами и иметь свои домы и потомков их удержать на одном месте, где лучше производить хлебопашество».

Членам Комиссии (в данном случае подкомиссии, или «частной комиссии») нетрудно было согласиться с Рыдванским: в их среде преобладали те же крепостнические понятия. Вот почему в окончательном проекте частной комиссии о разборе родов государственных жителей мы читаем:

«Государственные поселяне суть те, которые принадлежат (sic!) только государству и имеют земли, данные им от правительства в вечное и потомственное владение для собственного их прокормления» [2]).

Мы знаем, что после Смуты, служилые люди Московского государства прежде всего позаботились о том, чтобы прикрепить крестьян к земле и утвердить свою власть над ними. В екатерининской Комиссии замечается то же стремление служилого сословия, успевшего стать «благородным». Оно всеми способами защищает свою власть над крестьянами; оно старается окончательно прикрепить к земле даже ту часть крестьянской массы, которая еще не попала под его руку, и объявляет эту часть государственным имуществом («принадлежат только государству»), отнимая у нее не только право перехода и право собственности на ее земли и леса, но и право свободного распоряжения ее движимостью.

В окончательном счете депутаты, посланные дворянством в Комиссию Уложения, соглашались только на две меры в пользу крепостных: на запрещение продажи их в одиночку и на отдачу в опеку имения

[1]) Там же, стр. 250, 251, 252.
[2]) Там же, стр. 278, ср. 367.

владельцев, слишком притеснявших своих крестьян. В действительности ничего не вышло даже и из этой крошечной готовности их к уступкам: розничная продажа крепостных, равно как свирепые притеснения их «дикими помещиками», продолжались вплоть до уничтожения крепостного права в XIX веке.

Мы видели, что благородное сословие энергично проводило в Комиссии Уложения мысль о полном закреплении «казенных» крестьян государству. Однако его еще более привлекала идея перехода всего крестьянского населения империи под власть помещиков. И когда «секуляризация» духовных вотчин «освободила» около миллиона крестьян мужского пола [1]), в его среде, естественно, ожила старая мечта служилого сословия о присвоении себе этих рабочих рук. Идеологи дворянства принялись доказывать, что «секуляризация» сильно повредила благосостоянию бывших монастырских крестьян. Для его поправления они,

разумеется, не нашли другого средства, кроме отдачи бывших монастырских вотчин в аренду или продажи их в собственность дворянам.

Сделать это советовали еще составители некоторых дворянских наказов. Дворяне Крапивенского уезда предлагали продавать крестьян секуляризованных имений по 30 рублей за душу мужского пола, отчего должно было последовать, как уверяли они, казне приращение, а «целому обществу польза». Просвещенный и красноречивый кн. Щербатов дороже ценил крестьянские души. В 1787 г. он писал, что надо распродать все государственные и экономические [2]) деревни, «считая кругом по 80 руб. за душу». Для облегчения дворянам этой сделки он великодушно предоставляет им право уплачивать только проценты с продажной цены приобретаемых имений.

До поры до времени проекты эти оставались неосуществленными. Екатерина II предпочла сохранить «экономических» крестьян в непосредственной крепостной зависимости от государства. Притом, раздав своим любимцам, тоже принадлежавшим к благородному сословию, целые сотни тысяч крестьянских душ, она имела все основания думать, что ею и без того уже достаточно сделано для «увеселения» этого сословия. Зато при Павле 50.000 душ отчислено было из экономического ведомства для составления «командорственных» имений кавале-

[1]) В начале 1760-х годов их считалось 991.761 душа мужского пола.

[2]) *«Экономическими»* стали называть крестьян бывших духовных вотчин, потому что ими заведовала *«Коллегия Экономии»*.

рам российских орденов, а при Александре I несколько экономических волостей Новгородской губернии обращено было в военные поселения. Как уже замечено мною выше, «эмансипация» церковных крестьян означала лишь то, что, быв прежде собственностью церкви, они перешли в собственность государства. И было вполне естественно, что собственностью этой по своему усмотрению располагали верховные, носители государственной власти.

VIII

В. И. Семевский говорит, что наше дворянство опасалось, как бы за эмансипацией «крестьян духовного ведомства не последовало освобождение и помещичьих» [1]). Этим он объясняет отрицательное отношение дворянских публицистов к тому, как устроена была судьба экономических крестьян. Но их отрицательное отношение достаточно объясняется только что указанным стремлением дворянства присвоить себе крестьян бывших духовных вотчин. Если оно, в самом деле, опасалось того, что «эмансипация» будет распространена также и на помещичьих крестьян, то их опасение едва ли было сколько-нибудь значительно. Разумеется, Екатерина II не решилась бы секуляризовать духовные вотчины, если бы эта ее мера вызывала ропот в дворянской среде. Но все, известное нам о ходе реформы, показывает, что дворянство, наоборот, охотно ее поддержало. И только потому, что дворянство поддержало ее, Екатерина получила возможность спокойно пренебречь глухой оппозицией духовенства.

В послепетровской Руси вопросом о секуляризации церковных имуществ занималось еще правительство Елизаветы. Самым

энергичным защитником прав церкви выступил при ней А. Мациевич [2]). По поручению духовенства он ездил в 1758 г. в Петербург, чтобы там сказать свое слово против задуманной правительством меры. От его поездки ожидали весьма многого. Провинциальное духовенство говорило ему: «Там вас (вместо новоявленного чудотворца приимут и во сладость обо всем послушают: причина сему не токмо у нас здесь, но и там отличное об вас умение» [3]). Известно, что ожидание это не оправдалось. В Петербурге не были отличного мнения о Мациевиче. Там не нравился

[1]) *В. И. Семевский,* Крестьяне в царствование императрицы Екатерины II СПБ. 1901, т. II, стр. 274.

[2]) Преемник св. Дмитрия на ростовской епископской кафедре.

[3]) *Бильбасов,* История Екатерины II, Лондон 1895 г., т. 2, стр. 230.

тон, которым он говорил о правах церкви. Дело дошло до того, что новоявленный чудотворец получил от синода выговор за свои «продерзости и противные ее И. В-ва указам проступки» [1]). Однако выговор, полученный Мациевичем, не имел на него успокоительного влияния. Когда дело секуляризации перешло в энергичные руки Екатерины И, ростовский митрополит опять стал протестовать. Но при этом показал себя весьма неловким и мало находчивым.

При описи монастырских имуществ было, — как это и следовало ожидать, — много злоупотреблений. Опись часто производилась офицерами, что также было в порядке вещей. Наконец, вполне естественно было и то, что духовным лицам не нравилась развязность, обнаруженная в этом случае представителями военной силы. Но как же выразил А. Мациевич это вполне естественное неудовольствие духовенства?

Он писал: «И так по сему следует непременно показанным офицерам в алтарь входить и иногда священных сосудов касаться, чего нам закон православный издревле... правилами и узаконениями церковными запрещает».

Таким доводом трудно было подействовать на матушку-государыню, состоявшую в переписке с Вольтером.

Далее, ростовский митрополит утверждал, что вследствие отобрания в казну монастырских имуществ, не останется на Руси и следа от былого ее благочестия. «Разве тылько в памяти многим будет и в сожалении, яко в толь древнем и благочестивом государстве, на весь свет славном и знатном, вдруг не от татар, и ниже от иностранных неприятелей, но от своих домашних, благочестивыми и сынами церкви нарицающихся, церковь и благочестие истребилося» [2]).

Это было тоже неловко придумано. Таким аргументом можно было рассердить Екатерину II, но решительно невозможно было заставить ее отказаться от своего плана.

В теоретическом отношении аргументация Мациевича поражает своей полной нищетой: она ровно ничего не прибавила к той совокупности идей, которая обращалась тогда в европеизованной части русского населения. И если она все-таки может и должна привлечь к себе внимание историка русской общественной мысли, то единственно по-

[1]) *Н. И. Барсов,* Арсений Мациевич, митрополит ростовский, в 1762-1763 г.г. «Русская Старина», т. XV, стр. 754.

[2]) *Н. И. Барсов,* там *же,* стр. 745.

тому, что ее нищета показывает, как слаба была позиция власти духовной в этом ее столкновении со светской властью [1]).

Екатерина оставила всякую мысль об улучшении участи помещичьих крестьян только потому, что боялась дворянства. Вступив на престол, она сначала побаивалась также и духовенства. Поэтому она отменила изданный еще Петром III (21 марта 1762 г) указ об учреждении Коллегии Экономии для заведования духовными имуществами. Но очень скоро она увидела бессилие духовенства и со свойственной ей энергией приступила к его экспроприации.

Барсов утверждал, что, за исключением Дмитрия Сеченова, все главнейшие представители русской церковной иерархии были на стороне Арсения Мациевича [2]). Если это так, то тем более знаменательно, что, как выражается г. Бильбасов, Синод головою выдал Арсения Екатетерине: «12 марта Синод получил доношение Арсения, заслушал его и 13 марта постановил: «В доношении ростовского митрополита все, что ни есть, следует ко оскорблению Ее Императорского Величества, за что он великому подлежит суждению» [3]). Но высшее духовное учреждение и тут не решилось поступить самостоятельно. Оно передало Арсения «в Высочайшее благорассмотрение и высокомонаршую Ее Императорского Величества беспригляднуюмилость».

[1]) Кроме доводов от интереса благочестия, Арсений не позабыл и о доводах от экономического интереса духовного сословия. Во втором своем «доношении» он указывал на то, что отобрание крестьян у духовенства заставит это последнее прибегать к наемному труду. А это не с ответствует условиям нашей хозяйственной жизни. У нас «не Англия». Освобожденный крестьянин будет слишком дорога продавать свою рабочую силу, требуя «за малое дело вдвое и втрое денег» Конечно, дворяне нашли бы этот аргумент вполне убедительным, если бы речь шла об их собственных крестьянах, но, выдвинутый на защиту интересов духовенства, он, как видно, не произвел на них впечатления.

[2]) «Русская Старина», т. XV, стр. 737.

[3]) *Бильбасов,* там же, та же страница. Надо заметить, что, отменяя, по своем восшествии на престол, указ Петра III об учреждении Коллегии Экономии, Екатерина уверяла в августе 1762 г.): «Не имеем мы намерения и желания присвоить себе церковные имения, но только имеем данную нам от Бога власть предписывать законы о лучшем их употреблении во славу Божию». Это было столько же благочестиво, сколько и двусмысленно. Возможно, что Барсов был прав, утверждая, что когда Арсений выступил с протестом против секуляризации, — к которой Екатерина приступила уже в следующем году, — он отнюдь не думал расходиться с видами императрицы. И как нельзя более характерен для Екатерины II тот факт, что указ от 12 августа 1762 г., которым она отменила указ Петра III об отобрании духовных вотчин, написан был «под диктовку Арсения» *(Барсов).*

Екатерина ответила на это, что ею усмотрены в доношениях Арсения «превратные и возмутительные истолкования многих слов св. Писания и книг святых» [1]). Вследствие этого благочестивая корреспондентка Вольтера для «охранения своих верноподданных всегдашнего спокойства» (а также и для отклонения от себя ответственности за желательный для нее исход дела. — *Г. П.*) благоразумно постановила предать Арсения суду... того же св. синода!

Арсений был приговорен к лишению клобука и сана и сослан в отдаленный монастырь на «крепкое смотрение». Екатерина запретила давать ему там чернила и бумагу, чтобы «невозможно было ему развращать ни письменно, ни словесно слабых и простых людей» [2]).

Ко всему этому следует прибавить, что на суде ростовский митрополит вел себя с большим смирением. Он заявил, что у него не было «и малейшего намерения сказать в своих «доношениях» что-нибудь оскорбительное для высшей власти, а если тем не менее в них что-нибудь «к оскорблению Ее Императорского' Величества имеется», то он, всесмиреннейше и всеподданнейше припадая к ногам Ее Императорского Величества, просит прощения и помилования» [3]). Никон вел себя не совсем так [4])...

Духовенство покорилось. Проницательная государыня уже заранее знала, что оно не может не покориться. Зная это, она сочла нужным высказать ему несколько истин, которые, наверно, были очень горьки для него, но очень полезны для напоминания ему об истинном соотношении русских общественных сил.

«Вы преемники апостолов, которым повелел Бог внушать людям презрение к богатствам и которые были очень бедны, — говорила она в своем обращении к Синоду. — Царство их было не от мира сего — вы меня понимаете? Я слышала эту истину из уст ваших. Как можете вы, как дерзаете, не нарушая должности звания своего и не терзаясь в совести, обладать бесчисленными богатствами, иметь беспредельные владения, которые делают вас в могуществе равными царям? Вы просве-

[1]) *Бильбасов,* назв. соч., т. II, стр. 239.

[2]) Там же, стр. 245.

[3]) Там же, стр. 244.

[4]) Остальные пастыри русской церкви вели себя еще смирней, нежели ростовский митрополит. Он был все-таки смелее их всех. Арсений родился во Владимире-Волынском, в «Польском государстве» как сообщает он в своем «Автобиографическом показании» («Осмнадцатый век», кн. II, стр. 361). Вероятно, впечатлениями, вынесенными им из Польши, изъясняется его, правда, очень слабая, попытка стать в независимое отношение к светской власти.

щенны: вы не можете не видеть, что все сии имения похищены у государства: вы не можете владеть ими не будучи несправедливы к нему». Если духовные пастыри в самом деле питают к ней те верноподданнические чувства, о которых они говорят, то они немедленно должны возвратить государству все то его имущество, которым они неправильно завладели. И с великолепнейшей иронией Екатерина прибавляла, что, не развлекаемые более заботами о мирских благах, они тем с большим удобством будут посвящать себя делу просвещения своей паствы. В этом деле заключается все их призвание: «Вы должны заниматься только тем, чтобы наставлять людей в их должностях, возжигать в сердцах их память добродетели... наконец, увещевать их, угрожать будущим наказанием, возбуждать в них веру и любовь к Богу и ближнему обещанием вечного блаженства, воспламенять сердца усердными молитвами, спасительными советами» и т. д., и т. д. [1]).

Это энергичное, полное ума и насмешки, обращение светской власти к духовной, очевидно, много способствовало беспрепятственному решению вопроса об отобрании в казну духовных вотчин: Синод понял государыню и не только согласился на секуляризацию, не только «выдал» Мациевича, но и сам произнес над ним суровый приговор.

IX

Трудящаяся масса показала себя менее сговорчивой, нежели духовенство. Чем туже затягивалась петля крепостного права на шее крестьян, тем больше росло недовольство закрепощенных. Сохранился (в рукописи) чрезвычайно интересный литературный памятник, трогательно выразивший чувства и отчасти понятия народной массы. Он был напечатан Н. С. Тихонравовым в сборнике «Почин» под названием «Плач холопов прошлого века». В нем действительно слышится горький плач. Уже в самом начале его мы встречаем такие строки:

О! горе нам, холопем, от господ и бедство!
А когда прогневишь их, так отъимут и отцовское наследство.
Что в свете человеку хуже сей напасти?
Что мы сами наживем — и в том нам нет власти.
Пройди всю подселенную — нет такова житья мерзкова!

Идеологи дворянства, вроде Сумарокова и Болотова, были убеждены, что крепостное право выгодно для интересов не только дво-

[1]) *Кильбасов.* назв. соч., т. II, стр. 246, 247.

рян, но также и для крестьян. Автор «Плача», как видно, сам бывший крепостным, хотя и вкусивший от плодов грамотности, не разделял этого мнения. Он восклицает:

Неужель мы не нашли б без господ себе хлеба!

Он высказывает ту мысль, что леса и поля созданы для бедных и совершенно правильно отмечает огромный рост господской власти над крепостными. По его словам, она *увеличилась, как в Неве* вода. Он, конечно, с полным

основанием огорчается и тем, что крепостным запрещено было жаловаться на своих владельцев:

Боярин умертвит слугу, как мерина, —
Холопьему доносу и в том верить не велено.
Неправедны суды составили указ.
Чтоб сечь кнутом тирански за то нас.

Должно быть, «Плач» написан во время созвания Комиссии Уложения. Недурно осведомленный о составе этой Комиссии автор его жалуется:

В свою ныне пользу законы переменяют:
Холопей в депутаты затем не выбирают,
Что могут де холопы там говорить.
Отдали б им волю до смерти нас морить.

Весьма характерно для послепетровской Руси указание крепостного писателя на другие земли, осуждающие наши порядки:

Все земли нас бранят и глупости дивятся,
Что такие глупые у нас в России родятся.

Но указание на другие страны не мешает крепостному грамотею сохранять старый московский взгляд на социальную роль царской власти. Он желает служить царю. Интересно, впрочем, что служить царю он желает не в качестве *земледельца,* а в качестве *солдата*. В этом его желании сказывается своеобразное революционное настроение. Он пишет:

Ах! когда б нам, братцы, учинилась воля,
Мы б себе не взяли ни земли, ни поля,
Пошли б мы, братцы, в солдатскую службу
И сделали б между собою дружбу,
Всякую неправду стали б выводить
И злых господ корень переводить.

После таких резких нападу на господ несколько странно читать строки, в которых автор «Плача» как будто берет под свою защиту русское дворянство, обиженное по его словам иностранными «набродами». Этих набродов «пущали» в Россию затем, чтобы они просветили ее, а они принялись ее угнетать.

Когда в Россию набродов сих пущали,
Тогда нам лучшее правление обещали,
А они российских дворян со однодворцами определили,
А нас, бессчастных, по себе разделили.
Пропали наши бедные головы
За господами лихими и голыми!

Ненависть к дворянству осложнилась в душе автора, — идеолога народной массы, — той нелюбовью к иноземцам, которой так богата была еще Московская Русь и которую особенно сильно поддержали в XVIII веке ужасы бироновщины. В результате получилось нечто поистине неожиданное. Обличая иностранных «набродов», автор превращается в защитника «российских дворян». Очевидно, против этих «набродов» автор не прочь идти вместе с «господами» русского происхождения. *Как* идти? Мечта автора следует здесь за тогдашней русской действительностью. Столь частые в XVIII веке дворцовые перевороты совершались с помощью военной силы. Вот почему

в «Плаче» и говорится, что хорошо было бы пойти в солдатскую службу. Но дворцовые перевороты были делом дворянской гвардии, которая, ненавидя иностранных «набродов», не только ровно ничего не имела против привилегий *русского* дворянства, но настойчиво стремилась к их упрочению и расширению. Автор «Плача» понимал, что мало хорошего дождется народная масса от *дворянской* военной силы. И вот у него родилась мечта о сформировании такой силы *из крепостных.* Военная сила народного происхождения, мечтал он, положит конец неправде и переведет корень злых господ.

Впрочем, наш автор, должно быть, сам не очень верил в возможность осуществления такой мечты. Его «Плач» заканчивается поистине плачевной нотой:

Господи наш Боже!
Даждь в небесном твоем поле ложе.
Ты бо нам Творец:
Сделай бедным один коней! [1])

[1]) См. «Почин», Сборн. Общ. Любит. Росс. Слов. на 1895 г., стр. 10—14.

К смерти приурочиваются в последнем счете упования крепостного стихотворца. Когда люди находятся в таком настроении, они имеют мало склонности к действенной борьбе со своими угнетателями. Но в шестидесятых годах XVIII века угнетенная народная масса не находилась в таком настроении. Она не потеряла надежды «здесь, на земле», изменить к лучшему свою участь. Напротив, как упомянуто выше, эта надежда была поддержана у нее фактом отмены обязательной службы дворянства.

Уже при Петре III начались крестьянские волнения. Правительство поспешило объявить,что крестьяне должны по-прежнему повиноваться помещикам. Это не помогло. Крестьянские бунты продолжали вспыхивать то здесь, то там. Против бунтовщиков посылались военные команды с пушками. Местами происходили настоящие сражения между крестьянами и войском. Свержение Петра III и вступление на престол Екатерины II, разумеется, не могло успокоить крепостную массу. Новая государыня увидела себя вынужденной подтвердить *отрицательное обещание,* данное этой массе Петром III. «Понеже благосостояние государства... требует, чтобы все и каждый при своих благонажитых имениях и правостях сохраняем был, так как и напротив того, чтобы никто не выступал из пределов своего звания и должности, — писала новая государыня в манифесте от 3 июля 1762 г., — то и намерены мы помещиков при их имениях и владениях ненарушимо сохранять, и крестьян в должком им повиновении содержать». Однако легче было написать это, нежели исполнить.

Крестьянские волнения продолжались. Они так пугали дворянское правительство Екатерины II, что в октябре 1763 г. выработан был военной коллегией целый ряд правил, которых должны были держаться начальники военных команд, посылавшихся против непокорного крестьянства. Кроме бунтов, грозным знамением времени служили также те *убийства помещиков* их крепостными, на которые намекала Екатерина в своем возражении на возражение Сумарокова. В

1764—1769 г.г. в одной Московской губ. убиты были 21 помещик и 9 помещиц, а кроме того, произошло пять неудавшихся покушений на убийство. Наибольшим числом убийств ознаменовался 1767 г., т. е. тот самый год, в котором началась деятельность Комиссии Уложения. Вполне понятно, что заседаниях Комиссии дворянские депутаты не обошли молчанием «бытового явления». «Без ужаса представить себе не могу плачевное позорище умерщвленных своими собственными крестьянами

помещиков», говорил депутат серпейского дворянства гр. Строганов [1]). Вообще сознание Комиссии сначала повело за собою усиление волнений в народе. Крепостные крестьяне, по-видимому, полагали, что в ней поднимется также и вопрос об их тяжелой участи. Но, будучи лишены права послать в Комиссию своих депутатов, — на что жаловался автор «Плача холопов», — они только «бунтами» и могли напомнить ей о себе.

Потом в народную массу проникло как будто иное настроение. В 1770—1773 г.г. волнения стали гораздо более редкими, если не прекратились совсем. «Крестьяне терпеливо ждут», — говорит В. И. Семевский [2]). Чего? Почтенный исследователь думает, что они ждали указа Комиссии, если не о воле, то, по крайней мере, об облегчении рабства. Как бы там ни было, мы знаем, что затишье 1770—1773 г.г. было затишьем перед бурей, глубоко всколыхнувшей все податное население русского государства.

X

Чтобы понять происхождение и психологию, «пугачевщины», надо иметь в виду, что постоянно усиливавшийся *гнет крепостного права* неизменно сопровождался усилением *податного гнета.* «Финансовая и вообще экономическая сторона является наиболее слабою и наиболее мрачною стороною Екатерининского царствования» [3]). Казна постоянно испытывала сильнейший недостаток в деньгах. Государственные расходы росли несравненно скорее, нежели производительные силы страны. По расчету г. Чечулина каждому плательщику пришлось в конце царствования Екатерины II платить в два с половиной раза больше, чем платил он в начале [4]). Только в царствование Петра I переживала наша страна подобное податное обременение.

Чем труднее было правительству северной Семирамиды сводить концы с концами в области финансов, тем меньше было у него материальной возможности разорвать те путы, которые связывали податное население и затрудняли его хозяйственную деятельность. Городские

[1]) *В. И. Семевский,* Крестьяне в царствование Екатерины II, т. I. стр. 414.

[2]) Там же, стр. 443.

[3]) *Н. Д. Чечулин,* Очерки по истории русских финансов в царствование императрицы Екатерины II. СПБ. 1906 г., стр. 380.

[4]) Там же, стр. 378. Этот расчет основан на том, что государственные расходы возросли в 4,3 раза, между тем как население увеличилось несколько менее, чем вдвое.

депутаты ясно и определенно говорили в Комиссии Уложения о том, как тяжело отзывается на экономическом положении торгово-промышленного сословия обязательная служба его государству. В наказе от жителей «царствующего града Санкт-Петербурга» мы читаем:

«Купечество здешнего города от ежегоднего во всякие казенные службы выбора приходит в изнеможение, отлучаясь чрез то от торгов своих, а наипаче по производимым чрез многие годы счетам приводятся до крайнего разорения. Чего ради просить о всемилостивейшем на всегдашнее время увольнении от оных казенных служб» [1]).

Суздальцы жаловались: «Нестерпимое и тяжкое претерпеваем мы, купечество, разорение от службы при зборе казенном, ибо обязан быть неотлучно год в службе, два или три года приищете. В таком случае должно отстать купечества и лишится всякого торгового промыслу» [2]).

Подобных жалоб можно было бы привести великое множество. В глубине души императрица, наверно, признавала их совершенно основательными. В своем собственном «Наказе» (ст. 317) она правильно говорила: «Торговля оттуда удаляется, где ей делают притеснение, и водворяется тамо, где ее спокойствия не нарушают». Но удовлетворить просьбы городских обывателей было много труднее, чем написать в том. же «Наказе»: «Россия есть европейская держава». Чтобы исполнить требования городских депутатов, государство должно было — и, конечно, на деле, а не только на словах — европеизовать свое отношение *к* податной массе, т. е. перестать смотреть на нее, как на свою собственность.

Но на это не было серьезных намеков в нашем законодательстве второй половины XVIII столетия.

Если стеснено было *купечество,* составлявшее верхний слой торгово-промышленного сословия, то еще хуже приходилось городским мещанам. Их положение часто было совершенно невыносимо. Стараясь найти себе облегчение, они обращались к давно уже испытанному русскими людьми средству: как и в доброе старое время Московского государства, они, подобно крепостным крестьянам, «разбредались розно», «ударялись в бега». «Число бродят так увеличивается, — писал новгородский губернатор Сиверс, — что тюрьмы ими переполнены» Но увеличение числа бродяг означало увеличение количества горючего»

[1]) «Сборник Русского Исторического Общества», т. 107, стр. 219—220.

[2]) Там же, стр. 18.

материала. Н. Н. Фирсов справедливо говорит, что тяжелым положением и недовольством низшего слоя городских обывателей объясняется, почему так легко досталось Пугачеву большинство взятых им городов.

«Это общее недовольство социальных низов народа своим положением, - продолжает Н. Н. Фирсов, - проявилось весьма рельефно незадолго до пугачевщины в московском бунте во время чумы, каковой бунт нельзя не считать как бы прелюдией, прологом к пугачевскому восстанию, подобно тому, как московский мятеж 1662 г. явился аналогичным фактом по отношению к разиновщине» [1]).

Это так. Но вопреки тому, чего, казалось бы, можно было ожидать, *городской пролог пугачевщины вышел гораздо более слабый во всех отношениях, нежели прелюдия восстания Стеньки Разина.* Во-первых, в царствование Алексея Михайловича бунтовала не только Москва. Во-вторых, московский чумной бунт 1771 г., со своими нелепыми сборами «Богоматери на всемирную свечу», поражает полным отсутствием сколько-нибудь ясного идейного содержания, сколько-нибудь определенных социально-политических требований.

Руководителем народного движения при Екатерине II, как и при Алексее Михайловиче, выступило *казачество.* Однако и тут есть достойная внимания разница. «Помощничками» Степана Тимофеевича выступили беспокойные элементы *донского* казацкого населения. Пугачева же поддерживало преимущественно *яицкое* (уральское) казачество, между тем как донцы помогали восстановителям порядка. Это значит, что в течение столетия, протекшего со времени бунта Разина, государство далеко расширило пределы своего консервативного влияния.

Но во всяком случае именно казачество выработало те требования, которые написаны были на знамени восставших. Посмотрим, в чем они заключались.

Пугачев «жаловал» своих сторонников «землями, морями и лесами, крестом и бородой и всякою вольностью» [2]). Иначе сказать, он сулил избавить их от всего того, в чем выражался тогда гнет дворянского государства. «Мы отеческим нашим милосердием и попечением, — писал он в одном из своих «указов», — жалуем всех верноподданных наших, кои помнят долг своей к нам присяги, вольностию, без всякого требования

[1]) «Пугачевщина. Опыт социолого-психологической характеристики», стр. 170—171.

[2]) Его собственные слова. См. *Н. Дубровин,* Пугачев и его сообщники. — Эпизод из истории царствования Екатерины II, 1773—1774 г.г. — По неизданным источникам. СПБ. 1884 г., т. III, стр. 103.

н казну подушных и прочих податей и рекрутов набору, коими казна сама собою довольствоваться может, а войско наше из вольножелающих к службе нашей великое исчисление иметь будет. Сверх того, в России дворянство крестьян своих великими работами и податями отягощать не будет, понеже каждый восчувствует прописанную вольность и свободу» [1]).

Это была та же самая программа, за которую билось население, восставшее под знаменем Разина. Правда, в новом ее издании замечается некоторый новый оттенок. Теперь с большим, чем прежде, ударением говорится о притеснении крестьян дворянами. Это понятно, так как в промежуток времени, отделяющий движение Пугачева от движения Разина, указанные притеснения весьма чувствительно усилились, а дворянство приобрело немалые сословные преимущества. Но в *общем* содержание программы не изменилось. Теперь, как и сто лет гаму назад, оно имело в себе значительную долю того, что можно назвать *утопизмом «матери-пустыни»,* т. е. утопизмом государевых сирот, искавших избавления от своих бед не в городских центрах, а на окраинах государства, весьма отсталых в экономическом отношении. Выступая в роли законного

государя, Пугачев обещает избавить своих «детушек» от всяких вообще податей, наивно предполагая, что «казна сама собою довольствоваться может». Конечно, наивные обещания такого рода давались отчасти для красоты слова. На самом деле, как Пугачев и его сообщники, так и те порабощенные обыватели, к которым они обращались в своих манифестах, стремились, главным образом, к тому, чтоб достичь своих ближайших целей, не спрашивая себя, каковы будут более или менее отдаленные последствия их достижения. И те и другие были чужды всякой склонности к идеологическим построениям. Очевидно также, что хотя Пугачев и его «детушки» решительно восставали против существовавшего тогда социально-политического порядка, но и сами они сильно пропитаны были духом тех крепостнических отношений, которые сложились на почве Московского государства.

Так, крепостные крестьяне собирались на сходке и посылали к самозванцу ходоков с просьбой освободить их от помещиков и сделать *вольными.* Пугачев очень охотно соглашался сделать это. Но какое же представление связывалось в его уме со словами: «вольные крестьяне»? На это отвечает одно из его воззваний:

[1]) *Н. Дубровин,* назв. соч. т. III. стр. 53.

«Жалуем сим именным указом, с монаршим и отеческим нашим милосердием, всем, находящимся прежде в крестьянстве и подданстве помещиков, быть верноподданными рабами собственно нашей короны и награждаем древним крестом и молитвою» [1]) и т. д.

Итак, в представлении Пугачева крестьянская *вольность* была равносильна *«рабской» зависимости по отношению «к нашей короне».* Это как раз тот взгляд, который высказывал еще Посошков в своей книге «О скудости и богатстве», утверждая, что помещики крестьянам не вековые владельцы, а владелец им царь. И с этим взглядом вполне согласны были крестьяне, посылавшие к Пугачеву ходоков с просьбой сделать их «вольными». *Стать вольным человеком значило для них переменить владельца.*

И нужно помнить, что Пугачев твердо держался этого взгляда на царя, как на рабовладельца. Еще в начале его карьеры, когда он только что открывался яицким казакам, у него произошел следующий разговор с некоторыми из них:

« — Так-то, детушки, — говорил он, — еще Бог велел по двенадцатилетнем странствовании свидеться с вами: много претерпел я в это время бедности...

- Ну что, батюшка, о прошедшем много разговаривать, — перебил его казак Караваев, — предъяви-ка ты нам лучше свои царские знаки.

- Раб ты мой, а повелеваешь мною, — сказал смело Пугачев и посмотрел сердито на Караваева.

Казаки смутились и стали извиняться.

— Батюшка, — заметил Шигаев, — наше дело казачье, не прогневайся, что мы говорить-то хорошо не умеем» [2]).

Кто умеет хорошо говорить, тот всегда помнит, что даже казаки «должны быть» верноподданными рабами царя и сообразно с этим разговаривать с ним.

Если эти, так сказать, профессиональные протестанты против государственного гнета требовали, чтобы Пугачев показал им свои «царские знаки», то это происходило от того, что царь представлялся им каким-то сверхчеловеком. Фантастические знаки эти должны были служить как бы свидетельством самой природы о сверхчеловеческом достоинстве царской личности. И тут они были доверчивы, как дети. Когда

[1]) Там же. т. III, стр. 112.

[2]) Эта сцена рассказана у *Дубровина* (назв. соч.. т. I, стр. 206).

Пугачев, разрезав ножом ворот рубашки, обнажил свою грудь и показал на ней несколько пятен от заросших ран, они — люди бывалые л, конечно, видавшие заросшие рамы, — струсили. А одною из них «такой страх обуял, что руки и ноги затряслись».

Пугачев тотчас же заметил произведенное им впечатление и счел полезным усилить его.

« — Так вот, други мои, видывали ли вы когда-нибудь знаки на простых людях?

- Нет, надежа-государь, не видывали, - отвечали казаки.

— А вот примечайте, друзья мои, как царей узнают, - продолжал Пугачев, отодвигая волосы на левом виске.

Казаки заметили на указанном месте как бы пятно от золотухи, но какой был именно знак, разглядеть не могли.

— Что это там, батюшка, — спрашивал Шигаев, раздвигая волосы Пугачева, — орел, что ли?

— Нет, друг мой, — отвечал Пугачев, — это царский герб.

— Все цари с таким знаком родятся или это после Божиим изволением делается?

- Не ваше это дело, мои други, простым людям этого ведать не подобает.

После этих слов казаки все как бы оробели и не посмели больше никаких вопросов задавать» [1]).

Впоследствии Пугачев показывал на допросе; «Все от меня злодеяние произошло чрез яицких казаков, ибо они точно знали, что я не государь, а донской казак» (показание от 5 декабря 1774 г.). Яицкие казаки, в самом деле, скоро догадались, что Пугачев — самозванец. Да и как было им, казакам, не заметить, что перед ними — казак, хотя бы и донской? Сообразив это, они стали *сознательно* поддерживать его самозванство.

Тот же самый Мясников, у которого руки и ноги затряслись, когда он увидел на груди Пугачева «царские знаки», говорил потом: «Мы из грязи сумеем сделать князя. Если он не завладеет Московским царством, так мы на Яике сделаем свое царство» [2]). Но, во-первых, это было *потом.* Во-вторых, яицкие казаки оттого и нашли нужным сделать себе «из грязи князя», что без «князя» у них не было бы никаких шансов на успех. Факт подстановки ими беглого казака на место настоя-

[1]) *Дубровин,* там же, стр. 207.

[2]) Показание казака Горшкова от 8 мая 1774 г. Цит. *у Дубровина,* назв. соч.. т. I, стр. 220—221.

щего царя ничего не изменил в представлении казаков о том, что такое настоящий царь и как беспредельны прерогативы его власти. Еще меньше мог он изменить что-нибудь в понятиях крестьянства, — черни, по выражению казаков, смотревших на крестьян сверху вниз, — которое не подозревало обмана. Крестьянству нужен был царь. Но, разумеется, оно предпочитало доброго царя немилостивому. И так как Пугачев обнаруживал гораздо более доброты, нежели Екатерина II, то оно охотно стало на его сторону. Но становясь на его сторону и ходатайствуя перед ним о том, чтобы он освободил их, они сами, повинуясь преданию, унаследованному от Московского государства, добровольно и быстро входили в роль государевых сирот и верноподданных рабов. Вот недурной пример.

В прошении, поданном ими 23 июля 1774 г. Пугачеву («Милостивому Государю Петру Федоровичу»), бурмистр и староста села Алферьева, Алатырского уезда, просил указать им, на каком им быть основании, так как команда, присланная в их село государем, никакого определения не объявила.

«А ныне у нас в вотчине имеется господский хлеб, лошади и скот, — писали эти представители «освобожденного» села, — и что вы, государь, об оном изволите приказать; такожь и что оставшее в доме господском после вашей команды (т. е., очевидно, после грабежа, учиненного ею. — *Г. П.*) на оное просим у вас, великого государя, милостивого приказания».

Далее бурмистр и староста почтительно доводили до сведения Пугачева, что у них в вотчине много бедняков, которые не только не могут платить подати, «а просят из милосердия у вас, великого государя, чтоб повелено было из господского хлеба нам дать на пропитание и осемениться, за что мы, сироты ваши, должны вечно Бога молить за ваше здравие великого государя».

В том же прошении взбунтовавшиеся государевы сироты села Алферьева жаловались на государевых сирот села Верхнего Талызина, прежде принадлежавших одному с ними помещику: «Оные крестьяне были на оброке, а мы сеяли на их земле хлеб господский, которая у них земля излишняя взята была на господина; а ныне оные крестьяне такой господский посеянный нами хлеб нам не дают, а оный хлеб **им** не следует, а принадлежит оный хлеб взять нам. О сем просим вас, великого государя, учинить решение» [1]).

[1]) Там же, т. III, стр. 113—114.

Крестьяне, не способные собственными силами решить даже такой ничтожный спор между двумя соседними селами, конечно, не могли ждать и желать для себя от пугачевского восстания ничего, кроме перехода от одного владельца к другому: от помещика к царю.

Но этого с них было довольно. Крепостную зависимость от царя они всегда предпочитали крепостной зависимости от помещика и всюду, где это было возможно, объявляли себя сторонниками «Петра Федоровича». В Исетской провинции «самозванный капрал Матвей Евсевьев, сопровождаемый только шестью человеками мятежников, 31 января прибыл *в* село Теченское, был встречен народом и священниками с ико-

нами, колокольным звоном и пением» [1]).

Так шло дело на окраинах. В центральной России, где государственный порядок был прочнее, крестьяне не восставали открыто против помещиков. Но и там они с нетерпением ждали своего освободителя. Каково было там их настроение, видно из следующего случая.

А. Болотов, бывший тогда управителем одной дворцовой волости, получил приказ набрать из среды подчиненных ему крестьян отряд уланов, вооружить их копьями и отправить в Коломну для охранения общественного спокойствия. Перед самым их отправлением ему «рассудилось за благо» произнесть подходящее к случаю напутствие. После напутствия он, обратившись к одному из новоиспеченных «уланов», самому видному и бойкому, сказал:

«Вот этакому как бы не драться, один десятерых может убрать».

К величайшему удивлению и испугу оратора, новоиспеченный улан, «злодейски усмехаясь», ответил:

«Да, стал бы я бить свою братию! А разве вас, бояр, так готов буду десятерых посадить на копье сие».

Положение было таково, что эти слова не навлекли на произнесшего их смельчака немедленной кары. Огорошенный начальник только прикрикнул на него: «Что ты это мелешь!», а потом поспешил прибавить: «Хорошо, хорошо, братец; но ступай-ка, ступай! Может быть, сие тебе и неудастся, а там мы посмотрим» [2]).

[1]) Там же, т. II, стр. 361.

[2]) «Жизнь и приключения Андрея Болотова», т. III, стр. 40—41, «Сие», в самом деле, не удалось. Восстание не распространилось на центральные губернии. и смелому «улану» пришлось пострадать: «Ибо, как случилось ему в чем-то прошерститься и надобно было его наказывать, — торжествует Болотов, — то припомнил я ему сии слова и построил за них ему наказание». (Там же, та же страница.)

XI

Когда Пугачев взял Пензу, он сказал купцам: «Ну, господа купцы, теперь вы и все городские жители называетесь моими казаками. Я ни подушных денег, ни рекрут с вас брать не буду и соль казенную приказал я раздать безденежно, по три фунта на человека, а впредь торгуй ею, кто хочет [1]) и промышляй всякий про себя». Нельзя сказать, что это была очень определенная «экономическая политика». К тому же зажиточная часть пензенского городского населения имела все основания опасаться за свои имущества, так как, войдя в город, войско Пугачева принялось грабить и освободило из острога всех колодников. Но государственный гнет, тяготевший над нашим торгово-промышленным сословием, был так велик, что оно готово было помириться даже и с весьма «вольным» отношением пугачевской армии к обывательскому имуществу. Жители Пензы торжественно встретили Пугачева за городом, а бургомистр пригласил его обедать [2]).

Радость населения была так велика, что смутила даже руководившего городской обороной секунд-майора Герасимова. «Признаюсь чистосердечно, — показывал он на следствии, — что я и сам при сем случае поколебался было в

мыслях, думая, что Пугачев и в самом деле государь, как в том утверждало меня сие, что многие города и крепости побрал и вся чернь везде, где он ни был, прилеплялась к нему без сумнения» [3]).

То, что произошло в Пензе, происходило и во многих других городах. Весьма неопределенная «экономическая политика» Пугачева имела в глазах городского населения то преимущество, что сулила избавить его от обязательной службы государству и от многочисленных обид со стороны дворянства и «крапивного семени». Перечисление купцов в казаки означало именно избавление от этого гнета и от этих обид. Когда воевода города Осы добровольно пришел на поклон к одному из сподвижников Пугачева, Зарубину, называвшему себя графом Чернышевым, тот велел ему остричь волосы по-казачьи.

«Будь ты отныне казак, — сказал он, — а не воевода, полно тебе мирскую кровь-то сосать» [4]).

[1]) Тогда существовала казенная соляная монополия.

[2]) Пугачев, разумеется, не отклонил приглашения. За обедом «пища его состояла более в том, что велел принести толченого чесноку глубокую тарелку и налив в оную уксусу и посоля ел».

[3]) *Дубровин,* назв. соч., т. III, стр. 164, 165, 166.

[4]) Там же, т. II, стр. 201.

Говоря об отношении торгово-промышленного сословия к Пугачеву, важно заметить следующее.

Сословие это неизменно высказывалось *против* предоставления свободы торгово-промышленной деятельности дворянам и крестьянам. Оно требовало, чтобы названная деятельность стала его исключительной монополией. Мы увидим, как настоятельно защищали это требование купеческие депутаты Комиссии Уложения. Но то же самое сословие нимало не смущалось зачислением его в казачество, сразу отнимавшим у него возможность *получить* какие бы то ни было монополии. Откуда это противоречие?

Когда помещики или крестьяне принимались за торгово-промышленную деятельность, они оставались свободными от той обязательной службы государству, которая тяжелым гнетом лежала на купечестве Точно так же они не исполняли и многих других повинностей, падавших на долю торгово-промышленного сословия. Это ставило их в более выгодное положение, позволяло им успешно конкурировать с купцами и промышленниками, занесенными в тяглые списки. И против этого зла купцы и промышленники не видели другого средства, кроме предоставления им исключительного права заниматься торговлей и промыслами. Требование этого исключительного права явилось естественным следствием сословной организации государственных служб и повинностей. Казацкая «вольность» устраняла эту сословную организацию и тем самым лишала монополию привлекательности в глазах торговцев и промышленников. Они очень легко мирились тогда с правилом: «промышляй всякий про себя».

Впрочем, не все города так охотно принимали Пугачева, как Пенза. Некоторые энергично сопротивлялись ему. Но это были исключения. Такие исключения объясняются разнообразными местными причинами, между которыми

большую роль должен был играть страх перед инородцами.

В войске Пугачева было много инородцев восточной и юго-восточной окраин: башкир, калмыков, киргиз-кайсаков. Русское государство и его служилое сословие так жестоко их угнетали, что у них давно уже накопилось очень много недовольства [1]). Но, присоединяясь к русским сторонникам Пугачева, эти сыны природы часто не делали ни малейшего

[1]) В своих бедствиях они, подобно русскому населению, винили не центральную власть, а чиновников. Башкиры говорили об Екатерине II: «Она правосудна, но правосудие от нее не отошло и к нам не пришло» *(Дубровин,* назв. соч. т. I, стр. 257).

различия между своими новыми союзниками и своими прежними угнетателями. Они нападали на всякого, кто подвертывался им под руку, жгли сено, угоняли скот, грабили и отводили в плен русских жителей тех местностей, которые сами готовы были подняться против петербургского правительства. Казакам Пугачева приходилось подчас вступать в настоящие битвы с инородцами. Заводское население Урала, горячо сочувствовавшее бунту и само принимавшее в нем деятельное участие, местами вынуждено было принимать серьезные военные меры против инородческих нашествий. Поэтому понятно, что торгово-промышленное сословие некоторых восточных и юго-восточных городов отказывалось переходить на сторону пугачевцев.

Но все это, повторяю, были исключения. Податная масса русского государства частью *шла* за Пугачевым, частью *готовилась пойти за ним.* На стороне дворянства было только духовенство, глубокий консерватизм которого заставил его позабыть обиды, еще так недавно нанесенные ему «секуляризацией» духовны« вотчин. Церковные витии гремели «противу всех безумных свободолюбцев», дерзко возмущавших покой обывательской души и «чин государственный» [1]). Но «безумные свободолюбцы» находились даже в его собственной среде: между сельскими попами и причетниками, много терпевшими от своих архиереев [2]).

Дворянство было страшно перепугано. Страх почти парализовал его силы в местностях, охваченных движением. Известный Михельсон, один из самых энергичных усмирителей пугачевщины, доносил князю Щербатову 1 августа 1774 г.: «В Саранске... ни один дворянин не думал о своей обороне, а все, как овцы, разбежались по лесам». Благородное шляхетство оборонялось из рук вон плохо, возлагая все свои упования на войска матушки-государыни. Если годы, прошедшие от воцарения Екатерины II до пугачевского бунта, показали, как необходима была царице поддержка со стороны дворянства, то пугачевский бунт, в свою очередь, показал, как необходима была дворянству сильная власть царицы. Дворянство не забыло этого урока...

[1]) См. увещание, с которым обратился к своей пастве архиепископ Казанский. (*Дубровин,* т. II, стр. 154—155).

[2]) Уже знакомый нам митрополит Арсений Мациевич наказывал священников веревками, обмоченными в горячую смолу и снабженными на конце проволочными когтями. Распекая своих подчиненных, он бранил их неприличными словами. Устюжский епископ Варлаам жестоко истязал свой клир. Дм. Сеченов держал одного священника шесть лет в тюрьме, в оковах, бил его смертным боем, вымогал у него деньги, разорил его дом и т. д.

(Дубровин, назв. соч., т. I, стр. 361.)

293

Чем хуже чувствовало оно себя во время бунта, тем больше ликовало оно после его прекращения. «Настало то вожделенное нам время, — писал государыне один из усмирителей, — в которое премудрость Вашего Величества, блаженство России и счастье подданных Великой Екатерины взойдет на горнюю степень». В Москве, куда везли Пугачева, готовили для содержания его и его сообщников особый дом. Побежденный самозванец прибыл туда утром 4 ноября 1774 г. «Народу в каретах и дам столько было у Воскресенских ворот, — писал Екатерине князь Волконский, — что проехать с нуждою было можно». По свидетельству Болотова, «Москва вся занималась одним только Пугачевым» [1]). Казнь его состоялась в Москве же, 10 января 1775 года. Дворяне смотрели на это кровавое событие, как на праздник. «Судя по тому, что Пугачев наиболее против их восставал, то и можно было происшествие и зрелище тогдашнее почесть и назвать истинным торжеством дворян над сим общим их врагом и злодеем» [2]).

В Петербурге дворянство ликовало не меньше, чем в Москве. Когда получено было там известие о пленении Пугачева, дворяне радостно поздравляли друг друга, а «российский Расин», А. П. Сумароков, написал оду, в которой говорил, обращаясь к Пугачеву:

Отбросил ты, разбойник, меч
И в наши предан ныне руки,
То мало, чтоб тебя сожечь
К отмщению невинных муки,
Но можно ль то вообразить,
Какою мукою разить
Достойного мученья вечно!
Твоей подобья злобы нет
И не видал доныне свет
Злодея толь бесчеловечна!

Еще прежде, чем Пугачев был привезен в Москву, вдохновленный его пленением Сумароков написал «Станс городу Симбирску» [3]). Воспевая город, отразивший *Разина XVII столетия* и содержавший в своих стенах *«Разина нынешнего»,* автор «Хорева» осыпал всевозможными ругательствами этого последнего, а главное — неистово торжествовал по случаю одоления опасного для дворянства врага.

[1]) *Болотов,* назв. соч., т. III, стр. 486.

[2]) *Болотов,* там же, стр. 488.

[3]) До отправления Пугачева в Москву его продержали некоторое время в Симбирске.

294

Восходит веселяй из моря солнце красно,
По днях жестокости, на Волгин горизонт.
Взыграли Дон, Яик со Волгою согласно,
И с ней Каспийский понт.
Народы тамошни гласят Екатерине:
О Матерь подданных! спасла от зол ты нас.
Она рекла: всегда готова я как ныне,
Спасати чада вас.

Другой крупный деятель русской литературы, тогда, впрочем, еще мало известный, Г. Р. Державин, трудился над усмирением пугачевского бунта в качестве офицера.

Долго помнило дворянство самозванного Петра Федоровича. И не только дворянство. Как сообщает адмирал А. С. Шишков, в его время рассказывали, что Павел, раздавший своим слугам множество казенных деревень, руководился в этом случае больше страхом, нежели щедростью. Он будто бы «думал раздачей казенных крестьян дворянам уменьшить опасность от народных смятений» [1]). Se non e vero, e ben trovato!

В сущности, пугачевский бунт далеко не был так опасен для дворянства, как оно думало. Соединенные силы участвовавших в движении разнообразных элементов населения были гораздо слабее, нежели силы правительства Екатерины II. Военное искусство Пугачева и его сообщников во многом уступало не весьма хитрой науке его противников. Войско его не выдерживало серьезных столкновений с регулярным войском. Все это хорошо известно нам теперь. Но тогдашнее дворянство этого не знало и не могло знать. С другой стороны, оно прекрасно видело, как сильно расходятся его интересы с интересами податной массы населения и как озлоблена эта масса. Поэтому оно имело полное основание трепетать за свою участь. И этот трепет, испытанный благородным сословием в виду восстания закрепощенной массы, глубоко запечатлелся в его сословном сознании. Он окончательно скрепил союз дворянства с самодержавной монархией.

А закрепощенная масса? Она присмирела надолго. «Вся чернь, — писал Панин еще в конце октября 1774 г., — ныне действительно в таком подобострастном подданническом законной власти повиновении, какого она и прежде не имела» [2]). Жестокое усмирение сопровождалось

[1]) «Записки, мнения и переписка адмирала А. С. Шишкова». Издание Н. Киселева и Ю. Самарина, Berlin 1870 г., т. I, стр. 22.

[2]) *Дубровин,* назв. соч., т. III, стр. 318.

голодом. Тот же Панин писал, что всюду, где он проезжал в губерниях Воронежской, Нижегородской и Казанской, жители не имели иного хлеба, «как с лебедою, желудьми, а в некоторых местах и с мохом» [1]).

После пугачевщины волнения крестьян становятся в царствование Екатерины II гораздо менее частыми, чем они были до нее [2]). Народ издержал тот запас энергии, который был у него прежде, и надолго стал неспособным к действенному протесту. В период, следовавший за пугачевским бунтом, его недовольство стало выражаться преимущественно *в религиозных исканиях.* Так и всегда бывает. Потеряв надежду обеспечить себе сносное житье-бытье на земле, люди начинают искать пути, ведущего в царство небесное. Это мы видели, например, в восьмидесятых годах XIX столетия, когда в нашей интеллигенции быстро распространилось учение гр. Л. Толстого. Видели и в годы, еще более близкие к нынешнему времени.

Раскол, после пугачевщины значительно усиливший свое влияние на народную массу, не был учением о непротивлении злу насилием. Читатель помнит, как страстно советовал протопоп Аввакум царю жестоким насилием устранить

новшества, закравшиеся в русскую церковь. Движение Пугачева было энергично поддержано раскольниками. Пугачевцы не повторили крупной тактической ошибки сообщников Разина, вздумавших уверять народ, что они защищают патриарха Никона. Напротив, Пугачев жаловал податное население «крестом», — старым осьмиконечным крестом, — и «бородою». Он и сам говорил языком раскольников и, может быть, разделял их взгляды [3]). Рассказывали, будто яицкие казаки провозглашали, что Петр Федорович приказал ломать нынешние церкви и строить семиглавые, а креститься не трехперстным, а двухперстным сложением. Говорили даже, что подобные заявления сопровождались угрозами: «если кто будет иначе креститься, то ба-

[1]) *Дубровин,* там же, стр. 321.

[2]) В 1762—1772 г.г. известно 40 волнений помещичьих крестьян, а с 1774 г. до восшествия Павла I, т. е. в течение 22 лет, было только 20 волнений *(Семевский,* Крестьяне в царствование Екатерины II, т. I, стр. 441—456).

[3]) В своем обращении к донским казакам он писал: «Во время царствования нашего рассмотрено, что от... злодеев дворян, древнего святых отец предания закон христианский совсем нарушен и поруган, а вместо того от их зловредного умысла с немецких обычаев введен в Россию другой закон и самое богомерзкое брадобритие и равные христианской вере как в кресте, так и прочем неистовства» и т. д. *(Дубровин,* назв. соч., т. III, стр. 225), Как видим, *в движении Пугачева был также элемент реакции против Петровской реформы.*

тюшка (царь. — *Г. П.*) прикажет отрубить пальцы» [1]). Это рассказывали враги Пугачева; может быть, они сочинили это. Но и тут мы имеем право сказать: se non e vero, e ben trovato. Старообрядчество отнюдь не склонялось к веротерпимости, да и вообще оно не вносило ничего нового в сознание народа.

Идя за Пугачевым, народ стремился свалить с себя гнет помещичьего государства и так или иначе, в той или другой мере, вернуться к старым порядкам, существовавшим до того времени, когда это государство окончательно сложилось и окрепло. Он смотрел не *вперед,* - куда смотрело во второй половине XVIII века третье сословие во Франции, — а назад, в темную глубь прошедших времен. И в этом отношении он поступал совершенно так, как поступало когда-то ненавистное ему *боярство.* Ведь Курбский, обличая дикое самодурство Ивана IV, тоже смотрел назад, а не вперед. Назад смотрели и раскольники, приглашавшие народ умирать за древлее благочестие.

Это была своего рода историческая необходимость, коренившаяся в знакомых уже нам *относительных особенностях русского исторического процесса.* Как видим, необходимость эта не исчезла и *после Петровской реформы.* Лишь по прошествии продолжительного времени, лишь во второй половине XIX столетия, отдаленные последствия преобразования, связанного с именем Петра, привели к появлению в народной массе сознательных элементов, способных, в борьбе за лучшее будущее, обратить свои умственные взоры не назад, а вперед, не туда, куда смотрели бояре, роптавшие на грозного царя, и раскольники, умиравшие за старую веру, а туда, куда смотрят сознательные слои трудящейся массы во всем цивилизованном мире.

[1]) *Дубровин,* назв. соч., т. II, стр. 81 и 109.